РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Е.Н. Никитина (Москва). Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) 3

А.А. Горбов (Санкт-Петербург). О некоторых проблемах интерпретации иноязычного материала при описании новых заимствований в русском языке 29

А.А. Карпов (Санкт-Петербург). Компьютерный анализ и синтез русского жестового языка 41

А.Д. Козеренко, Г.Е. Крейдлин (Москва). Фразеологические соматизмы и семиотическая концептуализация тела 54

Ю. Конума (Санкт-Петербург). Понятие суперлексемы и аспектуальная характеристика японского глагола 67

М.М. Маковский (Москва). К проблеме вида в готском языке 90

А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский (Москва). Калька или метафора? Опыт лингвокультурного комментария к «Стихам о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама..... 105

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

И.Б. Иткин (Москва). *Н.А. Еськова.* Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология. Морфология. Орфография. Лексикография 115

В.М. Ковальская (Москва). *S. Birzer.* Русское деепричастие. Процессы грамматикализации и лексикализации 120

Е.В. Рахилина, Д.А. Рыжова (Москва). *M. Haspelmath, U. Tadmor* (eds.). Loanwords in the world's languages: A comparative handbook 126

К.А. Кожанов (Москва). Baltic linguistics. 2010. 1 133

Н.М. Стойнова (Москва). *A.M. Urdze.* Ideophone in Europa: Die Grammatik der lettischen Geräuschverben 137

С.В. Кулланда, Ю.А. Ландер, Ю. Сирк (Москва). *R. Blust.* The Austronesian languages 142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

П.А. Кочаров (Санкт-Петербург), О.В. Попова (Москва), А.В. Шацков (Санкт-Петербург). VII Международная конференция «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании» 147

С.Ю. Куликов (Москва). Международная конференция «TRALOGY-2011» 152

Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 2011 г. 154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *А.С. Кулева, М.М. Маковский, О.А. Шарыкина, М.В. Шкапа*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2011 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2011 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. Е.Н. НИКИТИНА

КОНСТРУКЦИИ С ИМЕНИТЕЛЬНЫМ И ТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДИКАТИВНЫМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(к проблеме взаимодействия грамматических категорий)*

В статье рассматриваются предложения с субстантивными предикатами в системно-грамматическом и текстовом аспектах. Выбор предикативного падежа объясняется действием «категориального согласования», которое соединяет лексическую семантику предикативного имени, категории падежа и времени. Отказ от категориального согласования, или «категориальное рассогласование», интерпретируется в связи с субъектом модуса, т. е. как одно из средств проявления эгоцентрической техники.

Работа посвящена вопросам, связанным с функционированием именительного и творительного падежей в предложениях с субстантивными предикатами; исследование осуществляется с позиций объяснительной грамматики в связи с идеей взаимодействия грамматических категорий.

Сама идея взаимодействия в современной лингвистике может пониматься как логическое продолжение научного поиска, в процессе которого после формального разграничения и изолированного описания морфологических категорий наступает этап собирания категорий и осмысления их «суммарной» семантической силы, как в парадигматическом плане, так и в составе конструкции, а также в тексте. С точки зрения взаимодействия получали интерпретацию такие языковые явления, как «скрытые (семантические) категории» [Уорф 1972], «суперкатегория предложения» (пространственно-временная локализация) [Булыгина, Шмелев 1997], «межкатегориальные комплексы», обсуждавшиеся в рамках Теории функциональной грамматики [Бондарко (ред.) 1996], а также инструменты лингвистического анализа текста в функционально-объяснительной теории – «коммуникативный регистр» Г.А. Золотовой [Золотова и др. 1998] и «субъектная перспектива» Н.К. Онипенко [Там же].

Скрытая категория может обнаруживаться во взаимодействии формально выраженной категории и местоименного слова в рамках придаточного определительного (например, категория рода в английском языке) либо посредством особого типа сосуществования категорий в рамках именной синтаксемы (форма вин. п. мн. ч. одушевленных существительных грамматикализует собирательность: *пойти в солдаты, взять в жены* – см. раздел, написанный Н.К. Онипенко, в [Золотова и др. 1998: 304–309], а также [Успенский 2004]). Суперкатегория «пространственно-временная локализация» – результат возведения именной и предикатной семантики на уровень предложения. Коммуникативный регистр обусловлен семантическим согласованием языковых средств и семантики модусного предиката в рамках текстового фрагмента; субъектная перспектива понимается как результат возведения категории лица (субъекта) на уровень текста. «Глобальные» семантические категории как результат «подъема» могут фиксироваться

* В статье продолжается рассмотрение вопроса об условиях выбора формы падежа именного сказуемого; обсуждение этого вопроса было начато Г.М. Зельдовичем в публикации [Зельдович 2005].

в парадигматике частей речи: так, Б.А. Успенский объединяет имя и глагол над-частеречной категорией партитивности (количественности), которая управляет поведением (выбором) падежа и вида. Ср. «над-частеречная категория» с термином «суперкатегория» (Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев).

В данной работе изучается взаимодействие именных и глагольных категорий (1) в связи с значениями формально выраженных категорий времени, наклонения, падежа в рамках синтаксической конструкции; (2) в связи с лексической семантикой предикатного слова; (3) в связи с авторскими тактиками. Взаимодействие проявляется либо в сосуществовании категорий в рамках семантического согласования, либо в нарушении согласования, результатом которого становится «приращение» грамматической семантики, изменения в субъектной перспективе и т. д.

Выбор именительного – творительного предикативного обсуждался в традиционной русской грамматике – в синхронии и в истории русского литературного языка ([Востоков 1838; Буслаев 1858; Богородицкий 1935; Виноградов, Шведова (ред.) 1964; Русская грамматика 1980] и др.), в стилистике XIX–XX вв. [Чернышев 1915; Булаховский 1954], в структурной и функциональной лингвистике XX в. [Якобсон 1985; Nichols 1981; Никольс 1985; Тимберлейк 1985]. В качестве оснований выбора выдвигаются такие понятия, как постоянный / переменный, обязательный / случайный признак, статика / динамика, тем самым падежно-именная грамматика получает интерпретацию через глагольные семантические категории. Иногда говорят не о собственно грамматических условиях, а о стилистике: так, к сфере стилистики относит колебания в выборе падежа Дж. Никольс. Авторы Пражской грамматики признают: «Семантические условия, вызывающие в русском выбор то Nn, то Ni, с трудом поддаются установлению… выбор той или иной формы отчасти регулируется причинами стилистического характера» [Пражская грамматика 1979: 721]. На современном этапе вопрос выбора падежа решается в прагматике [Зельдович 2005].

В указанной работе Г.М. Зельдовича рассматривается вариативность предикативных падежей (согласованная форма[1] vs. творительный падеж) на примере субстантивных и адъективных предикатов – как основных, так и зависимых (таксисных). Автор предлагает подход, соединяющий семантику субъекта с семантикой предиката. Если субъект и предикат составляют «единый концепт» (в другой терминологии Г.М. Зельдович называет это «наблюденностью» признака или «опытом говорящего», в котором субъект и предикат были соединены до анализируемого акта речи более двух раз), то выбирается согласованная форма. Творительный падеж не маркирован: «…значение творительного падежа формируется здесь отрицательным образом за счет его противопоставленности согласованной форме» [Там же: 21]. В этой закономерности автор видит большую объяснительную силу. При анализе предложений Г.М. Зельдович обращается к возможной ситуации речи: домысливается конкретный ситуативный контекст испытания и наблюдения говорящим признака (например, чтение, застолье и т. п.), в котором могла прозвучать та или иная фраза. Тем самым объяснительность сосредоточивается в области соотнесенности изображаемой ситуации с выбором падежа, к сожалению, минуя инструментарий грамматической терминологии и грамматических значений. К примеру, сама сфера исследования в статье (проблема маркируемости падежом «опыта» говорящего, реальности, «наблюденности») подсказывает путь в область модальности в широком смысле. Если признать, что прагматика высказывания может стать верным направлением поиска, то ее следует соединить с собственно грамматикой, вернув в исследование грамматическую семантику.

Возражение может вызвать сведение именных предложений к абстрактной формуле, включающей связку *есть*: «К есть Р» [Там же: 22], т. е. к такой структуре, которая воплощается лишь в ограниченном составе именных предложений: это предложения, построенные на основе существительных абстрактной лексической семантики, ср.:

---

[1] Согласованной формой традиционно называется предикативное имя в том же падеже, что и подлежащее, т. е. в именительном.

Мысль изреченная есть ложь (Тютчев), либо предложения тождества типа *Павел есть Савл* (пример из [Ревзин 1978][2]). По В.Г. Адмони [Адмони 1955] и К.В. Чвани (работа 1973 г.) [Chvany 1996] связка *есть* возможна и в предложениях с таксономическими предикатами типа *Роза (есть) цветок*; *Лингвистика (есть) наука* – ср.: **Ваня есть филолог*, **Вася есть умный*. Во всех случаях связка *есть* указывает на обобщенное временно́е значение и отсутствие временно́й парадигмы.

* * *

В качестве объекта исследования в предлагаемой статье избраны предложения с субстантивными предикатами (в большинстве своем приписанными личным субъектам), в силу того что именно в таких предложениях в наиболее чистом виде осуществляются разные варианты грамматического взаимодействия между глагольными категориями и именной категорией падежа (в сравнении с предложениями с адъективными предикатами типа *Книга умная, зеленая*, с таксисными именными предикатами типа *Он стоял босой*; *Он вернулся веселый / веселым*).

Представляется, что недостающим звеном в интерпретации именительного и творительного предикативных может стать понимание грамматической сущности связки *быть*. Наша гипотеза состоит в том, что глагольная недостаточность создает условия, в которых именной предикат, точнее его предикативный падеж и лексическая семантика, участвует в выражении значений, связанных с качеством (лексическая семантика имени) и количеством признака (количество признака является значением, которое в глагольном предикате выражают вид и время), а также с субъективностью признака (в глагольном предикате за это ответственны категории модальности, вида, лица, времени). Из дальнейшего изложения будут понятны семантические и комбинаторные варианты взаимодействия.

В русской грамматической традиции, связанной с Л.В. Щербой (работа 1928 г.) [Щерба 2007], связку *быть* принято рассматривать как неглагольное незнаменательное слово, выражающее лишь логическое отношение между предметами мысли. Вслед за Л.В. Щербой В.В. Виноградов рассматривает *быть*, *это*, *как* среди частиц речи и констатирует неглагольность связки *быть*, хотя и располагающей формами времени, лица (числа и рода) и наклонения, но стоящей вне категорий вида и залога [Виноградов 1947]. Г.А. Золотова называет *быть* крайним (неакциональным) полюсом в глагольной систематике, а предложения со связкой *быть* – безглагольными [Золотова 1982]. Можно сказать, что именные предикаты создают условия морфологической «глагольной недостаточности» и «именной избыточности» (которую порождает «лишний» падеж – предикативный).

1. МЕХАНИЗМ СЕМАНТИЧЕСКОГО СОГЛАСОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ

1.1. Грамматический механизм согласования категорий

Общеизвестная тенденция распределения именительного – творительного предикативных в современном русском языке такова: именительный падеж выбирается при настоящем времени, актуальном и неактуальном, творительный – при прошедшем, будущем времени, а также в ирреальных наклонениях: *Он учитель – Он был учителем – Если бы он был учителем.* Эта закономерность употребления кластера «падеж-время-наклонение» отражена в [Русская грамматика 1980: 281, 283]. Ср. также: «...если позиция Vf cop занята глаголом *быть*, выбор формы именного сказуемого зависит от выбора формы морфологической связки» [Пражская грамматика 1979: 721].

---

[2] Для восстановления хронологической последовательности важно указать, что в настоящей статье ссылки даются на доступную работу И.И. Ревзина 1978 г., однако идеи И.И. Ревзина относительно предложений тождества были высказаны еще в 1971 г.; затем они вызвали обсуждение в лингвистической литературе 1970-х гг., см. [Chvany 1996] (работа 1975 г.) и [Арутюнова 1976].

Соединение в кластеры «именительный падеж – настоящее время», «творительный падеж – не-настоящее время» можно представить как семантическое согласование категорий. При этом кластер «именительный падеж – настоящее время» представляет собой согласование «нулевых» категорий (термин А.М. Пешковского, который связал «отсутствие значения» с точкой отсчета, относительно которой отмеряются все другие значения данной категории [Пешковский 2001]), или немаркированную форму предиката. Здесь следует вспомнить о той связи, которую видит Вяч.Вс. Иванов между номинативным предложением и дейксисом: он указывает на связь именительного падежа с моментом речи [Иванов 1979], что является частным случаем семантического согласования именительного предикативного и настоящего времени. Немаркированностью именительного падежа обусловлена его функция падежа тематического («именительный темы»), а также то, что он является словарной формой именных частей речи.

Ненулевые (маркированные) категории указывают на дистанцию между пространственно-временными координатами говорящего, которые выражаются в формах наклонения и времени. Это прошедшее время, а также все модально маркированные формы (будущее время и ирреальные наклонения) – они семантически согласуются с творительным падежом, т. е. связка (как и творительный падеж) обнаруживает себя в условиях дистанцирования и расподобления мира говорящего и мира, которому принадлежит сообщаемый факт. Исследователи обнаруживают разную склонность модально окрашенных и временны́х значений к творительному падежу: к нему более расположены модально маркированные формы, в частности будущее время в большей степени, чем прошедшее (см. [Никольс 1985]). Таким образом, для обозначения ситуаций, максимально приближенных к говорящему субъекту, используются «объективные» значения категорий; для обозначения ситуаций, сигнализирующих об удалении от него, – субъективирующие: не-именительный падеж предиката, не-настоящее время связки. Прошедшее, в свою очередь, дает самые многочисленные варианты взаимодействия с предикативными падежами, что связано с множественностью функциональных возможностей форм прошедшего в речевом и нарративном режиме.

Выше был представлен механизм, согласовательно соединяющий формы времени (и модальности) и падежа. Еще одним параметром, участвующим в выборе падежа, является лексическая семантика именного признака.

1.2. Согласование грамматических категорий и лексическая семантика имени

Семантическим классификациям субстантивных предикатов в лингвистической литературе уделялось внимание в работах И.И. Ревзина [Ревзин 1978], Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, Ширяев 1983], Дж. Никольс [Никольс 1985].

В классификации И.И. Ревзина, которая построена с учетом выражения в русском языке категории определенности / неопределенности, устанавливаются закономерности выбора предикативного падежа на основании комбинаторики двух пар признаков: тождества / включения, постоянства / переменности.

В классификации Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, Ширяев 1983] речь идет о логическом соотношении субъекта и предиката: по семантическому объему – тождественные отношения (предикаты тождества), родо-видовые отношения (таксономические предикаты); а также для личных имен – отношения, сводимые к посессивным (реляционные предикаты), и отношения характеризации. Для исследования взаимодействия именных и глагольных категорий важно то, что в рамках этой классификации уделяется внимание связи **временно́й характеристики предложения** с семантикой предиката: так, форма прошедшего времени в предложениях с таксономическими предикатами указывает на отнесенность к прошлому самих референтных субъектов (*Сократ был грек*), так как сами фрагменты естественных классификаций, к которым принадлежат субстантивные предикаты, имеют «вечный» и объективный характер, чем и обусловлено обычное употребление таких предложений в настоящем времени.

Развивая эту логику, можно сделать следующее заключение. Если субъектом предложения является класс объектов (нереферентное имя), т. е. сам класс объектов продолжает существовать и в настоящем, то предложение в форме прошедшего времени получается неистинным: ?*Раньше грибы **были растениями***. Если изменения в естественных классификациях и происходят, то отсылка к прежней классификации не строится за счет связки *быть*, но включает рамочный предикат (например, *считаться*), который не только несет информацию о временно́й характеристике, но и указывает на расхождение мнения, о котором сообщается, и мнения, к которому присоединяется говорящий, ср.: ?*Раньше грибы **были растениями** – Раньше грибы **считались растениями*** (= *Раньше **считали, что** грибы – **растения***).

Самую обширную классификацию предикативных имен предлагает Дж. Никольс [Никольс 1985]. Выбор согласованной формы (именительный падеж) она связывает с оценочностью признака (*дурак*, *добряк*, *умница*, *старик*, *красавица*, *весельчак*, *живчик*), с родовым значением (*человек*, *мужчина*, *женщина* и т. п.) в соединении с зависимыми словами, со значением национальной принадлежности (*американец*, *русский*); выбор творительного – с семантикой занятия, статуса, функции (*плотник*, *учитель*, *свидетель*), с абстрактной семантикой (*цель*, *причина*), с семантикой родственного обозначения (*брат*, *отец*). Попытки практического применения и анализ конкретных примеров из статьи Дж. Никольс показывают, что критерий или его интерпретация верны не всегда. К примеру, предикаты из одной семантической группы по-разному реагируют на прошедшее время, что проявляется в выборе падежа: *Он был старик / ? стариком – Она была красавица / красавицей*. Объяснение этому постараемся дать ниже. Пример *Он был мне братом* с дательным личного местоимения, соединяющего две роли – субъекта мнения и выражение отношения родства, означает, что речь идет не о реальном реляционном признаке (по Н.Д. Арутюновой): ‘У него и у меня общие родители’, а о метафорическом приписывании признака: смысл его равносилен высказыванию «Он был мне как брат»; ср. также *Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, **отец солдатам***.

Уточним еще раз, что при анализе выбора предикативного падежа нужно учитывать (1) грамматический механизм согласования категорий, (2) взаимодействие с этим механизмом лексической семантики, (3) авторские тактики (которые могут рассогласовывать форму связки и падежа).

В данной статье предлагается семантическая классификация именных предикатов, учитывающая признаки, на которых строились предшествующие классификации. Представляется, что имеет смысл последовательно связать семантику предикативных падежей, которая участвует в выражении значений **времени** и **модальности**, с семантикой признакового существительного, а именно с такими характеристиками, которые синсемичны идеям времени и модальности: 1) постоянство / временность субстантивного признака (синсемичны идее времени); 2) оценочность / констатация (синсемичны идее модальности; о связи категории оценки с категорией модальности см. [Плунгян 2000: 309–311]). Модально-временну́ю предназначенность субстантивных признаков удобно рассматривать, используя типы предикатов по Н.Д. Арутюновой.

1. Постоянные / временные признаки. Очевидно, что противопоставленность по такой паре признаков будет влиять на выбор падежа в прошедшем времени в рамках согласовательной техники: постоянные связаны с именительным падежом, временные, изменяемые – с творительным. При этом оказывается, что признак изменяемости для оценочных предикатов связан с идеей проспективности: например, *красавица* – временный признак (красота может утратиться в будущем), *старик* – постоянный признак (нет развития признака). Наличие / отсутствие семантики проспективности в субстантивном признаке влияет на возможность выбора творительного: *была красавицей – ? был стариком*.

Постоянные реляционные предикаты (*отец*) обычно не употребляются в прошедшем времени. При необходимости выразить постоянный реляционный признак в рамках прошедшего времени употребляются предложения тождества, ср.: *Это был мой*

отец – ?*Он был мой отец / моим отцом*. Временные реляционные и характеризующие признаки (*сосед*, *химик*, *друг*) требуют творительного: *Он был моим мужем, моим соседом*. Оценочные признаки (*дурак*, *умница*) мыслятся как неизменяемые во времени и употребляются преимущественно в именительном. Производные конструктивно-обусловленные оценочные предикаты (*лопух*, *свинья*) требуют именительного падежа, осмысление такого оценочного признака в творительном затруднено: *Он был лопух, свинья* – ?*Он был лопухом / свиньей*. Предикаты во втором примере не осознаются как оценочные, их осмысление возможно через буквальную отсылку к номинативным значениям: *Он был свиньей* – например, на празднике он был в костюме свиньи либо играл роль свиньи в спектакле; творительный указывает на временный характер признака, а тем самым отсылает к номинативному свободному значению.

Вернемся к примеру из [Арутюнова, Ширяев 1983]. Констатирующие постоянные признаки (таксономические, частично реляционные) при употреблении в прошедшем указывают на принадлежность к прошлому не признака, а самого предицируемого субъекта [Там же: 10] (обычно в таком случае речь идет о референтных субъектах). Именно поэтому в рамках речевого режима реализуется синонимическая вариативность настоящего – прошедшего: *Сократ был грек*, *Сократ грек*. Можно объяснить возможность этой синонимии в речевом режиме тем, что употребление формы прошедшего времени делает акцент на принадлежности субъекта к прошлому (временно́е «согласование» связки с субъектом), возможность настоящего времени связана с неизменностью предикативного признака (временно́е «согласование» связки с именным предикатом). В нарративном режиме осуществляется подстройка формы времени под контекст (обычно избирается форма прошедшего), подробнее см. раздел II.3.

2. Констатирующие / оценочные признаки. Семантическое различие в этой паре признаков более или менее очевидно. Оценочные признаки могут соединяться с показателями степени[3]: *дурак*, *разиня*, *лопух*, *красавица* (только характеризующие); констатирующие, или нейтральные, включают функционально-профессиональные признаки (ролевые по [Борщев и др. 2008][4]), имена отношений и классов: *химик*, *сосед*, *брат*, *отличник* (сюда относятся характеризующие, таксономические, реляционные предикаты). Очевидно, что оценочные признаки, как позитивные, так и негативные, являются предикатами 3-го лица (о взаимодействии оценочных признаков с 1-м лицом см. раздел 4).

Существуют имена, потенциально располагающие оценочностью (обычно при соединении с квалификаторами *надежный*, *настоящий* и т. п. или в условиях интонационной выделенности): *друг*, *гражданин*, *отец*, *мастер*. Исходно номинативные имена типа *мужчина*, *женщина* в тех же условиях приобретают оценочность.

Семантический признак оценочности / констатации оказывается значимым в условиях рассогласования предикативного падежа и времени.

2. СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ КАТЕГОРИАЛЬНОЕ РАССОГЛАСОВАНИЕ ПО ЛИНИИ ВРЕМЯ – ПАДЕЖ

Помимо закономерности, названной выше «семантическим согласованием», существует и техника грамматического «рассогласования», обычно это (I) творительный падеж на фоне настоящего времени, либо (II) именительный на фоне прошедшего времени, либо (III) именительный на фоне будущего времени. Эти грамматические характеристики (время – падеж) следует рассматривать в связи с семантикой предикативного имени (оценочность / констатация). Рассогласовательная техника приводит к осмысле-

---

[3] Взаимодействие показателей степени с семантикой предиката и их влияние на выбор падежа в рамках данной статьи не обсуждаются.

[4] Ранее семантическое сходство имен вещей и имен исполнителей обсуждалось в работе 1981 г. [Степанов 2007: 87].

нию синтаксических глагольных категорий времени и вида посредством «неканонического» падежа предиката.

I. Творительный «рассогласованный» употребляется в следующих случаях[5].

I.1. Творительный констатирующего (функционально-ролевого) признака, носящего временный характер:

Вошел он очень любезно. <…>
– Я к вам по делу, – начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо, – и не скрою, что я к вам **послом** или, лучше сказать, **посредником** от генерала (Достоевский);

Входит Андрей.
Ольга. Это мой брат, Андрей Сергеич.
Вершинин. Вершинин.
Андрей. Прозоров. (Утирает вспотевшее лицо.) Вы к нам **батарейным командиром**? (Чехов);

Вы простите, что я к вам нежданной **гостьей** (Арбузов).

В приведенных примерах обрисована ситуация прихода, начала разговора, знакомства (о чем свидетельствуют предикаты *вошел*, *начал*, *входит* и лексическая семантика предикативного имени *гость*), в которой присутствующие осмысляют новое ролевое качество личного субъекта (появление де Грие у рассказчика «Игрока»; Вершинина, недавно переведенного на новое место, в доме Прозоровых). Творительный предикативный выступает здесь в значении предела «начинательного» (т. е. налицо аналогия с сов. в.). В этих случаях творительный имеет перфективное значение (впервые о способности именных синтаксем к передаче значения перфектива писала Г.А. Золотова [Золотова 2005]): признак в творительном обусловлен предшествующим действием предицируемого субъекта либо другого лица: *пришел / прислали –> является гостьей, послом*.

См. также пример из пьесы Арбузова, где героиня рассказывает о получении третьим лицом должности начальника экспедиции: *На буровой-то Аникин **хозяином**. Добился*. Здесь начинательное значение творительного подтверждается интерпретационным перфективным глаголом в постпозиции, который во временно́м плане предшествует состоянию «хозяином», являющемуся результатом, следствием действия *добился*.

Если в примере из Арбузова имеют место таксисные отношения временно́го следования (первое – следствие второго) между перфективным глагольным и именным предикатом, то контекстное окружение именного предложения в фрагменте из поэмы Цветаевой – перфектные причастные предикаты, отражающие статику пространства (о статике причастных предикатов см. [Вяльсова 2008]):

Надышано, *накурено*,
А главное – *насказано*!

Чем пахнет? Спешкой крайнею,
Потачкой и грешком:
Коммерческими тайнами
И бальным порошком.

Холостяки семейные
В перстнях, юнцы маститые…
Нашучено, *насмеяно*,
А главное – *насчитано*!
(Вполоборота: это вот –
Наш дом? – Не я **хозяйкою**!)

---

[5] Употребление «творительного рассогласованного» на примере предикатных имен с категориальной семантикой в предложениях в настоящем времени (*Ах! этот человек всегда **причиной** мне ужасного расстройства* (Грибоедов)) в рамках данной статьи не рассматривается; этому явлению предполагается посвятить отдельное исследование.

Причастные предикаты соединяют перцептивный модус (обрисовка конкретного пространства) и ментальную оценку увиденного (оценочный префикс *на-*, авторские причастия от речевых глаголов), именной предикат употреблен в рамках речевого акта – в скобки заключена авторская ремарка к наблюдаемому: причастные предикаты и именной предикат не образуют единого временно́го плана. В этих условиях грамматическая семантика именного сказуемого осмысляется не на фоне статического контекста, а в рамках вставной конструкции, изолированно. Отрицательная модальность связывается с потерей автором хозяйских прав на свой дом и порядки в нем – если судить по творительному предикативному, временной потерей.

На динамику временну́ю (перфективную) и пространственную (аналогия с глаголами движения) в приведенных примерах указывают директивные синтаксемы (*к вам*), невозможные в рамках конструкции с именительным как падежом статическим. Такое соединение форм времени и падежа, частотное в XIX в., в современном языке становится малоупотребительным, в силу того что субстантивные признаки склонны выражать статику ситуации и не сиюминутные признаки, а для передачи динамики избираются другие типы не-глагольных предикатов: «я к вам по делу», «я к вам ненадолго».

При кластере «творительный – настоящее время» употребляется локализатор, очерчивающий пространственные границы действия признака:

Я старостою **здесь** над водяным народом (Крылов);
Я по делам гонцом **у барина большого** (Крылов);
Это вот – **Наш дом?** – Не я хозяйкою! (Цветаева);
Почему Вавилов, а не он (Крымов. – *Е.Н.*) комиссаром **в дивизии Родимцева**? (В. Гроссман – внутренняя речь Крымова, режим 1-го лица).

Творительный при настоящем времени может указывать не только на временный признак, но и на его обусловленность чужой волей, высшей инстанцией, что и придает ему временный характер, подтверждаемый формой падежа. Обусловленность статуса чужой волей в сосинении с предикацией к *Я*-субъекту порождает своеобразие эмоциональной позиции говорящего. Ср. в «Евгении Онегине»: *Он там хозяин. Это ясно* (из сна Татьяны) – именной предикат в именительном отнесен к *он*-субъекту, отсутствует эмоциональный фон; речь не идет о том, что кто-то передал Онегину хозяйские полномочия, вывод о его статусе в фантастической компании принадлежит Татьяне.

В динамических контекстах в отсутствие пространственного локализатора действуют директивы (см. выше примеры из Достоевского, Чехова, Арбузова).

Выбор именно творительного (как падежа субъективирующего) объясняется синсемичностью с совершенным видом: последний «субъективен», его суть в том, что взгляд говорящего, отделяясь от линии времени, пересекает ее, в отличие от несовершенного вида, «объективного» (взгляд говорящего параллелен линии времени) [Золотова 2002]. Ср. также идею А.В. Исаченко (1960 г.) о возможности, в случае совершенного вида, обозревать начальную и конечную фазы процесса: «Выражая процесс формами совершенного вида..., говорящий стоит вне процесса, выраженного глагольной формой...» [Исаченко 2003, 2: 133].

Членимость времени в современном языке также отражается употреблением творительного, членимое время обычно не соединяется с именительным падежом, при временно́м локализаторе в прошедшем времени обычно выступает творительный (который «отмеряет» время), но не именительный: *он был **тогда** ребенком / ?ребенок*; ***Сначала** он был химиком / ?химик*. Следовательно, предикативные падежи способны передавать количество времени, в течение которого осуществляется предикативный признак, и тем самым выполнять функции, сопоставимые с функциями глагольного вида: именительный, как передающий идею слитного, нечленимого времени, уподобляется несовершенному виду, творительный – «количественному» совершенному виду. См. также раздел II.2.

Однако семантическая близость творительного падежа и совершенного вида не означает их функционального тождества и взаимозамены. Так, именное предложение

Сначала он был химиком синонимично глагольному *Сначала он занимался химией*, где выбирается несовершенный вид (а не совершенный), что обусловлено фиксацией именного сказуемого на временно́й членимости, а глагольного – на временно́й протяженности (временны́е рамки задает темпоральное наречие).

Тем самым, аналогия между видом и предикативным падежом (именительным падежом и несовершенным видом, творительным и совершенным видом) является логическим продолжением того лингвистического исследования, которое предпринял А. Тимберлейк, изучая закономерности употребления именительного – творительного в таксисном предикате в связи с глагольным видом основного предиката и его контекстным значением [Тимберлейк 1985]. Здесь следует также вспомнить идею Р.О. Якобсона [Якобсон 1985], который парадигматически противопоставил родительный как падеж, имеющий дело с идеей предела – объема, падежам именительному и винительному, неохарактеризованным по этому признаку, и уподобил это противопоставление видовому: «...в соответствии с этим можно говорить и о видовой корреляции у имен» [Там же: 146]. Наш анализ показывает, что видовую семантику падеж может нести и в синтагматике. Достраивая предложенную Р.О. Якобсоном модель видовой корреляции у имени, получим противопоставление двух пар падежей: творительного – родительного, с одной стороны, и именительного – винительного – с другой.

I.2. Творительный «метафорического», субъективированного признака. Признак не реальный, не констатирующий, приписывается личным субъектам (обычно не 1-го лица, что объясняется взглядом со стороны):

> А тетушка? все **девушкой**, **Минервой**? Все **фрейлиной** Екатерины Первой? (Грибоедов);
> Ведь он у ней теперь **великим визирем** (Тургенев).

Можно провести аналогию с творительным сравнения, а также говорить о том, что творительный предикативный принимает на себя семантику связки *как*, которая квалифицирована у В.В. Виноградова как имеющая «окраску метафорического приравнивания» [Виноградов 1947: 675]. Говорящий, стоящий за оценочным, субъективирующим признаком, обнаруживает себя выбором творительного. В отличие от связки *как*, творительный метафорических предикатов при личных субъектах востребован обычно в контекстах с негативной оценкой.

Этот тип метафорических предикатов можно расширить за счет предложений с предметными субъектами, которые являются средством изобразительности в поэтической речи, в репродуктивном регистре (объект наблюдения, которому приписан временный, метафорический предикат):

> **Серебряной зазубриной**
> В окне – звезда мальтийская! (Цветаева).

Выделяемый И.И. Ревзиным [Ревзин 1978] тип предикатов с «семантикой преходящего тождества», проиллюстрированный немецкими примерами *Brot ist Freiheit; Freicheit – Brot*; *Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme*, обнаруживает сходство с примерами из группы I.2 – эти предикаты метафорические. Представляется, что преходящий характер признака обусловлен его принадлежностью только говорящему, его сознанию, в отличие от предикатов «константного тождества» (*Декарт – это Картезиус*), в которых отражено общее знание. Однако немецкие предложения не могут быть переведены с помощью творительного, что объясняется ненаблюдаемостью признака, его ментальным характером в примерах с предметными субъектами, а в примере с личным субъектом – 1-м лицом субъекта, накладывающим ограничения на внешнюю точку зрения, и отсутствием негативной оценочности в примере с личным субъектом.

II. Именительный «рассогласованный» употребляется в следующих условиях:

II.1. Именительный вечного (вечно актуального) признака. Объективированность, обусловленная абсолютной всевременной значимостью, вневременной при-

знак, признак, действительный «всегда»: *Пушкин был художник*; *Солженицын был гражданин* – предикаты оценочные (могут сопровождаться оценочными квалификаторами и равносильны значениям «великий художник», «великий гражданин»), синонимичны тем же предложениям с нулевой связкой. Предикативное имя получает оценочное значение, но это оценка не с позиций говорящего индивида, а с позиций вечной истины, средством выражения которой становится именительный «объективирующий».

Соотношение именительного – творительного предикативных в современном русском языке аналогично тому грамматическому соотношению, которое реконструируется в паре «бессвязочное именное предложение / предложение со связочным глаголом», которое предлагает Э. Бенвенист: «Как только в именное предложение вводят глагольную форму, оно утрачивает свою подлинную сущность, которая как раз и заключается в том, что между языковым рядом (высказыванием) и действительностью предполагается отношение *неварьируемости*. Именное предложение способно определять "вечную истину" потому, что в нем отсутствует какая бы то ни было глагольная форма, конкретизирующая выражение» [Бенвенист 2002: 182–183]. «Конкретизация выражения» – это конкретизация во времени, вневременная сущность предиката связана в реконструкции с именем, в современном русском языке – с именительным предикативным. Можно, таким образом, сказать, что именительный может подавлять временно́е значение связки, выводя на первый план отсутствие временно́й локализации. В [Виноградов, Шведова (ред.) 1964: 22–23] Н.Ю. Шведова пишет о том, что на протяжении XVIII в. в русском языке соотношение предложений со связкой *есть* и бессвязочных определялось характером признака во времени: вневременные признаки выражались посредством связочных предложений, временные – посредством бессвязочных. И до сих пор в современном языке наличие в предложении связки *есть* осмысляется в связи с отсутствием временно́й локализованности. Таким образом, в разных языковых системах и на разных временны́х срезах системы одного языка аналогичное смысловое категориально-временно́е соотношение может обслуживаться соотношением разных пар грамматических форм – как связочных, так и падежных.

Если рассматривать разные варианты временно́й и падежной организации именных предложений, то лингвистический анализ в изоляции от контекста является самым плодотворным именно применительно к предложениям с именительным «вечного признака», поскольку такие высказывания, получая ранг всеобщей истины, живут как афоризмы, вне повествовательного контекста (в грамматическом плане – теряют временну́ю парадигму).

В классификации И.И. Ревзина семантика предиката такого типа получила название «константного включения» и противопоставлена семантике «преходящего включения» (*Пушкин был лицеистом*).

II.2. Именительный абсолютного прошлого и «абсолютного признака» передает объективированность, обусловленную неизменностью признака в реальном прошлом по отношению к моменту речи. Условия употребления таких предикатов – речевой режим (говорящий как субъект дейксиса), см. [Падучева 1996: 13, 244–249, 262]. Понятно, что прямая речь героев в рамках художественного текста, которая имитирует, воспроизводит ситуацию речевого режима, осуществляется по законам первичного дейксиса.

Неизменность и абсолютность признака связана с тем, что субъект принадлежит прошлому, не существует в настоящем. Абсолютность признака не соединяется с пространственно-временной локализацией (которая нарушила бы абсолютность, сделав время членимым).

Покойник **был** почтенный **камергер**, / С ключом, и сыну ключ умел доставить (речь Фамусова, Грибоедов);

Муж Лебедевой-Остроумовой **был химик** (из разговорной речи);

Он же **сердечник был** (Е.В. Санаева об отце).

Эти предикаты носят констатирующий характер (сближаются с предикатами действия = *занимался химией*, качества = *у него было больное сердце*). Именные предикаты в конструкции со связкой в прошедшем и именительным (абсолютное прошедшее) являются предикатами 3-го лица. Ср.: *Он* / *?Я был химик*. Тем, что конструкция с именительным предикативным в прошедшем не допускает использования 1-го лица субъекта, доказывается, что не только признак, но и сам предицируемый субъект принадлежит «абсолютному прошлому»: его время остановилось (его нет в живых); *Я*-субъект, сохраняя связь с дейктическими категориями, не может быть отнесен к «абсолютному прошлому».

Именительный статический позволяет передать взгляд со стороны, из другого временно́го плана, но из «параллельного времени»: такие предложения как бы утверждают две линии времени – героя, предицируемого субъекта, и говорящего[6]. Для передачи того же внеязыкового факта (предикация к субъекту, которого нет в живых) факультативно может использоваться творительный, потому что творительный динамический членит общую линию времени на временны́е планы – настоящего и прошлого (*Менделеев был химиком*), говорящий укладывает историю героя и свою в одну временну́ю линию.

Можно предположить, что «оттенок литературности», который отмечает [Пражская грамматика 1979: 722] в творительном, обнаруживается именно в значении «абсолютного прошедшего». Это может быть связано с тем, что если творительный организует время события и время речи в одну временну́ю линию и подчиняет время события точке зрения говорящего (контролируемость), то именительный представляет время события «изолированно» (неупорядоченность времени, неконтролируемость со стороны говорящего).

Творительный предикативный на фоне прошедшего связан с членимостью времени и употребляется и в условиях конкретно-временно́й локализации. Сравним два примера из «Трех сестер».

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он **был генерал**, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

За счет именительного предикативного прошедшее представляется говорящим как нечленимое время (ср. с семантикой несовершенного вида), к которому в целом и относится констатирующий предикативный признак.

В другом примере из «Трех сестер» речь идет о некотором временно́м отрезке, что задает условия для употребления творительного (который аналогичен совершенному виду), время – членимое:

Тузенбах. Александр Игнатьевич из Москвы.
Ирина. Из Москвы? Вы из Москвы?
Вершинин. Да, оттуда. Ваш покойный отец был там **батарейным командиром**, а я в той же бригаде **офицером**.

Вариантом временно́й локализации может выступать и локализация пространственная: Москва – это и место, и временной отрезок, вмещающий детство героинь.

Ср. «именительный абсолютного прошедшего» с «творительным актуального признака в настоящем»: первый исключает указание на пространственно-временную локализацию, второй – обязательно требует.

II.3. Именительный «нарративный» выражает объективированность настоящего в художественном тексте на фоне нарративной формы прошедшего.

Функция говорящего как субъекта дейксиса однозначна в речевом режиме, однако в рамках художественного текста она разрушается за счет усложнения пространственно-

[6] Ср. с именительным нарративным (раздел II.3 настоящей статьи), который также используется в ситуации, когда соотнесены два мира, на этот раз – реальный и фиктивный.

временно́й организации: время (и пространство) текстовое, событийное, таксисное, соотносится со временем (1) слова внетекстового субъекта (повествователя) и (2) мысли или перцепции внутритекстового субъекта (героя, того, кто совмещает роль объекта изображения, он же субъект диктума, и субъекта модуса, субъекта рефлексии). Время художественное параллельно, является внешним по отношению ко времени пишущего, а также времени читателя (физическому, внетекстовому, времени чтения), ср. с идеей Г.А. Золотовой о трех временны́х осях в художественном тексте [Золотова и др. 1998: 22–23]. Другими словами, дейксис в тексте возможен в отношении внутритекстового, фикционального времени-пространства и принадлежит внутритекстовому субъекту, что означает удвоение времени-пространства автора и читателя, их одновременное бытие в двух временны́х планах: в ментальном, фикциональном, внутри текста, и в физическом – вне текста.

Самый простой случай – приписывание именных предикатов личным субъектам, существующим, живущим в рамках изображаемого в повествовании пространства-времени (нарративный режим интерпретации по Е.В. Падучевой). Рассмотрим два литературных фрагмента:

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат. <…>

– Пусть их приходят, – сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков **был художник** с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться к природе (Гоголь);

В большом доме Глебов бывал не раз: то у Моржа на десятом этаже…, то приходил к Химику…, то бывал у Сони Ганчук, а то у Антона в маленькой квартирке на первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Изо всех обитателей большого дома Глебову по-настоящему нравился Антон Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона просто-напросто гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон **был музыкант**, **поклонник** Верди, оперу «Аида» мог напеть по памяти всю, с начала до конца, кроме того, он **был художник**, лучший в школе, особенно замечательно он рисовал акварелью исторические здания, а тушью – профили композиторов; еще он **был сочинитель** фантастических, научных романов, посвященных изучению пещер… (Трифонов).

Именные предикаты – констатирующие (*художник*, *сочинитель*, *музыкант*, *поклонник*). В связи с этими примерами можно говорить об объективированности «настоящего», об отнесенности признака к тому временно́му плану, к которому относится повествование – «прошедшее как настоящее», отсюда именительный предикативный как маркер настоящего. Особенно весомо это свойство взаимодействующих форм времени и падежа проявляется в адъективном предикате, см. фрагмент, обусловленный перцептивным модусом (репродуктивный регистр):

– Какая голова? – спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстух **был яркий** (Булгаков).

Форма прошедшего времени в *был яркий* осмысляется как актуальное настоящее. Изменение предикативного падежа относит признак к предшествующему временно́му плану по отношению к изображаемому времени: *Галстух был* ***ярким*** (= раньше, а теперь поблек)[7], а форма связки семантизируется (т. е. означает прошедшее по отношению к изображаемому временно́му плану).

[7] См., однако, работу [Шелякин (в печати)], где среди закономерностей соединения форм времени и падежа в адъективном предикате не учитывается функциональное тождество форм настоящего и прошедшего в нарративе (в частности, в репродуктивном регистре).

Форма прошедшего времени в именном предложении является средством подстройки под контекст. Прошедшее маркирует не временну́ю дистанцию между моментом речи и изображаемыми событиями (как было бы в речевом режиме), а границу миров – фиктивного и реального; автор и читатель перемещаются во время-пространство героев. О функциональной близости в паре форм настоящего и прошедшего в нарративе Е.В. Падучева пишет: «Парным к нарративному прош. является наст. историческое, которое тоже не выражает, в отличие от обычного наст. времени, совпадения с моментом речи. Противопоставление "настоящее vs. прошедшее" преобразуется при нарративном режиме в дейктическое противопоставление "ближнее vs. дальнее"» [Падучева 1996: 13][8].

Усложнение временно́й организации сопровождается и усложнением субъектной перспективы. В примере из «Портрета» представлен переход от внутренней точки зрения героя (субъекта мысли, действия и речи) к внешней точке зрения на героя: его свойства (*Чартков был художник*) характеризует повествователь; в гоголевском тексте эта граница выделена и графически – новым абзацем.

Пример из «Дома на набережной» может интерпретироваться либо как внутренняя речь героя (несобственно-прямая речь), Глебова, перемещающегося в воспоминании во временной план детства, либо как слово автора о герое (вообще охарактеризовать отношение автора и героя в этом романе, определить соотношение внутренней / внешней позиции чрезвычайно затруднительно, это могло бы стать предметом отдельного исследования в области грамматики и текста).

Возвращаясь к сравнению адъективных и субстантивных характеризующих признаков (типа *художник*) в нарративе, надо признать, что семантика адъективных признаков теснее связана с временно́й динамикой (они подвижны, кратковременны), потому и связь падежа и времени ярче. Временна́я статичность субстантивных признаков ограничивает взаимодействие именительного предикативного и прошедшего времени в нарративе: на фоне связки прошедшего времени признак тяготеет к прошлому и выбирается творительный, т. е. создается временна́я дистанция: взгляд из нового временно́го плана («настоящего момента речи и чтения»), а изображаемое отодвигается в план прошлого. Поэтому повествовательная техника «именительного нарративного» субстантивных признаков (*Чартков был художник*) осознается сегодня как элемент архаики (см., однако, примеры из прозы 1970-х гг.: из «Дома на набережной» Ю.В. Трифонова и ниже из мемуаров Н.М. Малышевой).

Если нарратив формой прошедшего времени создает особое время-пространство, то жанр фиктивного дневника позволяет специфическое использование форм настоящего и прошедшего. Так, в дневнике Печорина в «Княжне Мери» в характеристиках его знакомых могут чередоваться формы настоящего и прошедшего времени. Это касается именных нелокализованных во времени предикатов (выделены в примере). При этом интересно, что субстантивные констатирующие предикаты употребляются именно в форме настоящего. Очевидна функциональная близость форм настоящего дневникового и прошедшего нарративного (с именным маркером настоящего времени – именительным предикативным).

Грушницкий – *юнкер*. Он *только год в службе*... У него *георгиевский солдатский крестик*. Он *хорошо сложен, смугл и черноволос*... Он *довольно остер*.... Когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий *довольно мил и забавен*.

Вернер *человек* замечательный по многим причинам. Он *скептик* и *матерьялист*, как почти все медики, а вместе с тем и *поэт*... Он *был беден*... У него *был злой язык*. ... Его наружность *была из тех*... Вернер *был мал ростом*.

---

[8] Интересно, что имперфективы в форме настоящего времени («ближнее» по Е.В. Падучевой) как упрощенный повествовательный прием часто используются в детской литературе.

Если характеристики Грушницкого удерживаются в настоящем времени, создавая эффект противостояния двух героев в рамках единого настоящего (Печорин как герой), противостояния, которое будет развиваться в сюжете повести, то при описании Вернера побеждает повествовательная техника прошедшего времени, сменяющая «дневниковое настоящее» и воспроизводящая отношения автор – герой (Печорин как писатель).

Здесь же рассмотрим пример из мемуаров, в котором содержится биноминативное предложение в прошедшем времени – это реальное прошедшее по отношению к моменту речи, именной предикат *был бывший кадровый офицер* относится к тому временно́му плану, о котором идет речь в воспоминании (нет временно́й дистанции между временем именного предиката и временем предиката *руководил*):

В.В., видимо, тоже не было дома в Москве, по-видимому, его обучали военному делу в народном ополчении. Вскоре его отпустили оттуда. Там чем-то руководил Андрей Михайлович Земский (один из авторов учебника русского языка – Земский, Крючков, Светлаев). А.М. *был*, кажется, *бывший кадровый офицер*, и поэтому он обучал новобранцев (Воспоминания Н.М. Малышевой о В.В. Виноградове).

В свое время (в работе 1975 г.) К.В. Чвани [Chvany 1996: 85] увидела особую ценность произведенного И.И. Ревзиным анализа предложений тождества в том, что он вернулся к литературным источникам, по которым восстановил состав мигрирующих из книги в книгу упрощенных примеров, что позволило ему решать вопрос о согласовании связки в биноминативных («двухподлежащных») предложениях с точки зрения реализации скрытой категории определенности / неопределенности и в связи с иерархией именных морфологических признаков [Ревзин 1978: 244–245], ср.: *Кабинет была комната – Кабинет его была комната ни большая, ни маленькая.*

Логичен и следующий шаг: за восстановлением количественного состава предложения – восстановление повествовательной среды, в которой это предложение живет. В связи с текстовым подходом и с учетом функционирования категории времени в условиях художественного повествования, обусловленного особенностями пространственно-временной позиции субъекта сознания, классические литературные примеры могут получить новую интерпретацию. Следующие текстовые фрагменты, в которых содержатся биноминативные предложения, организованные двумя предметными (неличными) именами, принадлежат репродуктивному регистру. Репродуктивный регистр характеризуется совпадением времени речи и времени наблюдения (сфера бытия перцептивного, или сенсорного, модуса).

Рассмотрим расширенный контекст именного предложения из «Преступления и наказания»:

В это самое время его (Раскольникова) позвали к Порфирию Петровичу. *Оказалось, что* в эту минуту Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. **Кабинет его была комната ни большая, ни маленькая**; стояли в ней: большой письменный стол перед диваном, обитым клеенкой, бюро, шкаф в углу и несколько стульев – все казенной мебели, из желтого отполированного дерева. В углу, в задней стене или, *лучше сказать*, в перегородке была запертая дверь: там далее, за перегородкой, *должны* были, *стало быть*, находиться еще какие-то комнаты.

Выделенное именное предложение обусловлено точкой зрения субъекта-наблюдателя (который в первом предложении выступает субъектом сознающим, мыслящим, на что указывает ментальная модусная рамка *оказалось, что*…). Репродуктивное описание, уравнивая формы прошедшего и настоящего (возможна синонимическая замена: *Раскольникова позвали к Порфирию Петровичу. <…> Кабинет его – комната ни большая, ни маленькая; стоят в ней: большой письменный стол, бюро, шкаф*), семантически передает идею настоящего актуального. Сигналом настоящего актуального и является именительный падеж обоих составов (квалификация с точки зрения субъекта – предиката затруднительна, а возможно, и неважна, некоторые исследователи говорят о двух подлежащих, см. [Ревзин 1978: 241]). Инверсированный порядок слов в бытийном

предложении указывает на соединенность модусов сенсорного и ментального; благодаря такому построению воспроизводится психологическое состояние Раскольникова в момент его первого появления в полиции у Порфирия Петровича, его нервное напряжение и ожидание (которым проникнуто все начало V главы). Прямое наблюдение соединяется с размышлением, как будто герой, оглядываясь, осматриваясь, находит ответы на поставленные заранее вопросы: что за комната служит кабинетом у Порфирия Петровича? что же находится в той комнате? Маркеры ментальных модусов выделены в примере курсивом.

В следующем фрагменте из «Войны и мира» присутствуют биноминативные предложения в формах настоящего и прошедшего. От чего это зависит?

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что **большое черное пятно направо – караулка**, и **красное яркое пятно внизу налево – догоравший костер**, что **человек, приходивший за чашкой, – гусар, который хотел пить**; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. **Большое черное пятно**, *может быть, точно* **была караулка**, а *может быть*, **была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно**, *может быть*, **был огонь**, *а может быть* – **глаз огромного чудовища**. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это – самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. *Иногда казалось, что* **эти черные пятна были тучки**. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Этот фрагмент обусловлен в основном точкой зрения Пети, который находится в состоянии, когда ясное, дневное сознание постепенно побеждается сном (об этом вся X глава, в финале которой Петя засыпает). Во фрагменте соединяются модусы перцептивный и ментальный (интерпретация увиденного). Открывается фрагмент модусной рамкой мнения *он должен бы был знать, что...* (которая может принадлежать как повествователю, так и герою). Рамка стоит в форме сослагательного наклонения с контрфактивным значением, а диктальные предикаты под рамкой даны в форме настоящего времени, так как между рамкой и диктальными частями отсутствуют таксисные отношения; благодаря этому создается эффект соприсутствия читателя: время чтения тождественно времени мысли героя. Многочисленные диктальные части под рамкой (не менее восьми самостоятельных предикатов) начинают отрываться от нее и могут прочитываться как описание статичного окружающего пространства. Форма настоящего биноминативных предложений может пониматься как результат подстройки под ментальную рамку и в то же время как репродуктивное изображение. После объяснительного предложения («он был в волшебном царстве») следует часть, обусловленная только точкой зрения героя (его внутренняя речь), начиная с именных предложений, осложненных ментальными *Я*-рамками (в тексте выделено полужирным шрифтом). В этом случае именные предложения принимают форму прошедшего (что является знаком подстройки под общий грамматический контекст), сохраняя, однако, формы именительного, которые выступают сигналами настоящего актуального. Благодаря соединению модуса кажимости

(который должен был бы «согласовываться» с творительным[9]: *черное пятно было, может быть, пещерой*) и объективирующего именительного предикативного «волшебные» предикаты приобретают в рамках Петиного сознания статус «действительности» (фантазия замещает реальность). Интересно, что за этими именными предложениями следуют обрамленные предложения с глагольными предикатами (*сидит*) в настоящем в сопровождении темпорального показателя *теперь*.

Рассмотрим фрагмент из «Войны и мира», в рамках которого существует предложение, обсуждавшееся в работе [Ревзин 1978].

Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (*восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась*), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда-то, что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

Биноминативное предложение организовано соединением неизосемического (пропозитивного) имени (*восхищение*) и предметного имени в переносном значении (*мазь*). Именительный второго состава можно объяснить двумя причинами. (1) Творительный дал бы прочтение, отсылающее к прямому номинативному значению (?*восхищение было той мазью*, ср.: *он был свинья – он был свиньей*). (2) Обсуждаемое предложение включено во вставную конструкцию, которая содержит обобщение, касающееся характера героини. Это обобщение принадлежит повествователю, ментально соприсутствующему в том же художественном хронотопе, что и героиня, Наташа (отсутствие временно́й границы и бытие в одном пространстве-времени аналогично настоящему); обобщение верно для всех временны́х ипостасей героини (которая жива), что должно выражаться настоящим временем и соответственно именительным предикативным.

К именительному предикативному в нарративе близок именительный предикативный в косвенной речи[10], передающий слова героя «в настоящем» (в присутствии модусных рамок с семантикой речи, мысли, мнения – выделены в примерах курсивом). Именительный, как маркер настоящего времени, создает эффект «непереведенности» части содержания высказывания из прямой речи в косвенную, сохраняя следы речи прямой:

Потом Ноздрев велел принести какую-то особенную **бутылку, которая**, *по словам его*, **была и бургоньон, и шампаньон** вместе (Гоголь).

Ср. именительный и настоящее время в реконструируемой прямой речи: **Ноздрев сказал: «Вино и **бургоньон** и **шампаньон** вместе».*

Модусная субъектная синтаксема *для* + Род. выражает не только субъекта мнения, но и субъекта речи (героя мыслящего и говорящего):

Для Сергея Ивановича **меньшой брат его был славный малый,** с сердцем, поставленным хорошо (как он выражался по-французски), но с умом хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий (Л. Толстой).

Ср. в реконструируемой прямой речи: **Сергей Иванович считал, думал, говорил: «Мой меньшой брат – **славный малый**».*

---

[9] Ср. предикаты модуса кажимости, которые функционируют в соединении с творительным предикативным: *казаться*, *представляться* и т.п.

[10] Соотнесенность нарратива и косвенной речи в связи с проблемой разграничения первичных и вторичных эгоцентриков обсуждается в работе [Онипенко (в печати)].

III. Именительный «рассогласованный» на фоне будущего – временна́я близость.

Известно, что творительный семантически согласуется с будущим временем, указывая на расподобление времени речи и времени предиката. Рассмотрим пример употребления именительного в соединении с формой будущего времени:

Сережа побежал домой, крича:
– Мама! Мама! Коростелев нам прислал свою шинель!
<...>
Шинель уже висела на вешалке, а мама читала письмо. Она ответила не сразу, а когда дочитала до самого конца.
– Я знаю, Сереженька. Коростелев теперь будет жить с нами. Он **будет твой папа** (Панова).

Выбор именительного обусловлен близостью плана будущего к плану настоящего (и к моменту речи): личные вещи отчима уже в доме, «**теперь** будет жить с нами» – а также постулируемой неизменяемостью признака во времени. Ср. также пример, в котором героиня, находящаяся без средств, при получении заказа на выполнение чертежей говорит квартирной хозяйке: *Ну вот и деньги, бабушка. Я снова буду* ***богатая*** (Арбузов) – адъективный предикат в именительном также указывает на близость признака во времени (работа уже получена).

3. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДИКАТИВНЫЙ ПРИ ФОРМАХ СВЯЗКИ НЕ-НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В ТЕКСТАХ XVIII–XIX вв.

Обрисованная выше тенденция к семантическому согласованию категорий в конструкциях с субстантивным предикатом, характерная для современного языка, связана с идеей дискретного времени. Грамматический механизм рассогласования, реализующийся в соединении именительного и связки в прошедшем, будущем времени, связан с интерпретацией времени как нечленимого, т. е. с тем, что говорящий мыслит предикативный признак как существующий либо в вечности, либо в абсолютном прошлом, либо в «семантическом» настоящем в повествовании (в нарративном режиме интерпретации), либо в неразделимости планов настоящего и будущего. Тем самым в современном языке представлены две грамматические тенденции, из которых «семантическое согласование» является более новой, а то, что осмысляется сегодня как «рассогласование», принадлежит более старому состоянию системы.

Вообще история предикативных падежей на протяжении XVIII–XIX вв. состоит в постепенном расширении сферы употребления творительного предикативного. Обширный материал документальной, публицистической литературы, эпистолярного жанра, исторических записок XVIII–XIX вв. и его анализ представлен в [Виноградов, Шведова (ред.) 1964: 20–101], где Н.Ю. Шведова указывает, что расширение сферы употребления творительного, а следовательно, и приближение к грамматическим тенденциям нашего времени связано с творчеством Н.М. Карамзина [Там же: 87].

Обращение к примерам из художественной литературы показывает, что именительный при формах не-настоящего времени на протяжении первых двух третей XIX в. употреблялся шире, чем в современном языке; прежде всего, речь идет о членимом времени, в частности, в имитационном речевом режиме (слово героев, диалог). Это можно связать как со становлением новой грамматической тенденции, так и с индивидуальными авторскими предпочтениями. Так, Н.Ю. Шведова приводит свидетельства того, что Пушкин «явно отдает предпочтение именит. падежу» [Там же: 92–93].

По-видимому, на протяжении XIX в. действовала иная грамматическая закономерность, сменившаяся к рубежу XIX–XX вв. тенденцией к «семантическому согласованию» категорий по принципу «объективности – соединенности с говорящим» / «субъективности – дистанцированности от говорящего». С сегодняшней точки зрения старая закономерность (относящаяся еще к XVIII в.) – это осмысление других, по отношению

к настоящему, временны́х планов как объективных; во временно́й парадигме именного предложения формы времен семантически уравнены посредством именительного предикативного[11]. Таким образом, можно говорить о меньшей степени выраженности эгоцентрической грамматической техники в конструкциях с субстантивными предикатами в системе той эпохи и о ее развитии в течение XIX в. (об эгоцентрических средствах см. [Падучева 1996; Онипенко (в печати)]): предикативным падежом начинают отмечать временно́е и модальное совпадение / дистанцирование сообщаемого, с одной стороны, и момента речи и *Я* – с другой.

Объективность времен соотносится с «объективностью» имен (предметные имена: личные местоимения, *муж*, *человек*, *друг*, *жених*, *ребенок* и т. п.), служивших субъектом и предикатом. См. следующие примеры:

Его без гроба погребли в холодном лоне *той земли, на коей* он **невольник был** (Жуковский);

В то время **был** еще **жених** ее супруг; Петушок мой золотой **будет** верный **сторож** мой (Пушкин);

Вы **были** *тогда* **ребенок** (пример, разбираемый в [Якобсон 1985]);

Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! **Я был друг ваш**; ну, вот я и *теперь* друг; я ничему не изменял... (Достоевский).

Во всех этих примерах признак отнесен к прошлому / будущему по отношению к моменту речи или к изображаемому временно́му плану (членимое время).

Выделенные курсивом временны́е и пространственные модификаторы указывают на членимость времени; предикаты в примерах – констатирующие. Ср. пример с оценочными предикатами в именительном:

Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы **будем старые хрычи**, жены наши – старые хрычовки, а детки **будут славные, молодые, веселые ребята**; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо (Пушкин).

Что может прояснить обращение к грамматическим трудам XIX в.? У А.Х. Востокова [Востоков 1838] читаем: в прошедшем времени «природное состояние предмета» обусловливает употребление именительного предикативного: *Адам был первый человек, Каин и Авель были дети Адамовы*; «состояние случайное, какими-либо делами приобретенное» предопределяет выбор творительного: *Адам был первым земледельцем, Каин был убийцею брата своего*. Ср. у Ф.И. Буслаева [Буслаев 1858] сходное же противопоставление несущественных / существенных признаков: *Ломоносов был рыбаком – Ломоносов был великий человек*.

Тем не менее трудно настаивать на том, что в предложениях типа *Я был друг ваш* (Достоевский), *Вы были тогда ребенок* (Тургенев) речь шла о «природном», «существенном» признаке (семантически «друг», «ребенок» – непостоянные, изменяемые признаки). Можно предположить более «объективный» характер прошедшего времени, которое в современном языке отошло в область модально маркированных форм (имени-

---

[11] И авторы [Виноградов, Шведова 1964], и старые русские грамматики представляют историю именного предиката как вытеснение именительного предикативного творительным. У В.А. Богородицкого читаем: «Сравнение с родственными языками и древним состоянием самого русского языка показывает, что замена второго именительного (т. е. предикативного) посредством творительного представляет собою сравнительно позднее явление...» [Богородицкий 1935: 210]. Ф.И. Буслаев считает творительный в настоящем времени полонизмом [Буслаев 1858]. Интересно, что творительный сближается для грамматистов XIX – начала XX вв. с обстоятельством и мыслится вне предиката – глагола *быть* (см. [Востоков 1838; Богородицкий 1935]).

тельный предикативный сменился творительным). О том же может свидетельствовать и факт, что в пределах современной нормы оказываются предложения *Адам был первым человеком, Каин и Авель были детьми Адамовыми*, т. е. «природные» признаки по А.Х. Востокову могут принимать форму творительного.

Наряду с именительным предикативным в литературе конца XVIII – 1-й пол. XIX в. представлен и творительный предикативный (ниже приводятся примеры из [НКРЯ]). Предикаты указывают на вре́менные, возрастные или функциональные, ипостаси предицируемых субъектов (ср. о временных, несущественных признаках [Востоков 1838; Буслаев 1858]), время реализации сообщаемого признака отграничено от времени сообщения (момента речи):

Стародум. Как не знаком? Он три года у меня был **кучером**. Все показывают удивление (Д. Фонвизин. Недоросль (1782));

«Бог дал мне руки, чтобы работать – говорила Лиза, – ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была **ребенком**, теперь пришла моя очередь ходить за тобою...» (Н. Карамзин. Бедная Лиза (1792));

Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был **свидетелем** вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить (М. Лермонтов. Герой нашего времени (1839–1841));

Я узнал только, что он некогда был **кучером** у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год (И. Тургенев. Певцы (1850)).

В примерах с пропозициональными субъектами также употребляется именительный предикативный:

Я – я *не люблю* его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня, – ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, кончено! Но почем знать, добрый друг мой, – продолжала она, пожимая мне руку, – почем знать, может быть, и вся **любовь** моя **была обман** чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? (Достоевский);

...а стало быть, **все это**, *вчерашнее*, случившееся с ним, Раскольниковым, опять-таки **было призрак**, преувеличенный раздраженным и больным воображением его (Достоевский).

Приведенные фрагменты представляют собой прямую или несобственно-прямую речь героев – Настеньки и Раскольникова, формы прошедшего времени маркируют реальное прошедшее, минувшее относительно момента речи – внешней или внутренней. Выделена курсивом лексика, указывающая на противопоставление, а тем самым членимость временны́х планов. Именительный можно интерпретировать в связи с универсальной тенденцией к объективности идеи времени.

Сюда же можно отнести пример, обсуждавшийся И.И. Ревзиным [Ревзин 1978] и Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1976] в связи с проблемой тождества именных составов и согласования связки. На этот раз он рассматривается в связи с идеей взаимодействия членимого прошлого (выделено курсивом слово, указывающее на членимость времени), объективности плана прошедшего и выбора предикативного падежа в предложениях с пропозициональными субъектами; в отличие от примеров из Достоевского, здесь представлена авторская речь:

Свадьба Наташи, вышедшей в 13-м году за Безухова, было *последнее* радостное **событие** в старой семье Ростовых.

В примерах из Достоевского предикаты интерпретационные, метафорические (*обман*, *призрак*), в примере из Толстого – констатирующий (*событие*), однако различие в семантике не отражается в предикативном падеже. При этом любопытно, что, как показывает анализ примеров из [НКРЯ], в конце XVIII – начале XIX в. интерпретационные

предикаты в творительном были уже довольно распространены, как в соединении с личными, так и с пропозициональными субъектами:

Юлия была **украшением** нашей столицы… (Н. Карамзин. Юлия (1796)).

Первая удача была **залогом** новых: храбрый князь, поручив Смоленск своему боярину, вступил в область северян и взял Любеч, древний город на Днепре (Н. Карамзин. История государства Российского: Том 1 (1803–1818));

Тогда величие и крепость духа возводили на верх славы и счастия и красота была **наградою** достойною (В. Нарежный. Славенские вечера (1809)).

Ср. также: *Вся жизнь моя была* ***залогом****…*; *Супружество нам будет* ***мукой*** (Пушкин).

Наблюдения над текстами конца XVIII – начала XIX в. показывают, что предложения с личными субъектами (*Он был тогда кучером*), передающие идею членимого времени, и предложения с интерпретационными предикатами (*первая удача была залогом…*) стали той семантической зоной, в которой начался процесс расшатывания «объективной» временно́й парадигмы именного предложения и экспансии творительного предикативного в формах не-настоящего времени. Колебания в выборе предикативного падежа на фоне прошедшего времени возможны в современном языке в основном в значении «абсолютного прошлого» (см. раздел II.2).

4. КАТЕГОРИАЛЬНО-ЛЕКСИЧЕСКОЕ РАССОГЛАСОВАНИЕ

Рассмотрим рассогласовательную технику на примере субстантивного *он*-предиката с семами оценочности, постоянства признака (*дурак*), который, в соответствии с механизмом грамматического согласования, должен был бы требовать именительного предикативного в рамках прошедшего времени. В самом деле, анализ примеров из [НКРЯ] показывает, что в подавляющем большинстве контекстов при связке в прошедшем времени употреблен именительный предикативный (71 против 17), что соответствует согласовательной модели. На примере фрагментов из литературных текстов покажем, какие факторы могут создавать условия для рассогласования, т. е. для использования творительного предикативного на фоне прошедшего времени.

1. Отрицательная модальность – прошедшее нарративное (равносильно настоящему):

Внешняя точка зрения, *он*-субъект:

Лапша был чудак, парень шальной и благой. <…> Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно сериозно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом **не был дураком**. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия (Н. Помяловский. Очерки бурсы (1862));

Дурак он, конечно, ну, а кто в его возрасте **не был дураком**? (И. Эренбург. Оттепель (1953–1955));

Но вот кто явно **не был дураком** — так это Борис Борисович (А. Гладилин. Большой беговой день (1976- 1981));

Страшно было то, что Ермилов **не был дураком**, он был умен, по-своему умен, но погорел, как дурак (В. Астафьев. Зрячий посох (1978–1982)).

Внутренняя точка зрения, *Я*-субъект:

Конечно, Штрум в глубине души понимал, что все эти изменения, в общем-то, ничего не меняют. *Он не был дураком*, он не был циником, он умел думать (В. Гроссман. Жизнь и судьба (1960));

Павел Николаевич **не был дураком**, к столичным сплетням прислушивался и вполне понимал, что стояло за сказанными на прошлой встрече Семенчуком словами: мол, скоро все изменится… (С. Таранов. Черт за спиной (2001)).

Отрицание безусловно оказывает влияние на выбор падежа (ср. также именительный предикативный в утвердительном высказывании: *Он был дурак*, *чудак*, *старик*). Анализ примеров показывает, что постоянный признак, коррелирующий с именительным предикативным в условиях прошедшего времени, реагирует на отрицательность, принимая форму творительного, т. е. падежа субъективирующего (*Он не был дураком*, *чудаком*, *стариком*). Тем самым отрицательность (реализующая категорию полярности) включается в сферу модальности, семантически согласуясь с творительным; лишь настоящее однозначно подавляет субъективизм отрицания, или модальную окрашенность, требуя именительного. Взаимодействие с творительным падежом дистанцированных от говорящего форм времени и наклонения[12], а также и отрицательных предложений объединяет значения не-настоящего времени, не-изъяснительных наклонений и отрицания в одну общую семантическую область[13]. В этом контексте любопытны типологические данные, свидетельствующие о языках с обязательной морфологической маркированностью ирреалисом предикатов в предложениях с отрицанием (см., например [Elliott 2000]).

Интересно, что контекст отрицательности безразличен к категории лица (одинаково употребительны субъекты 1-го и 3-го синтаксического лица): отрицаться негативный признак может и в отношении себя, и в отношении другого.

2. Членимость времени, количественность, противопоставленность разных временны́х планов – тогда и сейчас, прошлого и будущего.

В этой группе, самой многочисленной, обращает на себя внимание то, что субъектом предикации выступает в основном *Я* – в прямой речи либо в рамках повествования в форме 3-го л., передающего внутреннюю точку зрения:

Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: **был дураком**! Ведь он и меня обморочил (Ф. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (1859));

В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив, что ночью **был дураком** (Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб (1895));

Если мы вообразим в действительности жизнь человека сложенной по этой формуле, то А будет чувство собственной личности, это Я, а Б, все то достигнутое всей жизнью, будет дурак и, умирая, такой человек в лучшем случае скажет: «*я* **был дураком**» (М. Пришвин. Дневники (1928));

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. **Был дураком** и остался дураком. Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо (В. Распутин. Нежданно-негаданно (1997));

Он пожал плечами: – **Был дураком**, им, видать, и помру… (А. Кабаков. Путешествие экстраполятора (1988–1999));

Чем она мне навредила? Каким же *я* **был дураком**. Потерял таких двух баб (А. Савельев. Аркан для букмекера (2000)).

---

[12] Отрицание может менять модус высказывания – с перцептивного на ментальный (модус знания), тем самым говорящий отрицанием включает в свою ментальную сферу то, что в утвердительном высказывании принадлежит объективному миру, ср.: *На столе лежит шоколад – На столе нет шоколада*. Ср. также ссылку Е.В. Падучевой на Б. Рассела: фраза *Это белье не белое* «обязана своим появлением» тому, что «находится **перед глазами** у говорящего», и «**представлению** о том, что бельe должно быть белым» [Падучева 1974: 151].

[13] Очевидно, аналогичным образом связаны в грамматической системе русского языка родительный падеж и зона модально окрашенных глагольных значений (родительный при отрицании, родительный при интенциональных глаголах), см. также [Борщев и др. 2008].

Ср. также: Таня. *А выговор за что?* – Шаманова. ***Была разиней*** (Арбузов) – именной предикат отнесен к *Я*-субъекту, чем и обусловлен выбор творительного, создающего противопоставление планов прошедшего и настоящего (= «сейчас не разиня»).

Приведем пример из [НКРЯ] с субъектом – именем класса, не включающим *Я* говорящего:

Хорошо еще, если **он** от природы глуп или благонадежно-ограничен; тогда **он** проживет свою жизнь и на французском языке, шутя, с коротенькими идейками и с парикмахерским развитием, а умрет, совсем не заметив, что всю жизнь **был дураком** (Ф. Достоевский. Дневник писателя (1876)).

Интересно, что членимость времени и временность, отнесенность к прошлому негативного признака, в норме постоянного, часто связана именно с *Я*-субъектом, что позволяет взглянуть на себя со стороны и оценить свое поведение. Именные предложения, разграничивающие и противопоставляющие временны́е планы с помощью не только связочного прошедшего, но и творительного предикативного сравнимы с интерпретационными высказываниями «Я ошибся», «Я ошибался», которые с *Я*-субъектом возможны либо только в формах прошедшего, либо с «модальной загородкой»[14].

Обзор примеров из [НКРЯ] показывает, что при предикации к 3-му лицу обычна форма именительного (*Он был дурак*), т. е. признак интерпретируется как неизменный, при предикации к *Я* возможен как именительный, так и творительный: признак осмысляется говорящим как временный, относящийся к отдельному поступку.

3. Членимость сфер реализации *Я*-героя, количественный параметр: свойство «дурак» проявляется не везде:

Конечно, он **был дураком**, мальчишкой, но ведь в чем-то важном, когда стремился до этого важного докопаться, он дураком не был (внутренняя точка зрения Глебова; Ю. Трифонов. Дом на набережной (1976)).

Техника членимости аналогична (или является частным случаем) членимости временно́й.

4. Чужая точка зрения на *Я*:

Я понял, что *в глазах барина* я **был дураком,** но удивился, когда и Зоя, выслушав мой подробный рассказ о свидании, назвала меня тоже дураком (К. Станюкович. Оригинальная пара (1877)).

В примере представлены две точки зрения, выраженные модусными рамками: *Я*-рамка (*я понял, что…*) и *он*-рамка (*в глазах барина*), обрамляющая чужое мнение, в содержании которого и представлена точка зрения на *Я* (с которой не согласен сам *Я*-субъект). Предтекстом к примеру из [НКРЯ] является речевой контекст, в котором субъектом речи, дающим оценку, является «барин»: *Я извинился и отказался, недоумевая, как это предлагают такие большие деньги, когда никакого дела нет. Мы раскланялись, и, уходя, я ясно слышал голос барина, пославшего мне вслед «дурака».*

Несогласие говорящего с чужим мнением косвенно доказывается не только формой творительного падежа, но и лексической семантикой именных предикатов: в такой конструкции обычны оценочные *он*-предикаты, часто с негативной оценкой (*симулянт, холуй, растратчик, бездельник*).

5. ВЫБОР ПАДЕЖА В СВЯЗИ С СУБЪЕКТНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ ТЕКСТА

На выбор предикативного падежа при связке в форме прошедшего времени в рамках текста с четко обозначенной, открытой авторской позицией может оказывать влияние – наряду с грамматическим механизмом и лексической семантикой предика-

[14] Интерпретационные высказывания рассматривались в устном докладе Е.В. Падучевой в феврале 2010 г.

тивного имени – такой фактор, как расстановка субъектных ролей в рамках субъектной перспективы текста (идея, разрабатывающаяся Н.К. Онипенко), их ранжирование относительно авторской позиции (см. [Золотова и др. 1998: 229–252]). Тем самым маркер временно́й дистанции (творительный предикативный) может осмысляться как маркер дистанцированности пространственной в паре автор – герой.

Рассмотрим эти тактики на примере биографического текста[15] популярного жанра. В тексте представлены именительный и творительный предикатов собственно-характеризующих (по Н.Д. Арутюновой), констатирующая сущность которых часто дополнена оценочными атрибутами. Релевантными для выбора предикативного падежа оказались следующие характеристики:

(а) позиция предложения в композиции текста:

Творительный в интродуктивной части обнаруживает дистанцию между миром читателя и героев. Так начинается рассказ о любви Ахматовой и Модильяни:

Они были **представителями** двух богем начала XX века: она – петербургской, он – монпарнаской. Он был великим **художником**, она – великой **поэтессой**.

Именительный в сюжетной части создает эффект погруженности читателя в мир и время героев:

Поражал Модильяни современников своей эрудицией, своей богатой латинской культурой. Он был **большой поклонник философии и поэзии**.

(б) тип героя:

Предикаты, характеризующие героя в фокусе эмпатии, принимают форму именительного падежа. Такая тактика избирается при изображении главных героев в сюжетной части:

Амедео был **странный новатор-консерватор**;

В жизни Модильяни появляется молодая, красивая и эксцентричная женщина, Беатрис Хестингс. Она была **талантливая журналистка** и **поэтесса**, и у нее был немалый жизненный опыт… (далее следует рассказ о ней).

Второстепенный герой находится вне фокуса эмпатии, его признаки маркируются творительным, это «попутная» информация:

…его находит и берет под свою опеку Леопольд Зборовский. Этот поляк, влюбившийся в творчество нищего тосканца, поселил его в своей квартире и поставлял ему лучших манекенщиц для работы. Он был **маршаном (торговцем картин) Моди** и **его верным союзником** (далее следует продолжение рассказа о Модильяни).

Таким образом, противопоставленность именительного и творительного падежей по признаку совпадения / несовпадения с «точкой отсчета говорящего» по предикативным категориям модальности-времени, т. е. категориям субъективно-объективным (А.М. Пешковский), может осмысляться в определенных жанрах как приближенность/дистанцированность между субъектами в рамках субъектной перспективы (Н.К. Онипенко) – между автором и героем (категория «образа автора» по В.В. Виноградову [Виноградов 1936]).

Подведем итоги:

• лексическая семантика признаковых существительных небезразлична к семантике времени и модальности, что в условиях предикативной позиции заставляет взаимодействовать лексическую семантику имени с категориями времени, модальности, вида;

---

[15] Полный текст статьи см. на www.woman.ru/stars/medley1/article/43942/.

• в условиях именного предиката именная категория падежа способна участвовать в выражении глагольных категорий времени, вида, модальности, выбор падежа чувствителен к категории лица;

• «нулевые» категории (настоящее время, именительный падеж) обладают способностью удерживать собственное временно́е значение; при этом на него либо накладывается модифицирующее значение не-нулевой категории (при взаимодействии настоящего времени с творительным предикативным), либо оно само подавляет значение не-нулевой категории (при взаимодействии прошедшего времени с именительным предикативным побеждает семантика настоящего времени: см. именительный; именительный нарративный;

• не-нулевая категория может формировать основное временно́е значение предиката, значение нулевой категории при этом аналогично видовому (абсолютное прошлое);

• именительный и творительный предикативные обнаруживают сложное взаимодействие с глагольными категориями: по модели согласования (время – падеж, модальность – падеж), либо компенсации (падеж вместо вида), либо подавления (именительный падеж в прошедшем времени). Тем самым референциальные механизмы (членимость времени, дискретность / протяженность времени, конкретное / обобщенное время) в рамках именной модели предложения оказываются обеспеченными не только грамматическим взаимодействием именных и глагольных категорий, но и собственно именной категорией;

• есть падежи, призванные взаимодействовать с ирреальной модальностью, – это творительный предикативный, а также родительный объектный при отрицании (см. [Борщев и др. 2008]);

• выбор предикативного падежа может указывать на состав модусных субъектов (субъектов речи / мнения): индивидный (только *Я* – метафорические признаки) либо целый класс (все, и *Я* в том числе – «вечные признаки»).

Развитие механизма грамматического согласования категорий можно интерпретировать в связи с проявлением эгоцентрической техники. Представляется, что в период формирования этого грамматического механизма эгоцентрической была форма творительного, указывавшая на расхождение точки отсчета *Я* и сообщаемого факта (что можно назвать, воспользовавшись термином Г.А. Золотовой, «эксклюзивностью» говорящего). В современном языке семантическое согласование нейтрально[16], а эгоцентрическими средствами стали категориально-грамматически «рассогласованные» формы предикативного падежа. Рассогласованные формы позволяют передать разные типы отношений между субъектом речи и сообщаемым (эксклюзивность, инклюзивность, отождествление[17], оценочность). Так, творительный на фоне настоящего создает условия для оценочности – оценке подвергается количество времени существования признака (падеж как аналогия вида) либо оценка реализована в метафорическом признаке. Именительный на фоне прошедшего времени осмысляется в связи с «инклюзивностью» говорящего – в случае «вечных признаков» (в инклюзивности также выражается и оценочность признака), в связи с «эксклюзивностью» говорящего – в случае «абсолютного прошедшего». Именительный на фоне будущего и именительный на фоне прошедшего («нарративный») связаны с операцией над временем – с субъективным приближением или отождествлением двух временны́х планов – момента речи и будущего, либо двух временны́х планов и двух миров – героя и модусного субъекта (читателя).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адмони 1955 – *В.Г. Адмони.* Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955.

Арутюнова 2007 – *Н.Д. Арутюнова.* Предложение и его смысл. М., 2007.

Арутюнова, Ширяев 1983 – *Н.Д. Арутюнова, Е.Н. Ширяев.* Русское предложение. Бытийный тип (структура и значение). М., 1983.

---

[16] Поэтому понятна квалификация творительного предикативного, рассматриваемого при формах связки не-настоящего времени, как немаркированной формы в [Зельдович 2005].

[17] Отношения включения, исключения говорящего и отождествительные отношения как средства проявления эгоцентрической техники рассматриваются в [Онипенко (в печати)] на примере синтаксических нулей.

Бенвенист 2002 – *Э. Бенвенист*. Именное предложение // Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 2002.
Богородицкий 1935 – *В.А. Богородицкий*. Общий курс русской грамматики. М.; Л., 1935.
Бондарко (ред.) 1996 – *А.В. Бондарко* (ред.). Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.
Борщев и др. 2008 – *В.Б. Борщев, Е.В. Падучева, Б.Х. Парти, Я.Г. Тестелец, И.С. Янович*. Русский родительный падеж: референтность и семантические типы // Объектный генитив при отрицании в русском языке. М., 2008.
Булаховский 1954 – *Л.А. Булаховский*. Русский литературный язык первой половины XIX века: Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М., 1954.
Булыгина, Шмелев 1997 – *Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев*. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
Буслаев 1858 – *Ф.И. Буслаев*. Опыт исторической грамматики русского языка. М., 1858.
Виноградов 1936 – *В.В. Виноградов*. Стиль «Пиковой дамы» // Временник Пушкинской комиссии, 2. М.; Л., 1936.
Виноградов 1947 – *В.В. Виноградов*. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947.
Виноградов, Шведова (ред.) 1964 – *В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова* (ред.). Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе простого и осложненного предложения. М., 1964.
Востоков 1838 – *А.Х. Востоков*. Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же Сокращенной грамматики, полнее изложенная. СПб., 1838.
Вяльсова 2008 – *А.П. Вяльсова*. Типы таксисных отношений в современном русском языке (на материале причастных конструкций). Дис. ... канд. филол. наук. М., 2008.
Зельдович 2005 – *Г.М. Зельдович*. Русское предикативное имя: согласованная форма, творительный падеж // ВЯ. 2005. № 4.
Золотова 1982 – *Г.А. Золотова*. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
Золотова 2002 – *Г.А. Золотова*. Категории времени и вида с точки зрения текста // ВЯ. 2002. № 3.
Золотова 2005 – *Г.А. Золотова*. Перфектив как категория структуры текста // Язык. Личность. Текст: Сб. к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005.
Золотова и др. 1998 – *Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова*. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
Иванов 1979 – *Вяч.Вс. Иванов*. Категория определенности–неопределенности и шифтеры // Категория определенности–неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
Исаченко 2003 – *А.В. Исаченко*. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология. М., 2003.
НКРЯ – Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/.
Никольс 1985 – *Дж. Никольс*. Падежные варианты предикативных имен и их отражение в русской грамматике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
Онипенко (в печати) – *Н.К. Онипенко*. Модель субъектной перспективы и проблема классификации эгоцентрических элементов.
Падучева 1974 – *Е.В. Падучева*. О семантике синтаксиса. М., 1974.
Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996.
Пешковский 2001 – *А.М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001.
Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
Пражская грамматика 1979 – *K. Horálek* (věd. red.). Русская грамматика. Т. 2. Praha, 1979.
Ревзин 1978 – *И.И. Ревзин*. Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. 2. М., 1980.
Степанов 2007 – *Ю.С. Степанов*. Имена. Предикаты. Предложения. М., 2007.
Тимберлейк 1985 – *А. Тимберлейк*. Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
Уорф 1972 – *Б.Л. Уорф*. Грамматические категории // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
Успенский 2004 – *Б.А. Успенский*. Часть и целое в русской грамматике. М., 2004.

Чернышев 1915 – *В.И. Чернышев*. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. СПб., 1915.
Шелякин (в печати) – *М.А. Шелякин*. О функциональном различии полных и кратких форм прилагательных в позиции предиката // Грамматика и текст. М., в печати.
Щерба 2007 – *Л.В. Щерба*. О частях речи в русском языке // Л.В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 2007.
Якобсон 1985 – *Р.О. Якобсон*. К общему учению о падеже // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.
Chvany 1996 – *C.V. Chvany*. Selected essays. Columbus, 1996.
Elliott 2000 – *J.R. Elliott*. Realis and irrealis: Forms and concepts of the grammaticalisation of reality// Linguistic typology. 2000. V. 4–1.
Nichols 1981 *J. Nichols*. Predicative nominals. A partial surface grammar of Russian. Berkley, 1981.

Сведения об авторе:

Елена Николаевна Никитина
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
yelenon@mail.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. А.А. ГОРБОВ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОПИСАНИИ НОВЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Статья посвящена проблемам, связанным с необходимостью уточнения лексических значений иноязычных неологизмов, вошедших в словарный состав русского языка в последние два десятилетия. Анализируются слова, приводимые в качестве примеров, казалось бы, подтверждающих достоверность известных гипотез о «престиже» заимствованного слова как одной из причин интенсификации процесса заимствования, а также о «повышении в ранге» значения заимствуемого слова «на входе» в лексическую систему русского языка. Однако проведенный анализ не подтверждает указанные предположения и приводит к следующим выводам: 1) между значениями иноязычных неологизмов и ближайших по значению исконных слов обнаруживаются расхождения денотативного характера, не имеющие отношения к престижности самих слов или их употребления; 2) при вхождении заимствованного слова в словарный состав русского языка неологизм обычно употребляется именно в том значении, которое уже имеется у слова-прототипа в языке-источнике.

В лингвистических исследованиях, посвященных изучению состояния русского языка на рубеже XX–XXI вв., подчеркивается факт усиления иноязычного влияния на русский язык (см., например [Крысин 1995; 1996; 2002; 2008; 2010а; Костомаров 1996; Брейтер 1997; Феоклистова 1999]). В частности, отмечается, что в последние два десятилетия имеет место интенсификация процессов заимствования и анализируются ее причины. При этом приводятся многочисленные примеры неологизмов иноязычного (в первую очередь английского) происхождения и формулируются суждения об их значении в русском языке, на основе которых строятся рассуждения и выдвигаются гипотезы, ведущие к теоретическим обобщениям и выводам.

Однако какими бы верными ни казались на первый взгляд такие обобщения и выводы, они, как представляется, требуют обязательной верификации посредством анализа языкового материала. В частности, в отношении иноязычных заимствований вопросы вызывают в первую очередь толкования значений (или суждения о значениях) заимствуемых лексических единиц как в языке-реципиенте, так и в языке-источнике. Точность определения значений иноязычных неологизмов и их этимонов не только имеет собственно лексикографическую ценность, но и важна при формулировке выводов о причинах заимствования и наличии или отсутствии изменения значения слов «на входе» в заимствующий язык.

В данной статье вопросы, связанные с толкованием лексических значений новейших заимствований, рассматриваются в связи с гипотезами о факторе «престижа» заимствованного слова как одной из причин интенсификации процесса заимствования и о так называемом «повышении в ранге» значения слова в заимствующем языке (см., например [Крысин 1996: 147–153; 2002: 28–29; 2008: 171–172]). В качестве материала для анализа используются иноязычные неологизмы, приводимые в соответствующем разделе монографии [Крысин 2008] для подтверждения формулируемых положений.

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ «Школа общего языкознания Ю.С. Маслова» НШ-3668.2010.6.

«ПРЕСТИЖ» ЗАИМСТВОВАННОГО СЛОВА КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ

Одной из причин массового заимствования русским языком иноязычных лексических единиц считается тот факт, что «носители языка считают иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом родного языка: *презентация* выглядит более респектабельно, чем привычное русское *представление*, *эксклюзивный* – лучше, чем *исключительный*, *топ-модели* – шикарнее, чем *лучшие модели*»[Крысин 2008: 171]. С другой стороны, Л.П. Крысин указывает, что «здесь намечается некоторое (разрядка моя. – *А.Г.*) смысловое размежевание "своего" и "чужого" слов: *презентация* – это торжественное представление фильма, книги и т.п.; *эксклюзивным* чаще всего бывает интервью или право на что-либо, хотя наблюдается и расширение лексической сочетаемости подобных слов» [Там же].

В связи с высказанными соображениями возникает два вопроса. Во-первых, не до конца ясно, к чему именно в данном случае должно применяться понятие престижа – к языковому значению слов (к какому-либо элементу их концептуального значения или к коннотациям) или к факту их употребления говорящим. Иными словами, имеется ли здесь в виду, что *презентация* как мероприятие более престижна, чем (торжественное) *представление*, или употребление говорящим слова *презентация* вместо слова *представление* каким-либо образом способствует повышению авторитета говорящего в глазах слушающего? Во-вторых, встает вопрос об оценке степени и характера семантической дифференциации между иноязычными неологизмами и близкими по значению исконными или ранее заимствованными лексическими единицами. Для ответа на оба вопроса необходимо прежде всего точное толкование значений новейших заимствований, что предполагает изучение их функционирования в речи.

Ниже предпринимается попытка уточнить лексические значения некоторых иноязычных неологизмов. Для этой цели дефиниции значений анализируемых слов, приведенные в словарях, соотносятся со значениями, в которых они употребляются в высказываниях, зафиксированных в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ] и найденных в сети Интернет при помощи поисковых систем yandex и google.

1. Презентация

Поскольку данное слово зафиксировано уже в словаре [Ушаков 1939], может возникнуть сомнение в том, что оно является неологизмом. Однако в соответствующей статье этого словаря представлено лишь одно узкоспециальное значение «предъявление, представление ко взысканию» [Ушаков 1939: 733], вряд ли известное носителям русского языка, не знакомым с финансовой терминологией. В этимологической справке в качестве источника заимствования указан латинский язык (слово-прототип – *praesentatio*). Из 1203 случаев употребления слова *презентация*, найденных в основном корпусе НКРЯ, не обнаружено ни одного, где было бы реализовано данное значение. Однако общее число вхождений данного слова несомненно свидетельствует о том, что оно широко употребляется в современном русском языке последних десятилетий (примеры, имеющиеся в НКРЯ, относятся к периоду с 1999 по 2007 г.).

В словаре под редакцией Г.Н. Скляревской представлены два значения существительного *презентация*: (1) «большой официальный прием (иногда с угощением), устраиваемый фирмой, организацией, предприятием и т.п. с целью рекламы, для ознакомления со своей деятельностью» и (2) «торжественное публичное представление, демонстрация чего-л. (иногда сопровождаемое приемом с угощением)» [Скляревская 2008: 784]. Однако контексты употребления данного слова (в первом значении) свидетельствуют о том, что *презентация* не обязательно должна быть большой:

(1) В Риге мы подписали соглашение с латвийским общенациональным каналом, являющимся аналогом российского первого канала. Кстати, здесь же состоялась **небольшая презентация**

Единой Лиги ВТБ, и меня очень порадовало то позитивное отношение к соревнованию, которое наблюдается у наших латвийских партнеров[1];

(2) Мы поможем организовать и спланировать мероприятие, обеспечить технической составляющей и провести работу с целевой аудиторией. Будь то **маленькая презентация** в стенах университета, либо презентация нового сингла в концертном зале[2].

В обязательной торжественности презентации (во 2-м значении) как «публичного представления, демонстрации чего-л.» заставляет усомниться даже текстовый пример, иллюстрирующий это значение в словаре:

(3) Книжки в Интернет покупать? А зачем? Ведь в магазине обычном – в разы интереснее потолкаться. Странички пожелтевшие полистать. Народу умного послушать. Иртеньева за руку подержать на **презентации** его новой книжки. Модус, 2000, № 20 [Скляревская 2008: 784].

Ср. также следующий контекст, где вряд ли уместно без иронии говорить о «торжественности» представления, хотя речь, безусловно, идет об официальном мероприятии:

(4) Совместная **презентация** подготовленного ООН Всемирного доклада по наркотикам будет проведена А.М. Костой 25 июня, в канун отмечаемого по призыву ООН Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (Ответы официального представителя МИД России на вопросы российских СМИ в связи с заседанием «круглого стола» по проблеме незаконного транзита афганских наркотиков через территорию России и презентацией Всемирного доклада по наркотикам (2004) // «Дипломатический вестник») [НКРЯ].

Кроме того, слово *презентация* нормально сочетается с прилагательным *торжественная*, что косвенно подтверждает предположение о как минимум факультативном характере элемента торжественности в значении самого рассматриваемого слова:

(5) Отборочная команда постаралась вовсю: российские премьеры фильмов «Взгляд Улисса» Тео Ангелопулоса и «Свидания в Париже» Эрика Ромера, **торжественная презентация** «Над облаками» Микеланджело Антониони, чествования Джины Лоллобриджиды, Барбары Брыльской и любимицы «Кинотавра» Сильвии Кристель (С. Добротворский. Новый кинофестиваль в Москве (1996) // «Коммерсантъ-Daily») [НКРЯ].

При этом следует отметить, что приведенные в словаре два значения слова весьма близки друг другу. По существу, эти значения можно объединить в одно: «публичное мероприятие (иногда сопровождаемое приемом), устраиваемое для ознакомления общественности или заинтересованных лиц с чем-л. недавно созданным и/или для представления / демонстрации / рекламы чего-л. нового».

В сети Интернет и в НКРЯ имеются также многочисленные примеры употребления слова *презентация* в значениях, не зафиксированных в словаре [Скляревская 2008], однако также достаточно характерных для узуса последних десятилетий. В частности, в примерах 6 и 7 реализуется значение «деятельность, направленная на представление публике чего-л., показ чего-л. в выгодном свете – товаров (особенно новых), результатов проделанной работы, достижений и т.п.», в примере 8 – «мультимедийный информационный продукт, позволяющий сообщить необходимые сведения о чем-л. в удобной для получателя форме», в примере 9 – «устное информационное сообщение (иногда с применением мультимедийных средств)», ср.:

(6) Необходимы адресация и **презентация** сделанного, его «публикация», а их эффекты не предопределены (Б. Эльконин. Действие как единица развития (2004) // «Вопросы психологии») [НКРЯ];

(7) Новое предложение для российского рынка – изолированные стеклянные двери и фронты – камера и витрина одновременно: хранение товарного запаса, **презентация товаров**, пополнение выкладки без выхода в торговый зал (Международная выставка в новом центре «Крокус Экспо» (2004) // «Мясная индустрия») [НКРЯ];

---

[1] http://www.vtb-league.com/ru/news/177/default.aspx

[2] http://www.muumi.ru/presentations

(8) Хорошим вариантом коммерческого ролика, промотирующего конкретную услугу, место или продукт, может быть ролик-**презентация** (например, ролик «РОСНО», где персонаж в сопровождении картинок и цифр рассказывает о преимуществах ОСАГО) (В. Ляпоров. Маркетинг: правильная работа (2004) // «Бизнес-журнал») [НКРЯ];

(9) В ходе заседания Анатолий Чубайс выступил с **презентацией**, в которой дал оценку текущего состояния и той роли, которую крупный бизнес играет в инновационной экономике[3].

Легко видеть, что слово *презентация* в действительности обладает гораздо более широким спектром значений, чем можно судить по словарю. Дефиниция «публичное представление чего-н. вновь созданного (фильма, печатного издания, предприятия и т. п.)», представленная в словаре [Крысин 2010б][4], охватывает лишь часть, хотя и весьма значительную, этого спектра: слово *презентация* далеко не во всех случаях синонимично слову *представление*, а тем более (вопреки упомянутому выше предположению Л.П. Крысина о направлении возможного смыслового размежевания этих двух слов) словосочетанию *торжественное представление*.

По-видимому, в данном случае мы имеем дело с так называемым вторичным заимствованием (об этом понятии см., например [Крысин 2008: 175–176]): в конце XX века слово *презентация* вошло в состав общеупотребительной лексики современного русского языка в результате заимствования из английского языка слова *presentation* в следующих значениях: «an event at which you describe or explain a new product or idea» [Longman] – «событие / мероприятие, в ходе которого кто-либо описывает новое изделие, произведение или разъясняет новые идеи»[5]; «a speech or talk in which a new product, idea, or piece of work is shown and explained to an audience» [Oxford] – «доклад или сообщение, в котором аудитории представляют новое изделие, произведение, идею или результат выполненной работы, и дают разъяснения»; «a talk giving information about something» [Cambridge] – «сообщение, содержащее информацию о чем-либо» (здесь и далее переводы мои. – *А.Г.*). Кроме того, также под влиянием английского языка (*multimedia presentation*) слово *презентация* стало употребляться в значении «мультимедийный продукт, сопровождающий либо заменяющий устное сообщение и позволяющий передать информацию получателю в наиболее удобной для восприятия форме».

Не случаен тот факт, что вторичное заимствование слова *презентация* происходит в тот период, когда публичные выступления с целью привлечения внимания целевых аудиторий к той или иной деятельности, повышения популярности той или иной идеи, рекламы новых товаров и услуг и т. п. становятся одним из важных видов дискурса. В «дорыночный» период подобный вид речевой деятельности столь широко не практиковался. Характерно, что и сегодня те виды публичных выступлений, которые были достаточно широко распространены до 90-х годов XX века, презентациями не называются. Например, выступление на научной конференции – это *доклад* или *сообщение*; под *презентацией* в такой ситуации подразумевается не само устное выступление, а созданный при помощи специального приложения (например, MS PowerPoint) компьютерный файл с сопровождающими доклад материалами, предназначенными для показа при помощи проектора.

---

[3] http://www.chubais.ru/news/view/5246/

[4] Данное значение приведено вторым (и последним) после узкоспециального значения «предъявление переводного векселя лицу, обязанному оплатить его (*трассату*)» (см. [Крысин 2010б: 619]).

[5] При этом следует отметить, что слово *представление*, в отличие от слова *презентация*, в русском языке вряд ли может означать какое-либо *м е р о п р и я т и е* (кроме, разве что, театрального спектакля); оно означает лишь деятельность, которая является основным содержанием *презентации*, ср.: *Презентация проводилась с целью продвижения на рынок высокопрочного крепежа (ВПК), соответствующего недавно введенному ГОСТ Р 52643-2006…* (http://www.metaldaily.ru/news/news22067.html) при невозможности **Представление проводилось с целью продвижения на рынок высокопрочного крепежа.*

Таким образом, словом *презентация* обозначается относительно новый, однако получивший в последние годы широкое распространение вид коммуникации, существенными характеристиками которого, помимо информационно-ознакомительного характера, являются публичный характер и направленность на облегчение восприятия аудиторией передаваемой информации, а также (чаще всего) показ объекта сообщения и/или лица, выступающего с сообщением, в выгодном свете.

Из сказанного выше следует, что слово *презентация* в современном русском языке обладает своим собственным концептуальным ядром лексического значения и своей сферой употребления, которые не совпадают со значением и сферой употребления близких по значению слов *представление*, *доклад*, *сообщение*. В связи с этим вторичное заимствование этого (латинского по происхождению) слова из английского языка представляется для русского языка совершенно естественным и оправданным, в то время как предположение о «большем социальном престиже» иноязычного слова как о причине выбора для обозначения соответствующего денотата заимствованной, а не исконной лексической единицы вызывает сомнения. Причиной создающегося здесь впечатления «престижа» слова или факта его употребления говорящим может быть реальный социальный престиж денотата этого слова – явления, связанного с западной цивилизацией и системой ценностей.

2. Топ-модель

К аналогичным выводам приводит и сопоставление композита *топ-модель* со словосочетанием *лучшая модель*. Определительный компонент *топ-* заимствован из английского языка, в котором соответствующая именная основа *top* (от существительного методом конверсии образуется соответствующее прилагательное) имеет исходное значение ‘верх’ и целый ряд выводимых значений, образованных в результате метафорических переносов. Среди значений прилагательного *top* имеется и значение ‘лучший’, однако качество в этом случае оценивается не непосредственно, а с точки зрения успешности, положения в рейтинге, либо с точки зрения места в иерархии, принятой в обществе и задающей его ориентацию на соответствующие образцы. Именно в этом значении основа *топ-* употребляется в русском языке в качестве атрибутивного компонента именных композитов, а также в прилагательном *топовый*.

Таким образом, *топ-* обозначает ‘занимающий высшее (или одно из самых высоких) положение в каком-либо рейтинге либо в иной социально релевантной иерархии и потому престижный и дорогой или высокооплачиваемый’. *Топ-менеджер* – это не обязательно лучший руководитель, но обязательно высокооплачиваемый и высокопоставленный руководящий сотрудник крупной организации, *топ-модель* автомобиля – это модель в самой дорогой, но не обязательно в лучшей по соотношению цены и потребительских качеств комплектации, *топ-модель* в индустрии моды – это самая высокооплачиваемая и престижная модель (или одна из самых высокооплачиваемых и престижных моделей), внешность которой служит образцом для многих женщин, причем конкретные характеристики этого образца изменяются во времени, ср.:

(10) В 1960-е годы модный бизнес преподнес публике совершенно новый тип женщины. Таких еще не было: Твигги – 17-летняя девочка из Лондона, бесконечно длинная, с ногами аистенка, первая из **топ-моделей**, которой подражало целое поколение юных девушек (Е. Голованова. Я опять во сне летал... (2002) // «Домовой») [НКРЯ].

При этом интересно также отметить, что прилагательное *лучший* в сочетании с существительными в форме единственного числа тяготеет к выражению суперлативного качественного значения, тогда как значение компонента *топ-* в составе именного композита выражает либо безотносительно высокую степень качества (и в этом случае компонент *топ-* синонимичен прилагательному *топовый*), либо вообще приближается по значению к относительным прилагательным, сужая и уточняя значение вершинного существительного.

Так, *лучшая модель* является безусловно самой хорошей, тогда как *топ-модель* автомобиля или компьютера – возможно, лишь одна из самых дорогих и престижных (компонент *топ-* имеет здесь значение, близкое значению прилагательного *топовый*), ср:

(11) ASRock P55 Deluxe3 – **топ-модель** для процессоров Intel LGA 1156[6];

(12) Теперь **топовая модель** MacBook Pro 15" в стандартной конфигурации может похвастаться процессором Intel Core Duo с тактовой частотой 2.66 ГГц, что немного больше, чем в предыдущей модели (2.53 ГГц). Однако если вы хотите использовать всю мощь своего MacBook Pro по максимуму, за дополнительные 300 долларов вы можете заказать собственную конфигурацию ноутбука с процессором Intel Core Duo 2.93 ГГц[7].

Что же касается композитов *топ-модель* (профессия в индустрии моды) и *топ-менеджер*, то в этих случаях компонент *топ-* выражает уже скорее не качество, а классифицирующий признак и не может быть заменен прилагательным *топовый*. *Топ-модель* (супермодель) – это, согласно статье Википедии[8], модель, сотрудничающая «с крупными компаниями, контракты с которыми превышают миллион долларов». *Топ-менеджером* может быть назван только член высшего руководства (например, правления или совета директоров) крупной компании: в этом его отличие как от менеджера среднего звена, так и от директора малого предприятия. Препозитивный компонент *топ-* в рассматриваемых композитах по типу выражаемого значения приближается к классифицирующим прилагательным в составных названиях должностей и званий типа *старший преподаватель* или *заслуженный артист*. Отличие заключается лишь в несколько меньшей четкости и определенности значения атрибутивного элемента *топ-*, что объясняется, по-видимому, неофициальным характером статуса *топ-модели* или *топ-менеджера*, и, следовательно, отсутствием однозначных критериев его определения.

Приведенные соображения подтверждают, как представляется, предположение о том, что основа *топ-*, заимствованная из английского языка, обладает, как и слово *презентация*, своим собственным лексическим значением, отличным от значений слов, имевшихся в русском языке до времени заимствования. Факт заимствования объясняется здесь не большей престижностью самого иноязычного слова, а релевантностью для современной жизни комплекса признаков статуса, включающего в себя, прежде всего, положение в рейтинге и оценку в денежном выражении, что влечет за собой потребность в наименовании всего этого комплекса одной лексической единицей (в данном случае, по-видимому, мы имеем дело с основой, способной выступать в качестве атрибутивного компонента именного композита, образованного методом синтаксического основосложения).

3. Эксклюзивный

Анализ значения прилагательного *эксклюзивный* в русском языке также подтверждает предположение о том, что иноязычные неологизмы не являются всего лишь более престижными эквивалентами исконных и ранее заимствованных слов.

Значения слов *эксклюзивный* и *исключительный* в современном языке не совпадают не только в части коннотаций, но и в части собственно концептуального ядра.

---

[6] http://www.gigamark.com/content/view/5105/2/

[7] http://www.imtime.ru/publication?id=8720

[8] См. http://ru.wikipedia.org/

Заглавным словом статьи является слово *супермодель*; композит *топ-модель* дан в скобках как абсолютный синоним. По некоторым наблюдениям, однако, композит с препозитивным элементом *топ-* характеризуется более высокой частотностью употребления: в НКРЯ соотношение количества вхождений слова *топ-модель* в два раза превышает количество вхождений *супермодель* (102 и 51 соответственно); примерно такое же соотношение демонстрируют результаты поиска в системе yandex.

Так, только прилагательное *исключительный* употребляется в значении 'представляющий собой исключение из общих правил, обычных норм' [МАС] (например, в сочетании *исключительный случай*), а также в значении 'особенный, необыкновенный, редкий' при характеристике степени проявления какого-либо качества или признака (*исключительная функциональность*, *исключительная долговечность*) даже в рекламе дорогих, престижных и, возможно, «*эксклюзивных*» товаров:

(13) **Исключительная** контрастность, захватывающее качество изображения. Технология LED Pro использует отдельно управляемые светодиоды для точной настройки необходимого уровня подсветки. Насыщенные черные и чистые белые детали – **исключительный** уровень контрастности и четкости плюс низкое энергопотребление[9].

С другой стороны, существуют контексты, в которых нельзя заменить слово *эксклюзивный* словом *исключительный*. Такая замена невозможна, помимо таких сочетаний, как *эксклюзивное интервью* и *эксклюзивный дистрибьютор*, во всех случаях, где данное прилагательное употребляется в значении, соответствующем одному из значений английского прилагательного *exclusive* – «catering for or available to only a few, select customers; high class and expensive» («предназначенный для немногих избранных клиентов, или доступный только таким клиентам; высококлассный и дорогой») [Oxford], ср.:

(14) Кроме **эксклюзивного** постельного белья марок Yves Delorme, Pierre Frey, Kenzo, в отделе «Текстиль для дома» представлена новая для Москвы марка швейцарского белья Schlossberg и Billerbeck (одеяла и подушки на гагачьем пуху) (Бижутерия для дома (2004) // «Мир & Дом. City») [НКРЯ];

(15) Мануфактура «Silvano Lattanzi» является лучшим итальянским производителем и признанным мировым лидером по пошиву эксклюзивной обуви класса люкс по индивидуальным меркам[10].

В словарях современного русского языка даются следующие толкования прилагательного *эксклюзивный*: «исключительный, составляющий исключительную принадлежность» [Крысин 2010б: 907]; «предоставленный только одному лицу или организации, не имеющий повторения» и «исключительный, крайне редкий, единственный в своем роде; самый лучший, предпочтительный» [Скляревская 2008: 1090]. Интересно отметить, что последнее из приведенных значений в словаре под редакцией Г.Н. Скляревской иллюстрируется цитатой из романа Б. Акунина «Алтын-толобас»: *Сразу было видно, что клуб был в высшей степени эксклюзивный, и абы кого сюда не пустят*; однако в данном случае речь, безусловно, идет не о редкости, единственности или предпочтительности клуба, а о том, что этот клуб является заведением особо высокого класса и его членами могут быть только очень состоятельные люди, принадлежащие к элите общества.

При этом рассматриваемое значение у прилагательного *исключительный* полностью отсутствует. Следовательно, между значениями слов *эксклюзивный* и *исключительный* выявляются расхождения денотативного характера, не имеющие отношения к большей или меньшей престижности употребления того или иного из этих слов.

Таким образом, «престижность» иноязычных неологизмов как языковых единиц не представляет собой причину заимствования, а является вторичным эффектом, который создается, как отмечалось выше, престижностью денотата, связанного с новыми для носителей русского языка ценностными ориентирами[11]. Выбор русским языком заимст-

---

[9] http://www.europe-tv.ru/article/?body=philips_led_ver1

[10] http://www.silvanolattanzi.su/sl.htm

[11] Впрочем, признак «престижности» иногда переносится собственно на слово с его денотата, что приводит к употреблению слова для создания эффекта положительной оценки в определенных речевых жанрах и типах текстов, где особое значение имеет фактор моды. Данное явление в отношении прилагательного *эксклюзивный* описано, в частности, М.А. Кронгаузом [Кронгауз 2008: 27–32]. Тем не менее, мода на слово проходит, и частотность его употребления в рекламе и глянцевых журналах снижается, однако слово остается в словарном составе языка и продолжает употребляться в соответствии с его денотативным значением.

вования как пути пополнения словарного запаса представляется в данном случае совершенно естественным, поскольку источником заимствования является язык тех культур, в которых эти ценностные ориентиры доминируют, и в этом языке уже имеются однословные наименования для соответствующих денотатов.

«ПОВЫШЕНИЕ В РАНГЕ»: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В связи с соображениями о большем социальном престиже иноязычных слов по сравнению с исконными в исследованиях, посвященных проблемам новейших заимствований, выдвигается гипотеза о так называемом «повышении в ранге», которое Л.П. Крысин определяет следующим образом: «слово, которое в языке-источнике именует обычный, «рядовой» объект, в заимствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному» [Крысин 2008: 171]. Однако предлагаемая Л.П. Крысиным трактовка примеров, приводимых им в подтверждение наличия данного явления в русском языке, вызывает серьезные возражения.

Представляется, что для установления факта «повышения в ранге» в каждом случае необходимо сопоставление лексических значений иноязычного слова в русском языке и прототипа этого слова в языке-источнике. При этом следует учитывать, что лексическая единица иностранного языка может быть полисемичной и заимствоваться языком-реципиентом лишь в части либо в одном из имеющихся значений.

Представляется логичным предположение, что обычно иноязычное слово «входит» в заимствующий язык в том значении, в котором оно употреблялось в языке-источнике; для изменения значения слова и приобретения им новых значений в заимствующем языке обычно требуется более или менее длительное время.

В связи с этим гипотеза о «повышении в ранге», как и о любом изменении значения слова уже «на входе» в лексическую систему, требует тщательной проверки.

Рассмотрим слова *бутик*, *хоспис* и *шоп*, которые приводятся в качестве примеров, иллюстрирующих «повышение в ранге». Наличие данного явления применительно к слову *бутик* аргументируется следующим образом: «...во французском языке слово *boutique* значит ‘лавочка, небольшой магазин’, а будучи заимствовано (возможно, через посредство английского) нашими модельерами и коммерсантами, оно приобретает значение ‘магазин модной одежды’» [Крысин 2008: 171–172]. С такой аргументацией, однако, трудно согласиться. Во-первых, требует уточнения толкование лексического значения слова *бутик*. Это слово обозначает не «магазин модной одежды», а, скорее, ‘небольшой узкоспециализированный магазин с ограниченным кругом состоятельных клиентов, предлагающий изделия одной или нескольких дорогих и престижных торговых марок’. В *бутиках* может продаваться как одежда, так и аксессуары или ювелирные изделия известных дизайнеров; кроме того, имеются гастрономические и винные *бутики*. Таким образом, необходимыми чертами *бутика* являются, помимо небольшого размера заведения, специализированный характер ассортимента, престижность торговых марок, высокая цена предлагаемых товаров и, следовательно, высокий уровень материального достатка клиентов, ср.:

(16) Уже не первый год на ежегодных московских ярмарках-выставках Ambiente Rossija он (дизайнер К. Лопатинский. – *А.Г.*) оформляет мультибрендовые стенды для компании Louvre, представляющей в своих **бутиках** знаменитые марки класса люкс, такие как Cristal Saint-Louis, Christofle, Lalique, Cartier, Dunhill, Montblanc и др. (Парящие сады над старым Арбатом (2004) // «Мир & Дом. City») [НКРЯ];

(17) Для самого важного дня в их жизни он уже давно купил в **бутике**, где продаются только элитные сорта чая, небольшую коробку особенного – редкого и дорогущего – серебряного чая (М. Каминарская. Чай кофе шоколад (2002) // «Домовой») [НКРЯ];

(18) Развитие розничного бизнеса в банковской сфере может идти по схеме «супермаркета» (мелкие вкладчики) или «**бутика**» (VIP-клиенты) (А. Каледина. Важный клиент. Российские банки отрабатывают технологии по обслуживанию VIP-персон (2002) // «Известия») [НКРЯ].

Действительно, в обществе, среди ценностных ориентиров которого не последнюю роль играют материальный достаток и качество потребляемых продуктов, денотат слова *бутик* неизбежно ассоциируется с высоким уровнем престижа. Однако сам по себе этот факт еще не является доказательством «повышения в ранге» при заимствовании, поскольку необходимым условием такого повышения является более низкий «ранг» денотата слова-прототипа в языке-источнике на момент заимствования.

В отношении слова *бутик* трудно с полной определенностью сказать, заимствовано ли оно напрямую из французского языка или через посредство английского (хотя последнее более вероятно), но в обоих этих языках слово *boutique*, по-видимому, представлено в значении, идентичном описанному выше значению соответствующей лексемы в русском языке.

Так, в английском языке, согласно данным Оксфордского словаря, имеются следующие значения слова *boutique*: «a small shop selling fashionable clothes or accessories» «небольшой магазин, торгующий модной одеждой или аксессуарами» и «a business serving a sophisticated or specialized clientele» «фирма, специализирующаяся на обслуживании клиентов с утонченным вкусом или особо высокими требованиями в определенной области» [Oxford].

Во французском языке, из которого данное слово было заимствовано в английский язык, слово *boutique*, восходящее, как и русское *аптека*[12], к *греч. apothēkē* 'склад', имеет длительную историю существования и является многозначным. На сайте Национального центра текстовых и лексических ресурсов (Centre national de ressources textuelles et lexicales) основное значение данного слова определяется следующим образом: «Local commercial de dimension modeste» – «торговое заведение небольшого размера». Однако в той же статье приводится и такой частный вариант этого значения: «Magasin élégant vendant des articles de confection portant la griffe de créateurs, grands couturiers, etc.» – «модный магазин, торгующий одеждой с фирменной символикой известных дизайнеров и модельеров»[13]. Здесь же делается следующее примечание: «Le mot *boutique* a longtemps eu une valeur dépréciative; de plus en plus s'y attache une idée de bon goût, d'élégance, d'originalité dans la création tant pour ce qui est du commerce que de l'artisanat» – «слово *boutique* долгое время имело уничижительный оттенок значения, однако в последнее время оно все больше ассоциируется с хорошим вкусом, элегантностью, оригинальностью замысла и исполнения как в применении к данной области коммерческой деятельности, так и к занятым в ней людям» [CNRTL].

Таким образом, сопоставление значений слова *бутик* в русском языке и слова *boutique* в английском и французском языках достаточно убедительно опровергает предположение о «повышении в ранге» при заимствовании данного слова русским языком. По-видимому, явление, которое можно было бы обозначить предложенным термином, – образование более узкого значения со сменой коннотаций и соотнесением слова с «престижным» денотатом – имело место в процессе развития значения слова *boutique* во французском языке.

«Повышения в ранге» не наблюдается также в семантике слова *хоспис*, заимствованного из английского языка.

Согласно толкованиям, представленным в словарях современного английского языка, словом *hospice* обозначается не просто «приют, богадельня» [Крысин 2008: 172], а «(специальная) больница для умирающих (особенно от рака)», ср. «a special hospital for people who are dying» [Longman], «a hospital for people who are dying, especially from

---

[12] В русский язык слово *аптека* пришло, по-видимому, в XVI в. из немецкого языка (возможно, через посредство польского), где слово *Apotheke* уже имело соответствующее значение (см., например [Фасмер 1996: 82]).

[13] Однако такой магазин не обязательно должен торговать одеждой, о чем свидетельствует другое толкование: «Magasin où un grand couturier vend sous sa griffe des accessoires ou des articles de confection» (thefreedictionary.com) «магазин, где продаются аксессуары или одежда под торговой маркой известного дизайнера или модельера».

cancer» [Cambridge] или «дом-интернат, обеспечивающий уход за пациентами с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями» («a home providing care for the sick or terminally ill» [Oxford])[14]. В русском языке слово *хоспис* употребляется и зафиксировано в словарях в том же самом значении[15]. При этом предположение Л.П. Крысина о том, что слово *хоспис* в русском языке обязательно обозначает «дорогостоящую больницу ... с максимумом комфорта, облегчающего процесс умирания» (разрядка моя. – *А.Г.*) не подтверждается: в НКРЯ не обнаружилось ни одного случая употребления данного слова в контекстах, указывающих на платный характер услуг и высокую стоимость пребывания больных, однако имеются контексты, косвенно свидетельствующие об обратном. В частности, в приведенных ниже примерах речь идет о финансировании хосписов за счет благотворительных пожертвований и привлечении для работы молодых людей, проходящих альтернативную службу по призыву вместо службы в вооруженных силах, что вряд ли возможно в дорогих коммерческих клиниках, приносящих прибыль за счет платы, взимаемой с пациентов или их родственников, ср.:

(19) У богатого человека есть возможность вложить свои деньги в то дело, которое он считает благородным. Это может быть финансирование **хосписов** или университетских программ, а может быть и финансовая поддержка разработки нового законодательства по благотворительности (С. Шаповал. Нет оснований сравнивать нашу экономику с фашистской (2003) // «Независимая газета») [НКРЯ];

(20) Альтернативная служба ⟨...⟩ обязательно должна существовать и продолжаться должна столько же, сколько служба в армии – 2 года. Было бы лучше всего, если бы людей отправляли работать в дома престарелых, в больницы, в **хосписы** – ухаживать за больными и инвалидами (А. Садчиков. Альтернативный призыв. Скоро можно будет служить не только в армии (2002) // «Известия») [НКРЯ].

Еще менее подходящим для иллюстрации «повышения в ранге» представляется слово *шоп*, о котором Л.П. Крысин пишет: «В русском языке название *шоп* приложимо не ко всякому магазину, а лишь к такому, который торгует престижными товарами, преимущественно западного производства (обычный продмаг никто *шопом* не назовет)» [Крысин 2008: 172]. Однако, по данным НКРЯ, слово *шоп* как автономная единица употребляется в русском языке редко: в подавляющем большинстве случаев употребления данной основы (119 из 150, т.е. 79,3 %) оно представляет собой компонент весьма частотных композитов типа *секс-шоп*, *интим-шоп*, *шоп-тур* и *шоп-турист*[16], где используется в значениях, точно соответствующих значениям этой основы, представленным в языке-источнике. В тех же случаях, когда имеет место употребление слова *шоп* в качестве полностью автономного нарицательного существительного (31 из 150, или 20,7 %; следует отметить, что поиск в сети Интернет не дает ни одного такого примера на 100 первых найденных сайтов), данное слово употребляется почти исключительно в пейоративных и иронических контекстах:

(21) Прилавки густо завалены восточным кичем, дорогого стоящим у духовных людей в Москве, на самом же деле, бешеной дешевкой, закупленной оптом в китайском **шопе** «OneDollar» в Веддинге, грязноватом эмигрантском районе Берлина возле Стены (В. Баранов. От мертвого осла уши (2003) // «Лебедь») [НКРЯ];

---

[14] Значение «приют для путешественников, особенно существующий при монашеском ордене» («a lodging for travellers, especially one run by a religious order») также зафиксировано в Оксфордском словаре, однако дано с пометой «archaic» (устаревшее).

[15] В современных словарях русского языка представлены следующие толкования значения слова *хоспис*: «специальная *клиника* (в первом значении), для безнадежных больных, где создаются все условия для облегчения страданий человека» [Крысин 2010б: 862]; «больница для онкологических больных в последней стадии заболевания, где создаются условия для облегчения их страданий» [Скляревская 2008: 1053]; «специализированная больница-интернат для неизлечимых больных, находящихся в терминальной стадии болезни» [Шагалова 2010: 865].

[16] Подробнее о подобных композитах и причинах их широкого распространения в последние десятилетия см. [Горбов 2010].

(22) Ведь если пенсионер, получающий в пересчете 20 долларов в месяц, приходит туда и видит, что простая шоколадка стоит 2 доллара, то он и должен понимать, что он не в магазине, он – в **шопе**! (А. Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания (1991–2000)) [НКРЯ];

(23) Если кругом пальба и воровство – норма, и безнравственно – не воровать и даже не подворовывать, если у всех чешутся руки: огреть бы! Осадить! Ошкурить! Если охлократический мотив повсюду: и в шоу, и в **шопе**, и… , если толпотворение набирает центробежную энергетику и все виды грабежа, разбоя, мошенничества принимают форму закона или депутатской болтовни, то наступает иная крайность, имя которой – беспредел (Ю. Азаров. Подозреваемый (2002)) [НКРЯ].

Анализ имеющегося материала показывает, что слово *шоп* как самостоятельное существительное (т.е. не в составе композитов) употребляется в русских текстах для обозначения магазина в следующих случаях: а) для обозначения собственно зарубежных реалий, причем наиболее характерно употребление данного слова именно в отношении небольших и не самых респектабельных торговых точек (см. пример 21); б) когда требуется подчеркнуть принадлежность (или претензии на принадлежность) заведения к «западной» цивилизации в противопоставлении отечественным реалиям, существовавшим до экономических потрясений (примеры 22 и 23; такое употребление чаще всего встречается в публицистике 1990-х – начала 2000-х гг.). Представляется, что по типу употребления данное слово сходно с так называемыми экзотизмами (как, например, *фазенда* в предложении *В воскресенье поеду на свою фазенду*) или иноязычными обращениями типа *мистер*, *мадемуазель*, *мадам* (ср. *мадам Грицацуева*), которые, как известно, также часто употребляются в иронических контекстах. Таким образом, слово *шоп* существует в русском языке на особых правах (характерно его отсутствие в словарях, и в частности, в [Скляревская 2008], при наличии в этом словаре композита *секс-шоп*), и говорить о повышении или понижении в ранге значения этого слова можно в той же мере, что и о повышении или понижении в ранге значений слов типа *фазенда*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понимание причин усиления иноязычного влияния на русский язык и интенсификации процессов заимствования предполагает наличие точных толкований лексических значений иноязычных неологизмов и их соотнесение со значениями соответствующих слов, представленными в языке-источнике на момент заимствования.

Недостаточно четкое понимание отличий денотативных значений новых заимствованных слов от значений близких по смыслу исконных и ранее заимствованных лексических единиц приводит, как кажется, к преувеличению роли социально-психологических причин заимствования русским языком иноязычной лексики и признанию иноязычных неологизмов «престижными» дублетами исконно русских слов.

Однако сопоставление значений новых заимствованных слов, иллюстрирующих указанное положение, и значений их исконно русских синонимов выявляет различия прежде всего денотативного характера. Впечатление «престижности» иноязычных заимствований в таких случаях вторично и создается, по-видимому, престижностью самого денотата. Причиной же заимствования является не престиж иноязычного слова, а отсутствие в русском языке однословных наименований для социально релевантных объектов и явлений при наличии таких наименований в языке-источнике заимствования.

Проведение анализа лексических значений иноязычных прототипов заимствуемых слов на момент заимствования весьма важно, поскольку игнорирование развития значения слова в языке-источнике приводит к предположению о семантической трансформации в момент включения заимствованного неологизма в лексическую систему русского языка. Такое явление, однако, представляется крайне маловероятным, в особенности в эпоху «сознательного» владения иностранными языками, когда заимствование инициируется людьми, достаточно четко осознающими значение, в котором слово реально употребляется в языке-источнике заимствования.

В связи с этим кажется вполне закономерным тот факт, что проведенный анализ не подтверждает предположения о «повышении в ранге» лексической единицы уже «на

входе» в лексическую систему заимствующего языка. О данном явлении, по-видимому, можно говорить только в применении к развитию значения лексической единицы в системе языка на протяжении длительного времени (примером может служить упомянутое выше семантическое развитие существительного *boutique* во французском языке). Иноязычные неологизмы – пока они являются таковыми – обычно употребляются в заимствующем языке в том значении, в котором они употреблялись в языке-источнике на момент заимствования. Изменения семантики иноязычных слов и приобретение ими новых значений происходят чаще всего не сразу, а лишь после полного усвоения слова лексической системой заимствующего языка, когда иноязычное слово уже не ощущается носителями языка как неологизм, бросающийся в глаза своей новизной и иностранным происхождением. Таким образом, представляется, что любое изменение значения слова «на входе» в лексикон заимствующего языка даже в период интенсификации процессов заимствования должно (при обнаружении такого изменения) расцениваться не как типичное явление, а как единичное исключение, требующее специального рассмотрения и объяснения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Брейтер 1997 – *М.А. Брейтер.* Англицизмы в русском языке. Владивосток, 1997.

Горбов 2010 – *А.А. Горбов.* Топ-метод экспресс-номинации эконом-класса: о русских именных композитах с атрибутивным элементом в препозиции к вершине // ВЯ. 2010. № 6.

Костомаров 1996 – *В.Г. Костомаров.* Русский язык в иноязычном потопе // Русский язык за рубежом. 1996. №2.

Кронгауз 2008 – *М.А. Кронгауз.* Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008.

Крысин 1995 – *Л.П. Крысин.* Языковое заимствование: взаимодействие внутренних и внешних факторов (на материале русского языка современности) // Русистика сегодня. 1995. № 1.

Крысин 1996 – *Л.П. Крысин.* Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Е.А. Земская (отв. ред.). Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.

Крысин 2002 – *Л.П. Крысин.* Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий // ВЯ. 2002. № 6.

Крысин 2008 – *Л.П. Крысин* (отв. ред.). Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М., 2008.

Крысин 2010а – *Л.П. Крысин* (отв. ред.). Современный русский язык: Система – норма – узус. М., 2010.

Крысин 2010б – *Л.П. Крысин.* Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010.

МАС – Словарь русского языка. Т. 1–4 / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru/

Скляревская 2008 – *Г.Н. Скляревская* (ред.). Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. М., 2008.

Ушаков 1939 – Толковый словарь русского языка. Т. 1–4. / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 3. М., 1939.

Фасмер 1996 – *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 1 (А–Д). СПб., 1996.

Феоклистова 1999 – *В.М. Феоклистова.* Иноязычные заимствования в русском литературном языке 70–90-х гг. XX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 1999.

Шагалова 2010 – *Е.Н. Шагалова.* Словарь новейших иностранных слов (конец XX – начало XXI вв.). М., 2010.

Cambridge – Cambridge dictionaries online: http://dictionary.cambridge.org/

CNRTL – Centre national de ressources textuelles et lexicales: http://www.cnrtl.fr/

Longman – The Longman dictionary of contemporary English online: http://www.ldoceonline.com/

Oxford – Oxford dictionaries: http://oxforddictionaries.com/

Сведения об авторе:

Андрей Андреевич Горбов
СПбГУ
verde2002@yandex.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. А.А. КАРПОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

В статье описываются характеристики жестового языка, используемого в коммуникации с неслышащими людьми, даны его подтипы и функции, приведен анализ особенностей русского жестового языка и его отличий от иных жестовых языков мира, кратко описаны свойства его лексических элементов. Также приводится аналитический обзор компьютерных средств обработки жестового языка, в том числе систем жестовой нотации и существующих в мире систем жестового синтеза и преобразования «текст-в-жесты». Предложена идея создания универсальной многомодальной системы аудиовизуального синтеза звучащей и жестовой речи по тексту на русском языке.

ВВЕДЕНИЕ

Жестовый язык (ЖЯ) является одним из основных способов межчеловеческой коммуникации, в котором для передачи информации используются различные кинетические средства: жесты рук, мимика, артикуляция губ. Согласно общепринятому определению, «жест» (от лат. *gestus* ‘движение тела’) – это некоторое действие или движение человеческого тела или его части (например, рук или головы), имеющее определенное значение в конкретной ситуации. Например, жестом головой является утвердительный кивок, отрицательное покачивание, наклон головы при приветствии и т. д., причем у разных народов такие распространенные жесты могут иметь различные толкования, иногда даже полностью противоположные. Многие жесты выполняют функцию целого высказывания: указание пальцем или рукой на некоторый объект, улыбка, рукопожатие, воздушный поцелуй. Однако совокупность всех этих жестов не составляет самостоятельную коммуникативную систему, оставаясь вспомогательным компонентом вербального языка. О языке жестов можно говорить только в том случае, когда жесты являются основным способом коммуникации.

В настоящее время жестовые языки известны как средство коммуникации людей с нарушениями речи и слуха. ЖЯ является вторым государственным языком межчеловеческого общения в США, Финляндии, Испании и др., что закреплено конституцией этих стран. В России ЖЯ до сих пор официально не признан национальным языком общения, хотя дискуссии об этом идут в связи с присоединением России в сентябре 2008 г. к Конвенции ООН о правах инвалидов, в которой ЖЯ отводится важная роль по обеспечению доступности информации и равных возможностей для людей с нарушениями слуха.

* Данное исследование проводится при поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект МК64898.2010.8), Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Кадры» (госконтракт 14.740.11.0357), а также Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

Основным способом межчеловеческой коммуникации в среде глухих людей является национальный жестовый язык, в котором каждому понятию (или группе синонимичных понятий) соответствует определенный уникальный жестовый эквивалент. Не существует одного универсального ЖЯ, они различны в разных странах, так как возникают и развиваются естественным путем в разных локальных сообществах и изменяются со временем в связи с появлением новой лексики. ЖЯ состоит из разных знаковых систем, совмещая в себе язык неслышащих людей и жесты, используемые в обществе в целом. На рисунке 1 приводятся примеры жестов из разных ЖЯ, обозначающие одно и то же понятие – «СТОП» (остановка, завершение). Здесь показаны финальные статические стадии выполнения данных жестов, так как сам жест выполняется в динамике. Это понятие в РЖЯ (русском жестовом языке) изображается как остановка некоторого механизма поворотом умозрительного рычага в направлении от диктора. В других ЖЯ это понятие может, например, показываться как установка определенного заграждения (стены или шлагбаума) одной или двумя руками.

Очевидно, что различия в ЖЯ вызывают трудности как при экспертном переводе с языка на язык, так и при разработке автоматических компьютерных систем обработки и синтеза ЖЯ. Анализ показывает, что лишь менее 30 % наиболее распространенных жестов являются одинаковыми для разных ЖЯ, это в основном простые жесты, указывающие на объекты в поле зрения человека («Я», «ТЫ», «ГОЛОВА», «НОС» и т. д.), тогда как жесты для абстрактных понятий зависят от национальных и культурных особенностей. Производились попытки создать универсальный ЖЯ, например, «Жестуно» – это ЖЯ, сконструированный специально для общения неслышащих из разных стран мира [Гейльман 1980] и являющийся фактически аналогом эсперанто. Этот язык обладает своей собственной грамматикой и словарем, однако широкого распространения за границами России он не получил.

Помимо ЖЯ глухие люди в своем общении используют две иные коммуникационные системы, которые сами по себе полноценными и самостоятельными языками не являются: дактильную азбуку и калькирующую жестовую речь. Дактильная азбука служит для жестовой передачи букв алфавита посредством пальцев рук. В силу специфики передаваемого материала, она используется не как основное средство коммуникации неслышащих людей, а как важный вспомогательный инструмент. В том случае, если говорящий не знает жеста для какого-либо понятия или ему необходимо передать точное звучание некоторого слова, он прибегает к дактильной азбуке, которая используется также для передачи различных имен собственных, аббревиатур, редко встречающихся слов, слов иностранного происхождения. Можно выделить характерные отличия русской дактильной азбуки от, например, британской: 1) все 33 буквы русского алфавита показываются одной рукой, а буквы британского – двумя руками; 2) ряд букв русской азбуки отображается посредством динамических жестов, в то время как жесты британ-



Рис. 1. Жесты, означающие понятие «СТОП» в различных ЖЯ мира (слева направо: русский, британский, французский, испанский и чешский языки) [ЭР1]

ской азбуки статические; 3) конфигурации кисти и пальцев рук в русском дактильном алфавите более сложны. Большинство стран имеет свою оригинальную дактильную азбуку, зависящую от социокультурных особенностей народов, причем одноручные азбуки (в Германии, Франции, США, Китае, Индии и др.) преобладают в мире над двуручными (в Великобритании, Турции, Чехии, Новой Зеландии и др.) [ЭР2].

Калькирующая жестовая речь (КЖР) является иным способом передачи письменного или устного языка в среде глухих. «Калькирующая жестовая речь» (данный термин предложен Г.Л. Зайцевой) представляет собой систему жестов, предназначенную для визуального воспроизведения (калькирования) устной речи. При этом жесты выступают как эквиваленты слов, а порядок их следования аналогичен расположению в предложении, жестам в КЖЯ соответствуют слова в начальной форме. При использовании КЖР дополняется жестами из дактильного алфавита, применяемыми для показа неизвестных человеку жестов-слов или для слов, пока не имеющих аналогов в жестовом словаре, различных аббревиатур и др. КЖЯ не имеет собственной грамматики, а копирует структуру общепринятого письменного и устного языка, поэтому является вторичной знаковой системой [Зайцева 2000]. В лексике КЖР выделяются два основных класса жестов: 1) жесты, заимствованные из разговорного РЖЯ (например, «ЖЕНЩИНА», «ШКОЛА»), которые составляют подавляющее большинство в КЖР; 2) жесты, существующие исключительно в КЖР, которые в свою очередь подразделяются на три подкласса: а) собственно слова-жесты («ДИСКРИМИНАЦИЯ»); б) слова русского языка, воспроизводимые с помощью дактилологии («К-И-Б-Е-Р-Н-Е-Т-И-К-А»); в) слова, включающие жест РЖЯ и несколько букв из дактильного алфавита («ЧТО-Б-Ы»). Основное функциональное назначение КЖР состоит в использовании в ситуациях «официального» общения, тогда как РЖЯ являстся разговорным языком бытовой коммуникации в среде неслышащих людей [Пенин 2005]. Также КЖР весьма удобна для сопровождения фильмов и телепередач; так, в некоторых странах, например в Турции, теленовости дублируются сурдопереводчиками исключительно с помощью КЖР с некоторыми упрощениями [Aran et al., 2008].

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РЖЯ

Исторически РЖЯ происходит от французского ЖЯ и относится к французской семье ЖЯ, куда входят также американский (так называемый Амслен ASL), ирландский, нидерландский, испанский, мексиканский, бразильский и некоторые другие национальные ЖЯ. РЖЯ, помимо французского наследия, также имеет определенный пласт лексики из немецкого и австрийского ЖЯ, вследствие чего лексика РЖЯ близка многим жестовым языкам мира. Однако как и другие ЖЯ, РЖЯ имеет много слов, заимствованных из национального звучащего языка или трансформировавшихся под его влиянием. Жесты для некоторых понятий основаны на дактилировании букв, с которых начинаются эти слова в русском языке, и, следовательно, эти жесты уникальны для РЖЯ. В республиках бывшего СССР РЖЯ распространялся через создание школ для глухих. В результате сформировалось несколько схожих друг с другом «диалектов» РЖЯ[1]. В последние годы наиболее активные научные исследования диалектов русского жестового языка проводились в МГПУ под руководством А.А. Комаровой.

Существование различных диалектов РЖЯ, различающихся в основном лексикой, является определенной трудностью для неслышаших людей и сурдопереводчиков, возникают проблемы при переводе и понимании жестовой речи дикторов из других регионов и стран СНГ. Значительные проблемы встают и перед разработчиками компьютерных систем и мультимедийных обучающих словарей ЖЯ. На рисунке 2 представлено разнообразие жестов, означающих понятие «ОДИН» (цифра), взятых из различных словарей РЖЯ (пяти мультимедийных словарей и печатного). Можно отметить три основных и отличных друг от друга варианта жестикуляции для данной цифры, принятые

[1] Википедия http://ru.wikipedia.org, статья «Русский жестовый язык».

в разных локальных обществах глухих в России. Зачастую члены одного общества не приемлют жесты, принятые в другом сообществе, хотя многие из них интуитивно понятны. Сейчас в России доступно несколько печатных книг и электронных ресурсов и обучающих систем, содержащих словари РЖЯ. Среди существующих мультимедийных компьютерных систем можно отметить следующие:

– Видеословарь «Тематический словарь русского жестового языка» создан Московской городской организацией ВОГ при поддержке Департамента социальной защиты населения Москвы по правительственной целевой программе «Социальная интеграция инвалидов Москвы на 2004–2006 годы» [ЭР3]. Содержит несколько тысяч наиболее употребительных жестов, показанных московскими носителями языка, состоит из четырех DVD дисков и имеет высокое качество видеоматериалов (рисунок 2а).

– Мультимедийный видеословарь «Толковый словарь русского жестового языка – RuSLED» [Воскресенский и др. 2009], руководитель проекта А.Л. Воскресенский, содержит более 2500 жестов. Достоинством данного ресурса можно назвать наличие дополнительных текстовых разъяснений, относящихся к манере исполнения жеста и описывающих смысловую интерпретацию жестов. Программа является интерактивной оболочкой к видеословарю РЖЯ (носителей ЖЯ Санкт-Петербурга и Ленинградской области), записанному в 2002 г. в Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха г. Павловска [Специфические средства… 2002], (рисунок 2б).

– «Русский жестовый язык. Базовый курс» – мультимедийная электронная обучающая система (ЭОС) 2001 г. создана Центром «Истина» при поддержке Центрального правления ВОГ, руководитель проекта А.И. Ракитов. Основывается на словаре нормированной жестовой речи и содержит несколько тысяч жестов [ЭР4] (рисунок 2в).

– Интерактивный онлайн видеословарь «Русский жестовый язык – DigitGestus» [ЭР5] содержит несколько сотен жестов-слов, создан в Новосибирске в 1996–97 гг. (рисунок 2г).

– Интерактивный онлайн словарь жестового языка европейского проекта Spreadthesign («Распространим жест») [ЭР1], проект поддерживается Евросоюзом, координатор от России – А.А. Комарова. Содержит несколько тысяч жестов-слов на РЖЯ, а также нескольких других европейских ЖЯ (рисунок 2е).

– Интерактивный онлайн словарь РЖЯ [ЭР6] собран носителями языка, работающими в Стэнфордском университете США, содержит несколько сотен жестов.

– Интерактивный онлайн словарь проекта «Сурдосервер» [ЭР7], разработан в ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова, содержит те же видеоматериалы, что и ЭОС «Русский жестовый язык. Базовый курс» 2001 г., а также оригинальный жестовый видеословарь по направлению «Информационные технологии», состоящий из нескольких десятков жестов [Мясоедова и др. 2010].

Среди печатных словарей РЖЯ, содержащих фотографии и описания жестов, необходимо прежде всего отметить работы И.Ф. Гейльмана (Санкт-Петербург) [Гейльман 1979] (рисунок 2д), Г.И. Зайцевой (Москва) [Зайцева 2000], Р.Н. Фрадкиной (Москва) [Фрадкина 2001], Л.С. Димскис (Минск) [Димскис 2002] и некоторых других исследователей РЖЯ. Все эти мультимедийные и печатные словари РЖЯ достаточно полно отражают его лексику.

Существующие отличия в диалектах РЖЯ можно связать и с историей возникновения первых школ сурдопедагогов. Первая сурдопедагогическая школа была открыта в начале XIX века в Павловске около Санкт-Петербурга, работала она по французской методике. В результате РЖЯ оказался в родстве с ЖЯ Франции и Америки. В Москве же первая сурдопедагогическая школа открылась только во второй половине XIX века, и она работала уже по иной – немецкой – методике. Последствия конкуренции этих двух методик отражаются в диалектах РЖЯ до сих пор. По результатам проведенного анализа мультимедийных жестовых словарей можно сказать, что крупнейшие диалекты РЖЯ – петербургский и московский – различаются для 30–40 % жестов-слов, хотя иногда расхождения незначительны и значение жеста понятно. Это хорошо видно на рисунке 2, где жесты из словарей петербургского диалекта представлены в сред-



Рис. 2. Разнообразие жестов, означающих понятие «ОДИН», в словарях РЖЯ

ней колонке, данный жест визуально практически аналогичен жесту для иного понятия («ХОРОШИЙ») московского варианта РЖЯ. И даже в московском регионе разные словари РЖЯ не всегда унифицированы и нормализованы, т. е. существуют поддиалекты в отдельных общинах, например жест на рисунке 2в из словаря ЭОС «Русский жестовый язык», который разработан Центральным правлением ВОГ, отличается от более распространенного московского варианта; подобная ситуация наблюдается и в других регионах. Таким образом, разработка компьютерных средств анализа и синтеза русской жестовой речи не может быть универсальна, но можно говорить об адаптации к региональным особенностям произношения и регионально ориентированной компьютерной системе.

В отличие от КЖР РЖЯ обладает собственной грамматикой и выразительными средствами, причем по своей структуре грамматика ЖЯ значительно отличается от грамматики литературного или разговорного языка. Подобно тому как ЖЯ существуют и развиваются отдельно от вербальных, так и их грамматики слабо связаны друг с другом. В настоящее время грамматика и синтаксис РЖЯ еще недостаточно изучены и формализованы, чтобы вести разговоры о полностью автоматическом переводе текста на ЖЯ. В последние годы изучением структуры и грамматики РЖЯ наиболее активно занимается коллектив под руководством А.А. Кибрика на филологическом факультете МГУ [Кибрик, Прозорова 2007; Прозорова 2007]. Некоторые исследования по автоматизированному сурдопереводу ведутся в МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с ИПУ РАН [Мясоедова, Филиппович 2010], в том числе в рамках развития интернет-портала «Сурдосервер». Ряд исследователей [Воскресенский 2009] отмечает, что серьезные различия в семантико-синтаксической структуре письменного и жестового языков не позволяют выполнять однозначный машинный перевод русскоязычных текстов на РЖЯ, поэтому действующих автоматических систем сурдоперевода на данный момент не существует. Для создания такой полноценной модели необходимо производить глубокий семантический анализ письменных фраз, а это пока возможно лишь на поверхностном уровне из-за несовершенства алгоритмов и баз знаний. Однако КЖР отражает грамматику и лексику разговорной речи, поэтому машинный перевод здесь возможен.

3. СИСТЕМЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ И НОТАЦИИ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

Лексические элементы ЖЯ — жесты – во всех типах жестовых систем формируются приблизительно одинаково и могут быть описаны схожим образом: по конфигурации (форма руки или рук), по месту исполнения (где находятся руки, выполняющие жест) и по характеру движения (как именно движутся руки; что они делают). Такое описание было впервые предложено американским исследователем жестовой речи У. Стоуки [Stokoe 1960]. В своем описании американского ЖЯ (Амслен) он применял «фонологический» принцип для транскрибирования жестов. Под фонологическим принципом понимается разложение любого жеста на минимальные регулярно повторяющиеся жестовые примитивы (хиремы). Иными словами, хиремы – это минимальные единицы, из которых строится жест. Однако специфика структуры жеста заключается в своеобразии связей между его компонентами: все они воплощаются в жесте одновременно. Этим жест принципиально отличается от слова, в котором звуковые элементы речи (фонемы) реализуются последовательно во времени. Хиремы, по концепции У. Стоуки, определяются по тому, где они жестикулируются (например, у лба, у щеки, на уровне груди и т. п.) и как именно они жестикулируются (например, рука движется вперед, совершает волнообразные или зигзагообразные движения и т. п.). Кроме того, для хирем необходим третий признак – форма руки/рук.

Специфика организации жестового общения человека с ЭВМ состоит в том, что ЖЯ и жестовый словарь должны быть определенным образом формализованы, чтобы компьютер мог обрабатывать и синтезировать жесты. Для описания жеста по его визуальным признакам существует несколько различных систем нотации (жестовой транскрипции), позволяющих зафиксировать представление жеста. Одна из самых известных систем нотации, широко распространенная в Америке (в частности, для Амслена), называется Sign Writing [ЭР8]. Знаки в SignWriting обозначают движения рук, тела человека и пишутся сверху вниз. Эта система отличается хорошей проработанностью и однозначностью записи, однако обладает чрезвычайно большим инвентарем знаков, что делает ее малопригодной для использования в обучении и компьютерных технологиях. Намного практичнее сократить количество частных случаев конфигурации руки, описывая их как переменные (например, количество показываемых пальцев) при одной константе (форме ладони). Такому требованию, например, удовлетворяет система нотации жестов, предложенная Л.С. Димскис [Димскис 2002]. В ее нотации выделяется более 30 конфигураций рук, около 50 характеристик места исполнения жеста и более 70 типов движений рук.

Наиболее широкое распространение в мире в последнее время получила «Гамбургская система нотации» (основатель и основной разработчик Т. Ханке), более известная под сокращенным названием HamNoSys (англ. «Hamburg Notation System»). В настоящее время актуальна HamNoSys версии 4.0 [ЭР9]. Эта система отличается наибольшей проработанностью и пригодна для использования в компьютерных приложениях за счет того, что ее знаки переведены в компьютерную систему кодировки Юникод с соответствующими компьютерными шрифтами. Инвентарь HamNoSys позволяет представить практически любой жест, что делает эту систему универсальной и пригодной для любого ЖЯ мира. Фактически по своим функциям HamNoSys является аналогом международного фонетического алфавита МФА (IPA) и по умолчанию используется лингвистами, занимающимися исследованием ЖЯ.

В системе HamNoSys при записи любого жеста сначала задается форма кисти активной руки (или рук), затем ее ориентация по двум параметрам (направление пальцев и разворот кисти), место, где располагается рука во время жеста, и характер самого движения. Жесты могут быть одноручными и двуручными, поэтому во втором случае в запись добавляются операторы для двуручных жестов, позволяющие совместить действия обеих рук в рамках одного выражения. Форма кисти, т.е. конфигурация пальцев и ладони, задается несколькими простыми знаками, символически изображающими ладонь и пальцы, примеры представлены на рисунке 3.

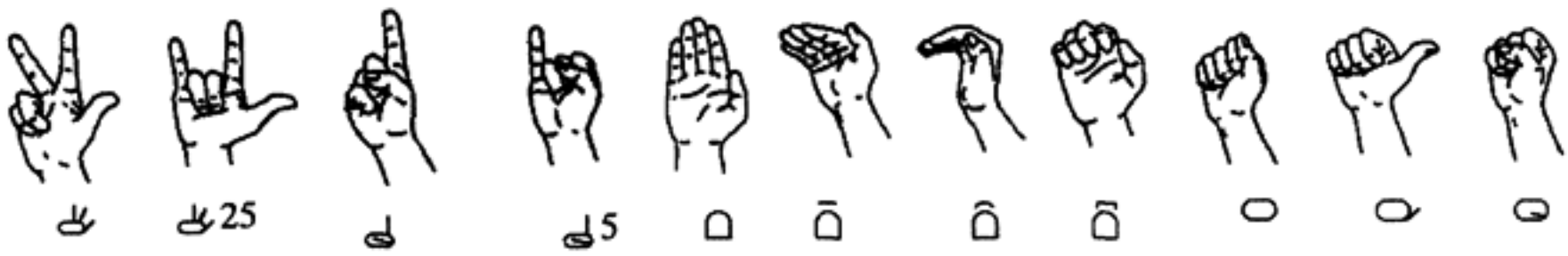


Рис. 3. Примеры кодирования конфигурации пальцев и кистей рук в HamNoSys

Стоит особо отметить способы указания отдельных пальцев на руке. В базовых символах нет элементов, например, для отдельно отставленного безымянного или указательного пальцев. В этом случае используется числовое обозначение пальцев рук: 1 – большой палец; 2 – указательный; 3 – средний; 4 – безымянный; 5 – мизинец; а также их комбинации. Соответственно для точной кодировки пальцев следует всего лишь задать их количество и точное значение цифрами (рисунок 3). Такой подход позволяет сократить инвентарь знаков, сделать его менее громоздким, удобным в обучении и применении по сравнению с системой Sign Writing. Кроме того, задается ориентация кисти руки в пространстве по кончикам пальцев; она определяется в трех плоскостях, в зависимости от специфики жеста (рисунок 4).

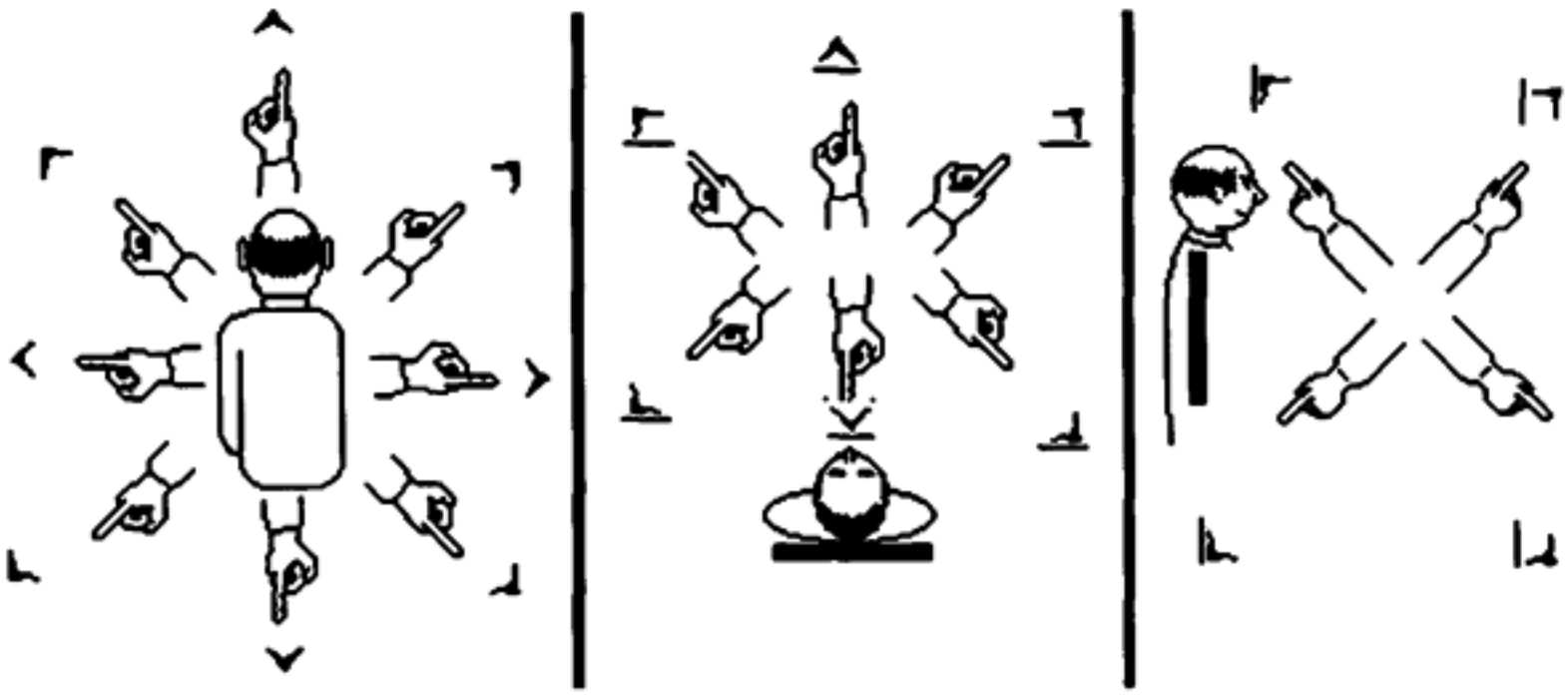
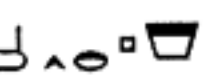


Рис. 4. Описание ориентации руки в нотации HamNoSys

Наконец, в HamNoSys существуют разнообразные знаки практически для всех возможных движений, которые могут осуществлять руки, а также жестовых локаций. Их довольно много (около сотни в версии 4.0 [ЭР9]), и этот инвентарь постоянно расширяется, чтобы соответствовать новой лексике, появляющейся в ЖЯ, который является открытой коммуникативной системой. В качестве примера использования данной нотации возьмем жест для числительного «ОДИН» (рисунок 2а), каждая характеристика которого записана при помощи знаков HamNoSys. Данный статический жест записывается следующей цепочкой знаков:  . Подобным образом, используя систему жестовой нотации, можно графически формализовать весь словарь жестов автоматической системы.

4. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИДЕОСИНТЕЗ ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ

Глобальной целью компьютерных систем, основанных на жестовом языке и речи, является обеспечение равноправной коммуникации слышащих и глухих (не немых, а разговаривающих на ЖЯ) людей с тяжелыми нарушениями слуха. Одним из самых эффективных средств обучения являются мультимедийные компьютерные системы, по-

этому создание информационных приложений, способных взаимодействовать с ЖЯ, – одна из приоритетных задач при работе с глухими и слабослышащими людьми. Особый интерес представляют системы компьютерного синтеза русского жестового языка и речи по тексту.

Наиболее простая система синтеза ЖЯ может быть создана на основе компьютерного видеословаря жестов, целиком показанного одним человеком-демонстратором. В такой системе видеофрагменты нужных слов из словаря последовательно компилируются в составные фразы, в качестве примеров можно привести системы компьютерного синтеза РЖЯ, разработанные в последние годы в Новосибирске [ЭР10], а также в Минске [ЭР11]. Серьезным недостатком любых подобных систем можно назвать то, что такой синтез ЖЯ не является слитным (непрерывным), где жесты естественным образом перетекают из одного в другой, а лишь воспроизводит последовательность изолированных друг от друга жестов. Дело в том, что в словаре все жесты-слова показываются целиком от начала до конца и независимо друг от друга, начинаясь всегда с определенного нейтрального положения рук и, как правило, им же и заканчиваясь. В случае слитного синтеза ЖЯ последовательные жесты должны не проходить через это нейтральное положение, а плавно перетекать из одного жеста в другой без остановки, как это делается человеком. Иными словами, студийная видеозапись жестов, позволяя сформировать исходный словарь, не может быть средством коммуникации с глухими людьми, поэтому для компьютерного синтеза слитной жестовой речи предпочтительнее использование анимированных персонажей или виртуальных помощников-людей (аватаров). Словарь анимированных трехмерных жестов позволяет компоновать высказывания из хранящейся в словаре коллекции жестов, сохраняя единство действия, что важно для восприятия жестовых высказываний человеком. Системы синтеза ЖЯ, создаваемые с использованием трехмерных аватаров, обладают рядом достоинств, в частности:

– Позволяют просматривать видеосинтез жестовой речи с разных сторон и углов обзора, что помогает лучше воспринимать пространственную информацию, например, степень удаленности рук от туловища и друг относительно друга (в отличие от двухмерных моделей).

– Дают возможность относительно легко пополнять и корректировать словарь жестов, так как вместо видеозаписей реального человека в словаре присутствуют компьютерные анимированные аватары, соответственно для расширения словаря не обязательно записывать того же самого человека-демонстратора жестов в той же самой одежде и с той же прической, а также уровнем освещенности.

– Позволяют выполнять слитный синтез ЖЯ, в котором отдельные слова во фразах стыкуются бесшовно, т. е. не видны явные границы между соседними словами.

– Дают возможность заменять виртуальный персонаж, используя новые высокореалистичные модели людей (мужчин или женщин, а также любых вымышленных героев).

– Позволяют воспроизводить жестовую фразу на экране с любой необходимой скоростью, как замедляя, так и ускоряя видеоряд.

Одним из возможных способов создания высокореалистичной модели компьютерного синтеза жестовой речи является технология цифрового «захвата движений» (от англ. «motion capture»), использующая систему из нескольких видеокамер или радиопередатчиков. По такому пути под руководством А.Л. Воскресенского в московской анимационной студии создается видеословарь жестов московского варианта РЖЯ и трехмерный анимированный персонаж для системы автоматического синтеза слитной жестовой речи [Воскресенский и др. 2010]. Движения демонстратора – носителя ЖЯ, фиксируемые с помощью двенадцати синхронизированных цифровых видеокамер комплекса Vicon MX и десятков цветовых меток на специальном костюме, преобразуются в трехмерную модель человека с использованием новейших возможностей компьютерной графики. Далее эта модель обрабатывается для формирования визуального облика аватара, который затем может быть помещен в любую виртуальную сцену, управляясь игровым движком. Движения пальцев демонстратора фиксируются с помощью специальных перчаток с метками, а для снятия мимики лица и артикуляции используются

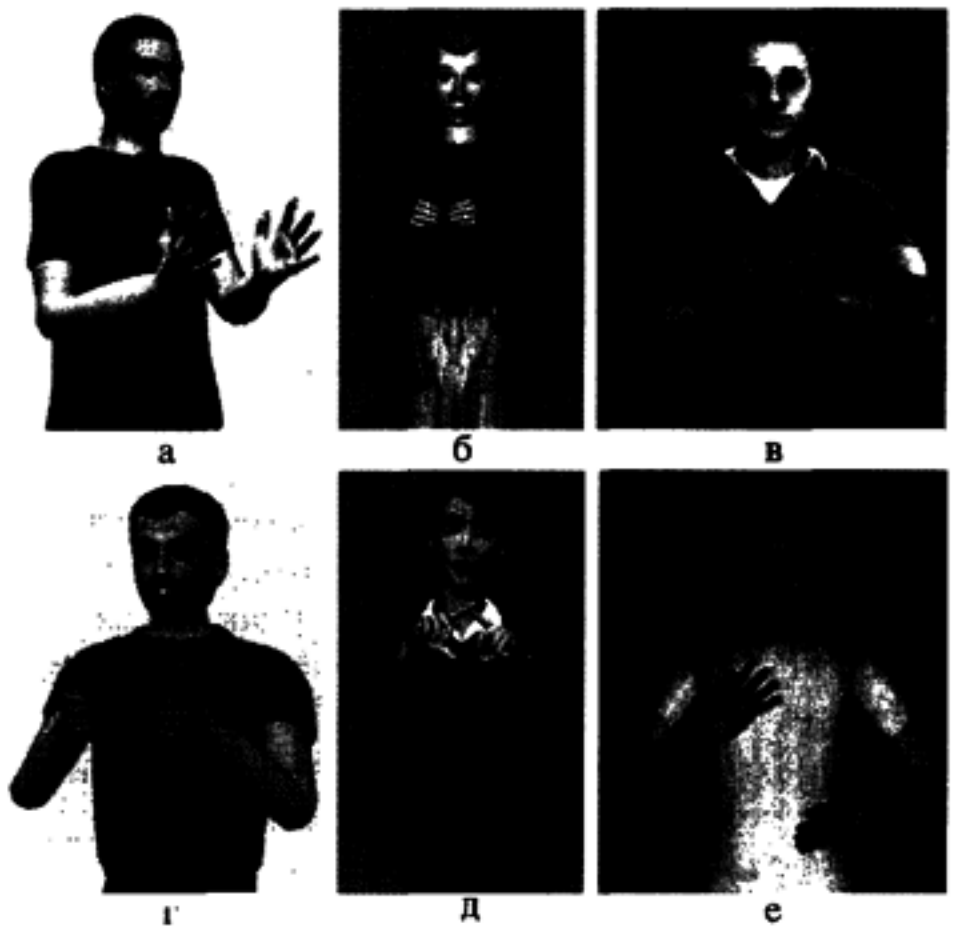


Рис. 5. Примеры трехмерных компьютерных аватаров, предназначенных для синтеза жестовой речи

фиксируемые на лице отражатели, сигналы от них преобразуются в трехмерную динамическую модель лица. Подобным образом разрабатывают свою модель синтеза украинского диалекта РЖЯ и киевские коллеги [Крак и др. 2008]. Отличия в создании этой модели состоят в том, что используется система всего из трех цифровых видеокамер, расположенных как фронтально, так и справа и слева от демонстратора жестов.

Достоинством таких разработок является реалистичность виртуальных персонажей, а также естественность и плавность их движений, которой добиваются, используя системы из нескольких видеокамер с большой частотой кадров. Недостаток же подобных разработок – дороговизна оборудования видеостудии и анимации трехмерного аватара при помощи игрового движка (программного обеспечения), а также сложность пополнения словаря, так как для этого необходимо производить повторные видеозаписи демонстратора в студии и затем обрабатывать их.

Другим возможным вариантом использования трехмерных виртуальных персонажей для синтеза ЖЯ можно назвать их управление посредством символов нотации жестов, которые описывают требуемые конфигурации рук и различные типы движений. Словарь жестов в такой системе представляет собой цепочку символов в выбранной нотации, поэтому может легко модифицироваться и расширяться без использования специального оборудования. Применяя такой подход, в начале XXI века на волне создания ассистивных (предназначенных для помощи людям) компьютерных технологий был разработан ряд моделей компьютерного синтеза жестовой речи для нескольких ЖЯ, включая американский, британский, французский, чешский и др. Среди известных зарубежных компьютерных систем синтеза жестовой речи, использующих различные анимированные аватары, следуют отметить системы, разрабатываемые в рамках текущих интеграционных проектов 7-й рамочной программы Евросоюза Dicta-Sign [ЭР12], SIGNSPEAK [ЭР13]; завершенные европейские проекты ViSiCAST с аватаром Visia [ЭР14] (рисунок 5д) и проект eSign с аватаром vGuido [ЭР15] (рисунок 5а), исследовательский проект Musslap [ЭР16] (рисунок 5е) Западночешского университета, проект коммерческой американской компании Vcom3D с аватарами Sign Smith [ЭР17] (рисунок 5б) и Sign4Me (рисунок 5в), а также британский проект SiSi (Say It Sign It) корпорации IBM [ЭР18] (рисунок 5г) в рамках более крупного проекта по машинному переводу английской речи в Амслен.

5. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СИНТЕЗА РУССКОЙ ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ

С 2009 года СПИИ РАН совместно с Западночешским университетом г. Пльзень в рамках совместного проекта (по программе двусторонней поддержки науки РАН и Министерства образования, науки и спорта Чехии) ведет разработку и исследование системы синтеза РЖЯ и КЖР. За основу взята модель синтеза чешского ЖЯ [Zelezny et al. 2006] (рисунок 5e), использующая международную систему жестовой транскрипции HamNoSys. Была создана не просто система видеосинтеза жестов рук персонажа, а универсальная многомодальная система и интерфейс человеко-машинного взаимодействия [Ронжин, Карпов 2010], где кроме этой обработки производится также аудиовизуальный синтез звучащей русской речи. Общая архитектура компьютерного синтезатора представлена на рисунке 6. Система аудиовизуального синтеза русской речи (так называемая «говорящая голова») разработана ранее в сотрудничестве с коллегами из ОИПИ НАН Белоруссии [Лобанов и др. 2008] и представляет собой компиляционный синтез звучащей разговорной речи по тексту, совмещенный с движениями губ и лицевых органов трехмерной виртуальной головы человека. Для синтеза ЖЯ необходимо объединить визуальную модель головы человека с моделью туловища и рук (включая пальцы). Одной из основных задач исследования является создание и экспертное наполнение словаря РЖЯ с использованием специального редактора, анализирующего на входе символы HamNoSys и трансформирующего их в соответствующие движения аватара.

Предлагаемая система нацелена не только на пользователей компьютерных систем с ослабленным слухом, но также и на обычных пользователей, являясь универсальной многомодальной системой синтеза. Русская жестовая речь складывается из комбинации динамических жестов, воспроизводимых обеими руками (либо одной рукой), и артикуляции губ, проговаривающих показываемое слово. Многие глухие люди, которые ранее обладали слухом, способны «читать речь по губам» собеседника даже без использования жестов, поэтому такая речевая модальность должна быть неотъемлемым элементом компьютерной системы синтеза жестовой речи. В предлагаемой системе артикуляция губ, которые являются частью органов речеобразования, сопровождается также звучащим речевым сигналом, который может и не быть доступен полностью глухим людям, однако для слышащих людей аудиовизуальная система синтеза речи доступна и даже необходима для повышения разборчивости и естественности синтезируемой компьютером речи. Таким образом, основными компонентами универсальной многомодальной системы синтеза аудиовизуальной звучащей русской речи и калькирующей жестовой речи являются:

– имитационная модель головы человека, в которой настраиваются управляющие параметры для передачи мимики, выражения лица и движений губ при говорении, синхронизируемая с системой синтеза русской речи [Zelezny et al. 2006];



Рис. 6. Архитектура универсальной многомодальной системы синтеза аудиовизуальной разговорной речи и калькирующей жестовой речи

– компьютерная система аудиосинтеза разговорной русской речи, осуществляющая преобразование текста в речь по произвольному входному тексту [Лобанов и др. 2008];

– русскоязычная бимодальная система «говорящая голова» на основе виртуальной объемной модели головы человека и компьютерного синтеза речи по произвольному тексту, моделирующая естественную асинхронность звуковой и визуальной модальностей речи при синтезе [Карпов и др. 2010];

· компьютерная модель верхней части тела и рук человека, в которой настраиваются параметры движения рук для синтеза элементов РЖЯ на основе управляющих символов международной нотации HamNoSys;

– многомодальная система синтеза, синхронизирующая и объединяющая компоненты генерации визуальной речи, звучащей речи и калькирующей жестовой речи для аудиовизуального синтеза.

Синхронизация звучащей речи и жестов КЖР в системе осуществляется на основе временных меток начала и конца слов звучащей речи, синтезированных системой по тексту. Так как звучащая речь имеет более высокий темп воспроизведения, чем жестовая речь, то виртуальный аватар последовательно проговаривает и артикулирует с невысокой скоростью изолированные слова звучащей речи, дожидаясь окончания жестикуляции слова (может включать в себя несколько элементов дактильной азбуки), плавно переходя к следующему жесту слитной КЖР.

Применение такой полноценной компьютерной системы синтеза актуально во многих сферах, где КЖР используется для официального общения и коммуникации, в частности, на собраниях, конференциях, лекциях, а также при автоматическом сурдопереводе телевизионных передач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье приведен анализ основных характеристик РЖЯ, который в значительной степени отличается от ЖЯ, применяемых в других странах, а, кроме того, ввиду территориальной обширности России в нашей стране распространены несколько различных диалектов РЖЯ. По этой причине компьютерные средства обучения, анализа и синтеза РЖЯ должны быть адаптированы к региональным особенностям языка.

Компьютерная обработка русской жестовой речи является новым междисциплинарным научным направлением, развитие которого требует как глубокого изучения принципов функционирования и развития РЖЯ и КЖР, так и разработки эффективных технологий, связанных с анализом и синтезом аудио- и видеоинформации. На данной стадии исследования проанализирована специфика РЖЯ, а также подготовлена демонстрационная версия универсального многомодального синтезатора аудиовизуальной звучащей русской речи и жестов калькирующей жестовой речи (см. демонстрацию показа времени на сайте лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПИИРАН [ЭР19]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Воскресенский и др. 2009 – *А.Л. Воскресенский, И.Е. Гуленко, Г.К. Хахалин.* Словарь RuSLED как инструмент семантических исследований // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог'2009». Бекасово, 27–31 мая 2009 г. М., 2009.

Воскресенский и др. 2010 – *А.Л. Воскресенский, С.Н. Ильин, М. Железны.* О распознавании жестов языка глухих // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог'2010». Бекасово, 26–30 мая 2010 г. М., 2010.

Гейльман 1979 *И.Ф. Гейльман.* Специфические средства общения глухих. Дактилология и мимика. Т. 1–4. Л., 1979.

Гейльман 1980 – *И.Ф. Гейльман.* Изучаем жестуно. Л., 1980.
Димскис 2002 – *Л.С. Димскис.* Изучаем жестовый язык. М., 2002.
Зайцева 2000 – *Г.Л. Зайцева.* Жестовая речь. Дактилология: Учебник для студентов вузов. М., 2000.
Карпов и др. 2010 *А.А. Карпов, Л.И. Цирульник, М. Железны.* Разработка компьютерной системы «говорящая голова» для аудиовизуального синтеза русской речи по тексту // Информационные технологии. 2010. № 8.
Кибрик, Прозорова 2007 – *А.А. Кибрик, Е.В. Прозорова.* Референциальный выбор в русском жестовом языке // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды междунар. конф. «Диалог'2007». Бекасово, 30 мая - 3 июня 2007 г. М., 2007.
Крак и др. 2008 *Ю. Крак, А. Бармак, А. Ганджа, А. Терпов, Н. Шатковский.* Компьютерная система виртуального общения людей с нарушениями слуха // Advanced studies in software and knowledge engineering. 2008. № 4.
Лобанов и др. 2008 *Б.М. Лобанов, Л.И. Цирульник, М. Железны, З. Крноул, А. Ронжин, А. Карпов.* Система аудиовизуального синтеза русской речи // Информатика. 2008. № 4.
Мясоедова, Филиппович 2010 - *М.А. Мясоедова, Ю.Н. Филиппович.* Система автоматизированного перевода жестовой речи // Материалы научно-методического семинара научно-образовательного кластера CLAIM. М., 2010.
Мясоедова и др. 2010 *М.А. Мясоедова, Д.Н. Душкин, З.П. Мясоедова, Н.В. Петухова, М.П. Фархадов.* Разработка интернет-портала «Сурдосервер» с ресурсами русского жестового языка // Труды IV междисциплинарного семинара «Анализ разговорной русской речи АР-3». СПб., 2010.
Пенин 2005 *Г.Н. Пенин.* Калькирующая жестовая речь: особенности, сфера употребления // Сб. докладов конф. «Покровские педагогические чтения 2004–2005 гг.». СПб., 2005.
Прозорова 2007 – *Е.В. Прозорова.* Российский жестовый язык как предмет лингвистического исследования // ВЯ. 2007. № 1.
Ронжин, Карпов 2010 - *А.Л. Ронжин, А.А. Карпов.* Проектирование интерактивных приложений с многомодальным интерфейсом // Доклады ТУСУР. 2010. № 1.
Специфические средства… 2002 – Специфические средства общения глухих России: Видеокурс в 3-х ч. Павловск, 2002.
Фрадкина 2001 - *Р.Н. Фрадкина.* Говорящие руки: Тематический словарь жестового языка глухих России. М., 2001.
ЭР1 Европейский проект Spreadthesign. www.spreadthesign.com/ru (электронный ресурс)
ЭР2 – Дактильные алфавиты мира. www.deafnet.ru/dn/abc.phtml
ЭР3 Московская городская организация Всероссийского общества глухих. www.deafmos.ru/info.phtml?c=24&id=105
ЭР4 – Электронная обучающая система «Русский жестовый язык. Базовый курс». http://istina.inion.ru/NIOT/rgy.htm
ЭР5 Интерактивный онлайн видеословарь «Русский жестовый язык DigitGestus». www.digitgestus.com
ЭР6 – Интерактивный онлайн словарь РЖЯ Стэнфордского университета. www.stanford.edu/dept/lc/rsl/
ЭР7 Проект «Сурдосервер». http://surdoserver.ru
ЭР8 – Система жестовой нотации «Sign Writing». www.signwriting.org
ЭР9 - Система жестовой нотации «Hamburg Notation System». www.sign-lang.uni-hamburg.de/projects/hamnosys.html
ЭР10 – Система компьютерного синтеза жестового языка, разработанная в Новосибирске. www.vesti.ru/doc.html?id=358385&p=35&cid=1
ЭР11 – Система компьютерного синтеза жестового языка, разработанная в Минске. http://ont.by/news/our_news/0062482
ЭР12 – Европейский FP7 проект Dicta-Sign. www.dictasign.eu
ЭР13 – Европейский FP7 проект SIGNSPEAK. www.signspeak.eu/en
ЭР14 – Европейский проект ViSiCAST. www.visicast.co.uk
ЭР15 - Европейский проект eSign. www.sign-lang.uni-hamburg.de/esign
ЭР16 - Чешский проект Musslap. http://musslap.zcu.cz
ЭР17 Проект Sign Smith компании Vcom3D. www.vcom3d.com

ЭР18 – Американский проект SiSi. www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/22316.wss
ЭР19 – Мультимедийная демонстрация синтезатора РЖЯ СПИИРАН.
www.spiiras.nw.ru/speech/demo/signlang.avi
Aran et al. 2008 - *O. Aran, I. Ari, L. Akarun, E. Dikici, S. Parlak, M. Saraclar, P. Campr, M. Hruz.* Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos // Journal on multimodal user interfaces. 2008. № 2.
Stokoe 1960 – *W.C. Stokoe.* Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf // Studies in linguistics: Occasional papers. 1960. № 8.
Zelezny et al. 2006 · *M. Zelezny, Z. Krnoul, P. Cisar, J. Matousek.* Design, implementation and evaluation of the Czech realistic audio-visual speech synthesis // Signal processing. 2006. № 12.

Сведения об авторе:

Алексей Анатольевич Карпов
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
karpov@iias.spb.su

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. А.Д. КОЗЕРЕНКО, Г.Е. КРЕЙДЛИН

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОМАТИЗМЫ И СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕЛА

В статье описываются русские фразеологические соматизмы – фразеологические единицы с именами телесных объектов. Основной целью работы является обоснование трех положений, относящихся к фразеологической теории и методологии описания фразеологизмов. Приводится ряд наблюдений над природой фразеологических соматизмов и их поведением в контексте. Устанавливается связь между фразеологическими соматизмами и фразеологической теорией, с одной стороны, и семиотической концептуализацией тела и семиотикой телесности, с другой. Все утверждения иллюстрируются примерами фразеологизмов и свободных сочетаний с обозначениями соматизмов.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ПОНЯТИЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ТЕЛА*

В настоящей работе исследуется вопрос о том, как человеческое тело и телесность отражаются во **фразеологических соматизмах**[1]. Под фразеологическим соматизмом мы понимаем фразеологическую единицу, в состав которой входит имя **телесного**, или **соматического, объекта**[2]. Нас интересует, какие смыслы передают в этих единицах соматические объекты и какие образные представления, заключенные в этих единицах, стандартно закреплены за телом, частями тела, органами и т.д. Наконец, мы хотим установить, какие ассоциации и коннотации (языковые, культурные, социальные) несут в себе телесные составляющие.

В работе рассматриваются две области функционирования знаков, или знаковые области. Первая из них состоит из единиц двух семиотических кодов, относящихся к телу и разнообразным явлениям телесности. Основу лексики одного из них – русского языка – образуют имена соматических объектов, таких как тело, части тела, части частей тела, внутренние органы, телесные жидкости и др., а также свободные сочетания с этими именами. Основу лексики второго кода – русского языка тела, иначе называемого русским языком жестов, - составляют жесты в широком смысле слова[3].

---

* Работа выполнена в рамках проекта «Тело и его части в разных языках и культурах: типологическое описание», поддержанного грантом РГНФ (№10-04-00125а).

[1] В работе приняты следующие виды обозначений и шрифтовых выделений. Жирный шрифт отводится для обозначения важных вводимых теоретических понятий. Курсивом выделяется иллюстративный материал. Соматические объекты в тексте либо никак специально не выделяются, либо при необходимости даются в кавычках; имена признаков всегда даются в кавычках. В косые скобки // заключаются значения признаков. В угловых скобках <> даются уточняющие детали в обозначениях признаков. Основные тезисы и положения, выдвигаемые в работе, выделяются отступами.

[2] О понятии соматического объекта и о типах соматических объектов см. [Крейдлин, Переверзева 2010а].

[3] К ним относятся собственно жесты, то есть знаковые движения и положения рук, ног, плеч и головы, знаковые выражения лица (мимика), знаки-взгляды, знаки-касания, знаковые статические положения тела (в смысле англ. postures, а не poses), знаковые телодвижения и комплексные вербально-невербальные знаковые формы – манеры (в частности, манеры поведения за столом, манеры поведения в обществе и в разного рода ритуалах или церемониалах и др.). О русском языке тела и его единицах см. [Крейдлин 2002].

Вторая знаковая область, составляющая основной предмет настоящего исследования, – это русская фразеология, главным образом идиоматика.

Изучение обеих областей проводится параллельно построению **семиотической концептуализации тела**. Семиотическая концептуализация тела представляет собой модель того, как и что наивный носитель языка думает о теле, частях тела, органах и т. д., как он о них говорит и как их использует в невербальных знаковых кодах[4].

2. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОМАТИЗМЫ В РАМКАХ ПРИЗНАКОВОГО ПОДХОДА

Описание фразеологических соматизмов и невербальных знаков, отражающих поведение тела (главным образом коммуникативное), как и единиц первой знаковой области, ведется в рамках единого **признакового подхода**. Единство метаязыка и единство подхода к разного рода языковым и невербальным знакам мы считаем важным, поскольку это позволяет более надежно соотнести результаты, полученные в каждой из знаковых областей.

Признаковый подход предполагает описание целого ряда множеств. Среди них множества соматических объектов и их языковых имен (номинаций), признаков и их номинаций, значений признаков и их номинаций, жестовых единиц, отражающих участие тела в разного рода поведенческих актах, и их номинаций. Мы хотим, в частности, выяснить, какие признаки и значения признаков соматических объектов и их имен в составе русских фразеологических соматизмов предоставляют нам новую информацию о человеческом теле и телесности – новую по сравнению с той, что обычно дают неидиоматичные языковые и жестовые единицы. В дальнейшем все единицы русского языка, соотносимые с телом и телесностью, и единицы русского языка тела и все классы таких единиц мы будем иногда называть **соматизмами**, проводя различия между языковыми и жестовыми соматизмами лишь по мере необходимости.

Изучение тела и телесности в рамках признакового подхода в качестве первого шага предполагает описание всех телесных объектов при помощи фиксированной системы признаков и их значений. Среди признаков соматических объектов выделяются три большие группы. Это **структурные признаки** (например, признаки «быть частью <некоего большего> целого», «местоположение <в теле или относительно каких-то других телесных объектов>»), **физические признаки** (например, «текстура соматического объекта», то есть свойство его поверхности, «цвет волос», «температура тела») и **функциональные признаки** (например, для шеи основная функция – связующая: шея связывает голову с остальной частью корпуса, а для ног основная функция – ходьба). Есть признаки, такие как «форма соматического объекта» и «размер соматического объекта», которые одновременно относятся к структурным и физическим, так что вышеуказанное деление признаков на группы является в строгом смысле их каталогизацией, а не классификацией.

Каждый из признаков указанных трех классов характеризуется своим набором значений. Среди них наиболее важными для построения семиотической концептуализации тела являются так называемые **выделенные значения**. Выделенными считаются такие значения признака, которые говорят нам что-то не только о свойстве соматического объекта, но и о некоторых свойствах его обладателя (например, психических или социальных), об особенностях той или иной коммуникативной ситуации, в которой данный объект играет существенную роль, или об особенностях культуры и социума, к которым данный человек принадлежит. Например, для признака «размер руки» одним из выделенных значений является значение /длинный/, потому что его стандартное языковое выражение – сочетание *длинные руки* – в ряде случаев говорит нам не только о размере рук, но и о некоторых важных социальных свойствах их обладателя, ср. *Арестом Гусинского власть как нельзя нагляднее продемонстрировала, какие у нее длинные руки*

---

[4] О понятии семиотической концептуализации см. подробно в работах [Крейдлин, Летучий 2006; Аркадьев, Крейдлин, Летучий 2008; Крейдлин 2007; Крейдлин, Переверзева 2009; Кадыкова, Крейдлин 2010].

и долгая память (из газеты «Совершенно секретно»). Для признака «внутренний состав ноги» выделенным является значение /мускулистый/: мускулистые ноги говорят нам о том, что их обладатель – человек, который занимается или занимался спортом. Для признака «цвет глаз» выделенным значением является /красный/, переменный цвет глаз[5]. Когда у человека красные глаза, это может означать, что он испытывает или испытывал сильные внутренние переживания, например, что он плакал от горя. Размер желчного пузыря и два его выделенных значения – /большой/ и /маленький/ - играют важную роль в китайской культуре. Когда китайцы хотят сказать, что человек мужественный, они говорят, что у него большой желчный пузырь, а когда хотят сказать, что у него не хватает мужества, то говорят, что пузырь маленький[6]. Еще один пример: в мусульманских культурах левая рука считается нечистой, «туалетной», а потому многие действия и жесты левой руки в этих культурах табуированы[7]. Между тем в славянских культурах подобные коннотации, связанные с левой рукой, отсутствуют, то есть значения типовых действий левой руки только в некоторых культурах являются выделенными.

3. СОМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОМАТИЗМЫ

Природа фразеологических единиц такова, что они своей необычной экспрессивной формой привлекают внимание адресата к некоторому объекту, событию, свойству или иному фрагменту действительности. Анализ собранного нами материала показывает, что

(1) Хотя в поверхностной структуре фразеологического соматизма может не быть прямого обозначения признака соматического объекта или его значения, в смысловой структуре соматизма всегда представлен не сам объект, а некоторый его признак (некоторые признаки) или его значение (значения). Смысловой темой (в смысле работ Е.В. Падучевой[8]) таких соматизмов является сообщение, непосредственно касающееся данного признака и/или его значения.

Приведем два примера, иллюстрирующие это положение. Во фразеологическом соматизме *в одно ухо влетает, в другое вылетает* актуализуются как минимум следующие структурные признаки уха (ушей): «семиотическая парность ушей»[9], «наличие у уха отверстия», «местоположение ушей на голове», «основная функция» и основной функциональный признак «слышать». Иными словами, речь во фразеологизме идет не об ушах, а о некоторой их особенности, вызванной наличием у ушей данных признаков. Говорится о том, что некоторая информация, попав в ухо (в ушное отверстие), в голове не задержалась и не была услышана[10]. Во фразеологизме *на сердце камень* (*у кого-л.*) актуализуется важнейший функциональный признак сердца, как оно представлено в русской культуре, – «быть хранилищем чувств <как радостных, так и горестных>». Камень символизирует тяжесть, в данном случае – тяжелое чувство. Речь здесь идет не о сердце как физическом органе или части человеческого тела, а о свойстве сердца.

Признак и его значения, которые актуализуются в семантическом представлении фразеологического соматизма, могут составлять для адресата новую информацию или

---

[5] О постоянных значениях признаков соматических объектов (ср. например, значения /карий/ или /голубой/ для признака «цвет глаз») и переменных значениях (ср. /красный/ для того же признака) см. подробно в статье [Кадыкова, Крейдлин 2010].

[6] См. [Ning Yu 2009: 49 -50, 243 -249].

[7] См. [Крейдлин, Переверзева (в печати)].

[8] См., например, [Падучева 1996].

[9] О признаке «семиотическая парность соматических объектов» в противопоставлении признаку «биологическая парность соматических объектов» см. в статье [Крейдлин, Переверзева (в печати)].

[10] Анализ фразеологических соматизмов, в частности, *в одно ухо влетает, в другое вылетает*, позволяет уточнить словарную интерпретацию ряда языковых единиц – в данном случае, глагола *слышать*. *Слышать* – это не просто получать или воспринимать некоторую информацию, но и хранить ее в оперативной памяти (в голове) и, быть может, при этом частично обрабатывать.

напоминать о том, что ему уже известно. Иными словами, интенцией говорящего, использующего в речи такой соматизм, является либо сообщение нового признака или новых значений признака, либо актуализация известного признака и его значений, а тем самым косвенно и соответствующего соматического объекта.

Если более внимательно посмотреть на множество русских фразеологических соматизмов, могут возникнуть вопросы типа: почему существует идиома *как рукой сняло* и нет идиомы **как пальцами сняло*, – ведь реально можно снять что-л. и рукой, и пальцами? Почему мы говорим *зуб на зуб не попадает*? Иными словами, мотивирован ли выбор соматического объекта *зуб* для выражения того смысла, который передает данная идиома. И вообще: случаен или не случаен выбор того или иного соматического объекта для выражения нужного смысла, и если не случаен, то чем он обусловлен? Ответ, который мы даем на эти вопросы, таков:

> (2) В поверхностной структуре фразеологического соматизма присутствие данного соматического объекта не случайно. Наличие его имени во фразеологизме объясняется тем, как в нашем сознании представлен данный объект, его признаки и/или значения признаков, то есть какова семиотическая концептуализация данного объекта.

В качестве иллюстрации этого тезиса приведем ряд примеров. У соматического объекта «рука» есть важное функциональное свойство - брать, держать, удерживать относительно большие предметы, а также осуществлять какие-то другие действия с ними. При этом многое из того, что может делать рука, такая ее часть, как пальцы, делать не может. Пальцы способны удерживать только мелкие предметы, а при манипуляции с более крупными требуется участие более крупных и сильных частей руки, таких как кисть и ладонь. Идиома *как рукой сняло* означает исчезновение некоторого неприятного, патологического, чаще всего тяжелого, состояния (например, болезни или приступа), которое произошло в результате применения некоторых средств (инструментов, орудий), исчезновение, которое наступило вдруг, так сказать, само по себе. А потому в образной составляющей этой идиомы[11] именно рука предстает как адекватный инструмент для выполнения действий, с которыми пальцы справиться не могут. Возможно, в других культурах, в которых рука концептуализуется иначе, на ее место будут подставляться другие объекты, причем не обязательно соматические.

В еще большей степени представляется обоснованным выбор объекта *зуб* в идиоме *зуб на зуб не попадает*. Мы говорим, что у человека *зуб на зуб не попадает*, когда понимаем, что ему холодно, и – главное – слышим проявление такого его состояния. Если реального звука нет, то он представляется[12]. Дрожать от холода, о чем свидетельствуют данные русского языка, могут разные соматические объекты, в частности тело, руки, ноги, пальцы, а также зубы. Слышимый или представляемый как слышимый звук дрожи может возникать лишь от соударения зубов. Информация о том, что звуком телесной дрожи, возникающей под действием холода, является стук зубов, должна, по нашему мнению, содержаться в толковом словаре.

Между тем существуют <квази>синонимические фразеологические соматизмы, в поверхностной структуре которых представлены разные соматические объекты. За счет чего тогда возникает синонимия? В силу сформулированных выше тезисов это становится понятным. У многих соматических объектов есть общие свойства, и синонимия создается за счет актуализации в смысловой структуре фразеологизмов именно этих общих свойств. Рассмотрим единицы *глаза на лоб полезли* и *брови на лоб полезли*. Их синонимия обусловлена обозначением в них идентичного симптоматического жеста[13] –

---

[11] О понятии образной составляющей идиомы см. [Баранов, Добровольский 1998].

[12] О различных противопоставлениях на множестве звуков и звучаний соматических объектов см. статью [Крейдлин, Переверзева 2011]. Одно из центральных противопоставлений - это противопоставление реальных звуков и звуков представляемых, или имажинальных.

[13] Различение коммуникативных и симптоматических жестов было введено в работе [Крейдлин 2002].

знакового движения, обозначающего удивление[14]. А синонимия фразеологизмов *на сердце камень* и *на душе камень* вызвана общностью функций соматических объектов «сердце» и «душа».

Задачи выявления соматических объектов, обладающих общими функциональными (а также структурными, физическими) свойствами, как они представлены в данном естественном языке и данном языке тела, образуют интересный класс задач для лингвистического и семиотического анализа, и построение семиотической концептуализации тела и телесности является важным шагом на пути их решения. Еще более интересной является задача поиска соответствий между такими объектами в разных естественных языках и соответствующих языках тела. Помимо ее теоретической и типологической важности, можно особо отметить ее актуальность и значимость для практики составления многоязычных словарей, а также для перевода и преподавания языка.

4. ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СОМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОМАТИЗМЫ

Еще один теоретический тезис, который мы хотим выдвинуть и обосновать, заключается в следующем:

> (3) Для смысловой интерпретации фразеологического соматизма существенны представленный в нем соматический объект и/или некоторый его признак, а из множества возможных значений этого признака – его выделенное значение (выделенные значения).

Фразеологические соматизмы обладают важным семантико-прагматическим свойством, в общем случае отличающим их от свободных сочетаний с именами соматических объектов: они всегда говорят нам что-то об обладателе данного объекта **именно в связи с этим объектом** (его свойствами, действиями, участием в коммуникативных, поведенческих и иных актах и другими характеристиками), между тем как свободные сочетания с соматическими объектами, не содержащие в поверхностной структуре сведений об их обладателе, могут быть двух видов. В первом случае они характеризуют только сам соматический объект безотносительно к его обладателю. Примером такого рода сочетаний являются единицы *большие уши, римский нос* – едва ли они говорят нам о каких-то иных свойствах обладателей ушей и носа, кроме свойств самих этих частей головы и лица. Во втором случае, указывая признаки объекта, свободные сочетания говорят что-то так же и о его обладателе. Обычно это бывает в тех ситуациях, когда «что-то» есть внутренние свойства человека (психические, рациональные, склонность к каким-то определенным поведенческим моделям или рефлексам), ср. выше пример *красные глаза*. В этом случае, напомним, мы говорим о выделенном значении признака соматического объекта.

Задача смысловой интерпретации фразеологического соматизма не однозначно связана с определением множества выделенных значений признака соматического объекта. Дело в том, что и признаков и выделенных значений у данного объекта может быть (и, как правило, бывает) несколько. А потому важно ответить на вопрос, какое или какие именно выделенные значения актуализуются во фразеологизме.

Иногда выделенные значения признака известны из анализа имен и свободных сочетаний соматических объектов, а иногда рассмотрение фразеологических соматизмов может пополнить множество выделенных значений. Поскольку семиотическая концептуализация тела ранее строилась в основном на языковом материале свободных сочетаний, не исключено, что набор выделенных значений признаков, которые были получены при анализе таких сочетаний, и набор таких же значений, которые удается извлечь в ходе анализа фразеологических соматизмов, будут не совпадать. Несовпадение таких наборов может, в свою очередь, потребовать объяснений, которые помогут глубже понять природу различий свободных сочетаний и идиом.

---

[14] См. [Григорьева, Григорьев, Крейллин 2001].

Сказанное позволяет, как кажется, подойти к решению важной типологической задачи, а именно ответить на вопрос, совпадают или нет обозначения соматических объектов в составе фразеологического соматизма и его переводных эквивалентов. Например, в русском языке есть фразеологизм *ветер в спину*; найдется ли в каком-то другом языке фразеологизм с той же или близкой смысловой структурой, в котором будет представлен переводной эквивалент слова *спина*? Наличие или отсутствие такого фразеологизма покажет, насколько хорошо за соматическим объектом «спина» и ее именами в разных языках закреплены те смыслы, которые закодированы в соответствующих фразеологизмах.

5. АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОМАТИЗМОВ

Описание фразеологических соматизмов удобно начать с разбиения их на классы в соответствии с соматическими объектами и типами соматических объектов, которые в этих единицах представлены. К основным типам соматических объектов[15] относятся: тело (ср. фразеологизмы: *быть в теле*, *спасть с тела*); части тела (*прятаться за чьей-л. спиной*, *повернуться лицом к кому-л./чему-л.*); части частей тела (*и пальцем не пошевелить*, *ноздря в ноздрю*); органы (*кишка тонка*, *с тяжелым сердцем*, *вправлять мозги*); кости (*кусать себе локти*, *пересчитать ребра кому-л.*); телесные жидкости (*моча в голову ударила*, *распустить сопли*); места (*держать ушки на макушке*, *ползать на брюхе*); отверстия (*в одно ухо влетает, в другое вылетает*, *палец в рот не клади*); покровы – волосяной (*рвать на себе волосы*, *на волоске от чего-л.*), кожный (*кожей чувствовать*, *ни кожи ни рожи*), роговой (*прижать к ногтю*, *с младых ногтей*); чужеродные образования на теле (*сыпать соль на раны*, *<как> бельмо на глазу*).

5.1. Фразеологические соматизмы со словом *тело* (тип «тело») и словом *голова* (тип: «части тела»)

К соматическому типу «тело» относится ровно один объект, а именно само тело, обозначаемый стандартно словом *тело*[16]. Соматический тип «части тела» включает в себя много объектов, а их имена морфологически и семантически весьма разнообразны[17]. В качестве примера фразеологических соматизмов с частями тела мы рассмотрим единицы со словом *голова*.

Говоря о теле, люди часто подчеркивают внешние характеристики человека, такие как рост, размер, форму, пропорциональность, ср. *хорошо / пропорционально сложенный*. Последняя характеристика тесно связана с физическим признаком тела, а именно с наличием в нем мяса, жира, костей и др. частей. Например, подчеркивая обилие в теле жира, мы употребляем свободные сочетания *упитанное / полное / округлое тело* или используем фразеологизм *быть в теле*. Если же человек худеет и его внутреннее наполнение уменьшается, то мы говорим не только *похудел*, но и используем фразеологизм *спал с тела*. Фразеологизмы *<быть> в теле* и *спасть с тела* одновременно актуализуют и структурный признак «форма тела», и физический признак «толщина».

---

[15] См. [Крейдлин, Переверзева 2010а]. Список типов соматических объектов не исчерпывается вышеприведенным. Есть соматические объекты и типы объектов, которые плохо освоены бытовым языком, например, это тип, топологически представленный как «нити». К нему относятся объекты и имена *жилы*, *нервы*, *вены*. Это также тип, который условно можно назвать «мясо»; в него входят языковые единицы *мышцы*, *мускулы*, *бицепсы*, *плоть* и некоторые другие. По-видимому, особый тип образуют жир, жировая прослойка, а также разнообразные виды соединительных тканей, как правило, не имеющие стандартных названий в бытовом языке.

[16] Стилистически маркированные обозначения тела, то есть такие слова, как *туша*, *телосложение* или *тельце*, а также обозначения тела, нагруженные дополнительными смысловыми элементами – слова *торс*, *конституция*, *фигура*, *корпус*, *туловище*, *стан* и др. – мы здесь не рассматриваем.

[17] О семантических типах «тело» и «части тела», о слове *тело* и словосочетании *части тела* см. статью [Крейдлин, Переверзева 2010б].

Тело отражается в русской фразеологии не только как составная часть некоторого объекта, но и «как соматический объект, в который входят некоторые другие соматические объекты» (это важный структурный признак телесного объекта). Выше мы говорили о том, что своей необычной экспрессивной формой фразеологизмы привлекают внимание адресата к некоторому объекту, событию, свойству или иному фрагменту действительности, передаваемому данной единицей. Языковой материал здесь как бы отражает логику поведения людей: поскольку привлекать внимание к тому, что тело является объединением самых разных соматических объектов, нет необходимости, то и фразеологизмов, которые бы выражали эту идею, мало. Действительно, в используемом нами корпусе фразеологизмов[18] есть всего лишь одна единица с соответствующим смыслом – *еле-еле душа в теле*. Слово *тело*, впрочем, в этом сочетании имеет иное значение, чем в представленных выше фразеологизмах, – это лексема ТЕЛО 4 ('материально заполненная оболочка тела1', где ТЕЛО 1 – семантический примитив ('остов с руками, ногами, головой и шеей'))[19].

Перейдем к фразеологизмам со словом *голова* и начнем анализ со структурных признаков. В некоторых фразеологизмах актуализуется структурный признак «местоположение головы», а именно то, что голова занимает более высокое положение в теле по сравнению со всеми другими его частями. Ср. фразеологические соматизмы *выше головы* и *с головы до ног* (с вариантом *с ног до головы*) – в последнем выражении подчеркивается также низкое расположение ног. Близкое, но все же не тождественное ему значение имеет другой фразеологизм – *с головы до пят*: здесь слово *пята* обозначает самое низкое положение в теле.

Отметим попутно, что слово *пята* является обозначением другого типа соматического объекта – не «части тела», а «части части тела», а именно части ноги, соприкасающейся с землей при стоячем положении тела (о фразеологизмах с частями частей тела см. ниже). Любопытно, что фразеология может описывать тело все целиком, сверху донизу и снизу доверху, или с самого верху до самого низу, но не может описывать его с самого низа до самого верха – фразеологизма **с пят до головы* не существует.

Тот же структурный признак головы – «<место>положение в теле» – отражается и в динамике телесного поведения. Мы говорим *уйти / окунуться / погрузиться / влезть... с головой* (во что-л.). Зная, что голова – это самая верхняя часть тела, мы понимаем, что фрагмент *с головой* в перечисленных единицах обозначает 'целиком'. То же можно сказать и о фразеологизме *выдать себя с головой*. Кроме того, голова здесь маркирует уровень, до которого происходит погружение[20].

Перейдем теперь к физическим признакам частей тела. У частей тела, равно как у частей частей тела и некоторых других типов соматических объектов, имеется физический признак «наличие поверхности»: мы можем сказать *на руке*, *на ноге*, *на ушах*, *на носу*, *на теле*, имея в виду 'на поверхности' соответствующих объектов. Поверхности разных тел или разных частей тела могут соприкасаться, и это свойство проявляется в ряде фразеологизмов с редупликацией соматических компонентов. В единицах типа *рука об руку*, *нос к носу*, *плечом к плечу*, *голова к голове* и под. соприкосновение поверхностей соматических объектов (реальное или воображаемое, представляемое) передает глубинный смысл близости. Иногда этот смысл конкретизируется, причем в разных случаях по-разному.

Конкретизация может приобретать форму чисто физического контакта – реального, ср. *зуб на зуб не попадает* или воображаемого, ср. *столкнуться нос к носу*. Она же может обозначать порядок в некотором ряду, ср. *стоять плечом к плечу* или единства, ср. *сражаться плечом к плечу*, *идти по жизни рука об руку*. Наконец, идея близости может воплощаться в тексте как физическая близость, ср. *Теперь пассажиры сидели тесно, голова к голове* <...> (И. Ильф, Евг. Петров. Золотой теленок); *А они сидели в*

---

[18] Имеется в виду словарь [Тезаурус 2007].

[19] [Крейдлин 2010].

[20] О свойстве головы служить языковым обозначением уровня (наряду с другими соматическими объектами, такими как пояс (но не поясница!), щиколотка, шея и некоторыми другими), см. диссертацию О. Шеманаевой (Подлесской) и ее работу 2007 г. [Шеманаева 2007: 2008].

глубине коридора, у стенки, <...> сидели плотно, голова к голове, и о чем-то увлеченно говорили (С. Лунгин. Виденное наяву) или как психологическая близость, дружеское или любовное отношение людей, ср. *рука об руку*: *И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, / И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку* (А. Галич. Красный треугольник).

Многие части тела, например живот, грудь, голова, в отдельных единицах интерпретируются как «вместилища» (структурный признак), ср. языковые выражения *урчать в животе* (живот здесь описан как область распространения звука), *сердце бьется в груди*, а также фразеологические сочетания *набить живот*, *в голове не укладывается*, *не умещается в голове*. Последние два сочетания обозначают, что в голову попала некая информация, которая должна там какое-то время храниться («быть хранилищем и органом обработки информации» – это функциональная характеристика головы, см. об этом ниже). В голове такая информация размещается и обрабатывается. Одна ее часть отправляется в долгое хранение (ср. слова *память*, *долговременная память*, которые обозначают орган и место, служащие для длительного хранения информации). Другая ее часть (кратковременная память) должна быть у говорящего все время «под рукой». Она постоянно актуализуется и используется, например, в непосредственном диалоге с собеседником. А третья часть как ненужная выходит из головы, *вылетает из головы*, ср. также фразеологизм *в одно ухо влетает, из другого вылетает*.

Рассматривая функциональные признаки соматического объекта, мы имеем в виду его назначение, участие объекта в важных для человека и его жизнедеятельности процессах, возможность перемещаться или не перемещаться при совершении определенных действий и т. п. Для головы, как было показано (ср., например, работы [Аркадьев 2002; Аркадьев, Крейдлин 2011]), основная функция – это «думать», ср. фразеологические единицы *думать головой*; *голова / башка / черепок / котелок варит*; *с головой*; *иметь голову на плечах*. Напряженные размышления над какой-либо проблемой отражаются во фразеологизме *ломать голову* (*над чем-л.*): глаголом *ломать* здесь передаются серьезные умственные усилия человека, а голова предстает как носитель указанной функции, т.е. аппарат мышления, слишком интенсивное использование которого может привести к поломке.

Особую разновидность функциональных признаков образуют дисфункции – основные нарушения функционирования. Как было показано в работе [Аркадьев, Крейдлин 2011], часто именно сочетания, обозначающие дисфункции, позволяют обнаружить функции данного соматического объекта.

Дисфункции могут быть поданы в языке как (1) временные нарушения разной степени длительности, или, что то же самое, как аномальные состояния, ср. *онеметь*, *отек*, *застыть от испуга*, *страха*, *не чуять ног*, *не чувствовать ног*, или как (2) постоянные нарушения. Это свойства, свидетельствующие об (2а) аномалии, и – в предельном случае – (2б) об отсутствии (реальном или воображаемом) соматического объекта. Временные и постоянные нарушения (за исключением языкового обозначения отсутствия соматического объекта) объединяет то, что они могут отражаться в языке как болезни (вплоть до неизлечимых) или как аномальное внутреннее строение объекта.

Покажем, что во фразеологизмах со словом *голова* представлены все указанные виды нарушений.

Во фразе *Он ринулся к ней сломя голову* речь идет о человеке, который в данный момент не думает, что делает, то есть фраза иллюстрирует временное нарушение нормального функционирования головы. Иногда во фразеологизмах представлена не временная дисфункция, а ее источник или причина, ср. единицу *сломя голову*. Она стоит в одном ряду с выражениями *голова кружится*, *человека завертело, закружило* – все эти единицы **изофункциональны**. Их объединяет то, что, во-первых, каждая говорит о потере самим человеком или какими-то телесными объектами способности нормально функционировать – двигаться, действовать, что-то делать, а во-вторых, что такая неспособность вызвана внешними силами – либо неопределенными, ср. сочетания *<меня> закружило, завертело*, либо потусторонними, ср. выражения *Где тебя черти носят?*; *чертовщина какая-то* и т.п. Русский язык говорит нам о том, что черти в какие-то мо-

менты жизни могут овладевать человеком и заставлять его делать вещи, которые он не хочет делать, т.е. делать что-л. против его воли.

В русской фразеологии аномальное телесное функционирование человека или каких-то соматических объектов представлено очень широко, и наиболее широко – временная дисфункция. Наряду с перечисленными выше выражениями, раскрывающими телесную дисфункцию самого человека, а не какой-то отдельной его части или какого-то органа, существуют единицы типа *выбился из колеи*, *сбился с пути*, *свернул с правильного пути*, в которых дисфункция отображается как уход человека с основной линии жизни, предназначенной судьбой, высшими силами. Причина такого ухода в рассматриваемых единицах прямо не называется, однако она может быть и указана в тексте явным образом, ср. *Улица сбила его с пути.* Начертанный судьбой жизненный путь мыслится как истинный, поэтому когда кто-то *сбился с пути*, говорят, что он *встал на ложный путь* и надо *наставить его на путь истинный*.

Дисфункция головы, связанная с тем, что она плохо думает, представлена в примерах *слаб на голову*, *больной / хромой на всю голову*. Интересно, что прилагательное *хромой*, в своем исходном значении характеризующее неспособность нормально ходить, в переносном значении используется как описание неспособности думать или как интеллектуальная слабость, ср. использование глагола *хромать* в таких сочетаниях, как *хромать по математике*, *он хромает по всем предметам*, описывающих школьную и студенческую учебную деятельность.

Свойства головы, отражающие неспособность ее хорошо думать, представлены сочетаниями *пустая голова*, *дубовая голова*, *дурная голова* (ср. *дурная голова рукам / ногам покоя / покою не дает*). Часто, однако, неспособность думать как функциональное свойство головы является производным от аномального внутреннего строения. Сообщается, что голова набита всем, чем угодно, кроме мозгов, ума – основного органа мышления. По данным русской фразеологии голова может быть наполнена, в частности, жидкой, вязкой и однородной субстанцией, ср. *каша в голове*, или мелкими и обильными отходами от деревообработки, ср. *опилки в голове*[21], *труха в голове*.

Фразеологизмы *каша в голове* и *опилки в голове*, несмотря на изофункциональность, обозначают несколько разные вещи, поскольку за словами *каша* и *опилки* стоят разные представления. Каша – это вязкая однородная масса без какой-либо структуры, а потому пространство мысли, представленное как каша, невозможно структурировать. Опилки – это мелкие деревянные части, не образующие однородной сплошной массы, в отличие от каши, они мыслятся как разрозненные части с промежутками. Каша в голове мешает человеку разглядеть суть явления, выделить в нем главное – то, что нужно для понимания задачи или проблемы. Опилки, как и многие деревянные объекты (см. сноску 13 выше), связаны с неспособностью хорошо думать - с глупостью. Иными словами, коннотации у опилок и каши, проявляющиеся в рассматриваемых фразеологизмах, - разные.

Неправильные, нелепые представления человека о том, как следует себя вести, думать, действовать и т.д., говорящий – субъект оценки – описывает как *У него тараканы в голове*. Если последнее выражение характеризует постоянное свойство человека, то фразеологизм *моча в голову ударила* передает временное помутнение, неспособность в данный актуальный момент мыслить и действовать так, как нужно. Употребление слова *моча* здесь мотивировано характеристиками этой телесной жидкости. В отличие от такой жидкости, как кровь, которая течет внутри тела в разных направлениях, моча всегда течет вниз и, кроме того, уносит с собой различные отходы организма. Фразеологизм подчеркивает смену направления движения мочи: она устремляется в орган мышления и приносит в этот орган некие объекты, мешающие думать, – объекты, которые не должны быть в организме вообще, чтобы не отравить его. Происходит как бы отравление мозга, и потому голова не может выполнять свою основную функцию. Оппозиция

---

[21] Связь идеи дерева и древесности с мыслительной деятельностью человека, ср. *дуб*, *дубина стоеросовая*, *чурка*, *чурбан*, *пень* и др. отмечалась в литературе, см. [Крейдлин 1990].

функций мочи и головы является, кроме того, конкретной реализацией важнейшей семиотической оппозиции «низ» vs. «верх», или «низкое» vs. «высокое».

Не только дисфункция, но и основная функция головы – думать – тоже отражается во фразеологии, ср. *светлая голова*, *голова варит*, *иметь голову на плечах*, *с головой*.

Отсутствие некоторых способностей передается в русском языке как отсутствие телесного объекта. Неумение делать что-то руками выражается прилагательным *безрукий*, неумение или нежелание чувствовать – прилагательным *бессердечный*, а неумение или нежелание думать – прилагательным *безголовый*. Если реально у человека нет руки, его тоже можно назвать *безруким*, но без сердца или без головы человек жить не может. Это означает, что неспособность чувствовать и думать, передаваемая как отсутствие головы, уподобляется полной деструкции человеческого организма. Отсутствие головы часто осмысляется метафорически как неумение или неспособность думать, то есть как неправильное думанье. Помимо слова *безголовый*, используют выражения вида *У него нет своей головы на плечах* или иронически называют кого-то *всадником без головы*[22]; этим хотят сказать, что человек неумный или неспособный думать самостоятельно, то есть думать правильно, так, как нужно.

Неправильное думанье или неумение думать может выражаться также при помощи фразеологических единиц, которые формально говорят не об отсутствии головы, а об отсутствии управляющего центра мыслительной деятельности, содержащегося в голове, ср. фразеологизм *без царя в голове*. Рассогласование целостной системы тела человека тоже может выражаться в русском языке при помощи фразеологизмов со словом *голова*, ср. *не дружить с головой* – здесь имеется в виду, что голова функционирует отдельно от остальных соматических объектов и при этом неправильно думает. Если один человек говорит другому *Думай головой*, то это означает, что говорящий считает, что до данного момента адресат либо не думал вообще, либо думал неправильно, и побуждает адресата использовать голову как максимально функционально предназначенный для этого соматический объект, ср. – *Ты че, совсем плохая, ты думай головой, мы же двух дней с тобой не проживем* (С. Солоух. Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева). В обоих случаях неправильное думанье приводит к неправильному поведению.

Голова – настолько важный соматический объект, что не удивительно существование в языке метонимического (синекдотического) переноса с человека (целое) на голову (часть), причем этот перенос может быть по разным компонентам. Метонимический перенос широко представлен во фразеологизмах, ср. *свалить с больной головы на здоровую* и *через голову*. Есть также редко встречающиеся сочетания *с одной головы на другую*, *с головы на голову*. Кроме того, возможен перенос с аспектов жизнедеятельности человека на аспекты деятельности головы. О мыслительной деятельности головы мы уже говорили; возможен также перенос по компоненту «жизнь», ср. *лишиться головы* (в значении ‘лишиться жизни’), *голову оторву*. Выражение *голову оторву* обозначает речевой акт угрозы: реально лишить человека жизни (например, так бывает в сказках) или подвергнуть человека серьезному наказанию (уподобляемому лишению жизни). Перенос может быть и по компоненту «темперамент человека», который проявляется в поведении, ср. *шальная голова*, *ветреная голова*, *потерять голову*. Фразеологизм *потерять голову* имеет два значения, и в обоих реализациях этих значений чувства, охватившие человека, настолько доминируют над мыслью, что мешают ему здраво думать и рассуждать. Так, можно *потерять голову* из-за негативного чувства, охватившего человека целиком, такого как страх. Но можно *потерять голову* и от любви, и в этом случае человек не способен ни думать нормально, ни вести себя в разных ситуациях так, как ведут себя обычно люди, не испытывающие в данный момент такого чувства.

Наряду с функцией «думать» у головы, как мы уже говорили, есть и другая важная функция, связанная с еще одной рациональной, когнитивной деятельностью – «быть хранилищем и органом обработки информации». Голова может плохо выполнять и такую

---

[22] Это выражение часто встречается в учительском дискурсе.

функцию, ср. неоднократно упоминавшееся сочстание *в одно ухо влетает, в другое вылетает*, а также фразсологизмы, где слово *голова* упомянуто эксплицитно, ср. *в голове не задерживается*, *из головы вон*. Думать и помнить часто легче, чем не думать и забыть. По-видимому, поэтому языковых выражений, реализующих две когнитивные функции головы, суммарно больше, чем выражений, реализующих соответствующие им дисфункции.

Отметим одну особенность, относящуюся к функциональным признакам частей тела (а скорее всего, и ко многим другим типам соматических объектов) или к признакам дисфункции, – это связь функции (дисфункции) со структурными признаками. Например, дисфункция головы, выраженная в неспособности думать, может, как мы показали, отражаться на поверхностном уровне через появление в голове посторонних объектов: опилок, тараканов, каши и т. п. Иными словами, дисфункция (и соответственно функция) головы сопряжена с ее структурной особенностью, а именно с тем, что она служит вместилищем для определенных объектов. Если эти объекты «правильные», то есть такие, как положено иметь в голове, например ум или мозги, то голова функционирует хорошо, а если «неправильные», то плохо.

Сказанное верно и для других соматических объектов (необязательно частей тела) – тех, которые, как и голова, имеют некоторую функционально нагруженную полость. Такая полость внутри соматического объекта играет важную роль в реализации его основной функции. Заметим, что часто и полость и сам соматический объект называются в языке одинаково. Действительно, *говорить на ухо* – это говорить, приближаясь ртом к ушному отверстию другого человека. Фраза *слова вылетели изо рта* означает, что они вылетели из ротового отверстия. А в таких свободных сочетаниях, как *повесить на ухо*, *родинка возле рта*, *синяк под глазом*, *ухо*, *рот* и *глаз* имеют значения, отличные от 'полости', и указывают на сам соматический объект.

Как и в случае головы, заполнение полости «неправильными» объектами приводит к нарушению функции соответствующих частей тела, частей частей тела и др., причем именно основной функции – той, что делает телесные объекты органами (слуха, речи, зрения), ср. выражения: *уши ватой забиты*, *в ушах бананы*, то есть 'уши не слышат', *воды в рот набрать*, то есть 'не говорить', *в глаза как песку насыпали*, то есть 'трудно видеть'.

Для соматических объектов, которые по природе не являются вместилищем, но могут в контексте интерпретироваться как вместилища, и у которых некоторая функция тесно сопряжена с возможностью подобной интерпретации, существенно, какой величины объекты могут входить во вместилище. Например, основная функция руки - держать и удерживать предметы. Реализуется эта функция обхватыванием предмета пальцами с разных сторон, причем рука в этом случае интерпретируется как вместилище для обхватываемых предметов (в терминологии Л.Н. Иорданской данная информация является аспектом рассмотрения <говорящим> данной части тела[23]). Ср., например, идому *взять себя в* руки или образное свободное сочетания из «Бури» Шекспира: *Фердинанд говорит Миранде: – Вот тебе моя рука. Она отвечает: – А вот моя. И сердце в ней.*

5.2. Типы соматических объектов: «части частей тела»

Хотя во многих отношениях имена частей частей тела отличаются по своим языковым свойствам от имен частей тела, анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показывает, что имена частей частей тела во фразеологических соматизмах ведут себя примерно так же, как имена частей тела. Прежде всего это касается проявления физических и функциональных свойств. Однако у первых есть по меньшей мере один структурный признак, отличающий их от вторых, – это «быть составной частью соматического объекта, относящегося к типу "частей тела"».

Обладание этим признаком влечет за собой вопросы о существовании определенных семантических отношений между фразеологическими соматизмами в их семантической классификации. В частности, возникают следующие вопросы: есть ли в русском языке

[23] См. [Иорданская 2004: 397 и сл.].

гипо-гиперонимические отношения между такими соматизмами (ответ на этот вопрос положительный, ср. *поставить на уши* и *поставить на голову*); есть ли в нем отношения квазисинонимии и синонимии на множестве фразеологических соматизмов (и тут ответ положительный, ср. *трогать за душу* и *трогать за сердце*; *бровью не повести* и *ухом не повести*, *иметь за спиной* и *иметь за плечами*, *сжать кулаки* и *стиснуть зубы*, *высунув язык* и *без задних ног*); имеются ли отношения квазисинонимии между двумя фразеологизмами с ковидовыми именами частей частей тела (ср. *брови на лоб полезли* и *глаза на лоб полезли*); бывают ли отношения антонимии или паронимии между фразеологическими соматизмами (ср. антонимичные сочетания *из первых рук* и *из вторых рук*). Наконец, ответ на вопрос, можно ли упорядочить фразеологические соматизмы по степени их семантической близости или сходства, вводя ту или иную меру близости (соответственно сходства), тоже положительный.

Все эти вопросы относились к парадигматике фразеологических соматизмов. Есть, однако, по меньшей мере, один важный вопрос, относящийся к их синтагматике, то есть к отношениям, возникающим между фразеологическими соматизмами в тексте. Его можно сформулировать как вопрос о возможности контекстной заменимости имени части части тела на имя части тела и наоборот – с сохранением смысла исходного фразеологизма и не выходя за пределы множества фразеологических единиц данного языка. В частности, можно ли объяснить, почему предложения *Он погрозил ей пальцем* и *Он погрозил ей кулаком* не синонимичны (то есть *палец* и *кулак* не взаимозаменимы), а предложения *Они взяли его за горло* и *Они взяли его за глотку* синонимичны.

Ответы на эти и подобные вопросы являются частью сложной проблемы описания метонимических (синекдотических) отношений на множестве фразеологических соматизмов и, шире, фразеологизмов вообще: какие метонимические замены обеспечивают их синонимию, а какие нет. В настоящей работе эта проблема не решается.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью настоящей статьи было обоснование трех теоретических тезисов, относящихся к форме и смыслу фразеологических соматизмов, а также анализ значения и употребления некоторых фразеологических соматизмов, иллюстрирующий истинность или, по крайней мере, правдоподобность сформулированных тезисов.

Был поставлен вопрос о соотношении признаков соматических объектов и их значений в составе фразеологических соматизмов. Показано, что для выражения и понимания смысла, а также для правильного употребления фразеологического соматизма нужно знать признаки и выделенные значения признаков представленного в нем соматического объекта.

Сформулированные теоретические положения мы проиллюстрировали примерами фразеологизмов с тремя типами соматических объектов: «тело», «части тела» и «части частей тела». Обращение к двум последним типам объектов связано с тем, что именно они представлены в подавляющем большинстве русских фразеологических соматизмов. За пределами статьи остались фразеологизмы с именами соматических объектов, относящихся к другим типам.

В ходе анализа главное внимание было обращено на признаки соматических объектов – структурные, физические и функциональные – и на выделенные значения этих признаков. Из функциональных признаков особое место в работе заняло исследование дисфункций, то есть нарушений обычного, нормального функционирования соматического объекта, и языковых отображений дисфункций в тексте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аркадьев 2002 – *П.М. Аркадьев*. Полисемия названий головы в славянских и германских языках в типологическом и историческом аспектах // Московский лингвистический журнал. 2002. 6/1.

Аркадьев, Крейдлин 2011 – *П.М. Аркадьев, Г.Е. Крейдлин*. Части тела и их функции (по данным русского языка и русского языка тела) // Сборник научных работ к 80-летию Ю.Д. Апресяна. М., 2011.

Аркадьев, Крейдлин, Летучий 2008 – *П.М. Аркадьев, Г.Е Крейдлин, А.Б. Летучий.* Семиотическая концептуализация тела и его частей. I. Признак «форма» // ВЯ. 2008. № 6.

Баранов, Добровольский 1998 – *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский.* Внутренняя форма идиом и проблема толкования // ИАН СЛЯ. 1998. № 1.

Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001 – *С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, Г.Е. Крейдлин.* Словарь языка русских жестов. Москва; Вена, 2001.

Иорданская 2004 – *Л.Н. Иорданская.* Лингвистика частей тела // Семиотика, лингвистика. поэтика: К столетию со дня рождения А.А. Реформатского. М., 2007.

Кадыкова, Крейдлин 2010 – *А.Г. Кадыкова, Г.Е. Крейдлин.* Части тела в русском языке и в русской культуре: признак «цвет» // Вестник РГГУ (Московский лингвистический журнал). 2010. № 9/52 (Т. 12).

Крейдлин 1990 – *Г.Е. Крейдлин.* Некоторые пути и типы метафоризации слов в языке // Н. Д. Арутюнова (ред.). Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.

Крейдлин 2002 – *Г.Е. Крейдлин.* Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. М., 2002.

Крейдлин 2007 – *Г.Е. Крейдлин.* Лексикография жестов и их номинаций (словари и базы данных) // Материалы VII Междунар. школы-семинара «Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения». Иваново, 2007.

Крейдлин 2010 – *Г.Е. Крейдлин.* Тело в диалоге: семиотическая концептуализация тела (итоги проекта). Часть 1: тело и другие соматические объекты // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Междунар. конф. «Диалог» (Бекасово, 26–30 мая 2010 г.). М., 2010. Вып. 9 (16).

Крейдлин, Летучий 2006 – *Г.Е. Крейдлин, А.Б. Летучий.* Концептуализация частей тела в русском языке и в невербальных семиотических кодах // Русский язык в научном освещении. 2006. № 12 (2).

Крейдлин, Переверзева 2009 – *Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева.* Признак «ориентация части тела» в семиотической картине мира // А.М. Молдован (отв. ред.). «Слово – чистое веселье»: Сб. статей в честь А.Б. Пеньковского. М., 2009.

Крейдлин, Переверзева 2010а – *Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева.* Семиотическая концептуализация тела и его частей. I. Классификационные и структурные характеристики соматических объектов // Вопросы филологии. 2010. № 2 (35).

Крейдлин, Переверзева 2010б – *Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева.* Семиотическая концептуализация тела и его частей: тело, части тела и телесность // Теоретические и прикладные аспекты современной филологии: материалы XV Всероссийских филологических чтений имени проф. Р.Т. Гриб (1928 – 1995). Красноярск, 2010.

Крейдлин, Переверзева (в печати) – *Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева.* Body parts and their names in Russian: the biological and semiotic pairs of body parts // Proceedings of the 24th Conference of Scandinavian linguistics. August 25–27, 2010. Joensuu, (в печати).

Крейдлин, Переверзева 2011 – *Г.Е. Крейдлин, С.И. Переверзева.* Основные противопоставления на множестве телесных звуков // Вестник РГГУ (Московский лингвистический журнал). 2011. № 11/73 (Т. 13).

Падучева 1996 – *Е.В. Падучева.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Тезаурус 2007 – *А.И. Баранов, Д.О. Добровольский* (ред.). Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М., 2007.

Шеманаева 2007 – *О.Ю. Шеманаева.* Конструкции измерения уровня с предлогом *по* в русском языке // НТИ. Сер. 2. Информ. процессы и системы. М., 2007. № 4.

Шеманаева 2008 – *О.Ю. Шеманаева.* Конструкции размера в типологической перспективе: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2008.

Ning Yu 2009 – *Ning Yu.* From body to meaning in culture. Amsterdam; Philadelphia, 2009.

Сведения об авторах:

Анастасия Дмитриевна Козеренко
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
akozerenko@mail.ru

Григорий Ефимович Крейдлин
Российский государственный гуманитарный университет
gekr@iitp.ru

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. Ю. КОНУМА

ПОНЯТИЕ СУПЕРЛЕКСЕМЫ И АСПЕКТУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНСКОГО ГЛАГОЛА*

В истории изучения японского глагольного аспекта внимание исследователей сосредоточивается на форме на *-te-i-*, которая может иметь и прогрессивное, и статально-перфектное (результативное) значение. В последние десятилетия ряд исследователей констатирует наличие в японском языке грамматической категории вида, выражаемой оппозицией формы на *-te-i-* (имперфектив) и формы без *-te-i-* (перфектив). В статье в качестве словоклассифицирующей категории, находящейся в тесном взаимодействии с семантикой формы на *te-i-*, рассматривается категория каузатива, основанная на понятии суперлексемы (А.А. Холодович). К рассмотрению предлагается модель японского глагольного аспекта, в соответствии с которой центром аспектуальности являются суперлексемы, состоящие из каузатива, имеющего в форме на *-te-i-* прогрессивное значение, и декаузатива, являющегося в данной форме результативом, иными словами, из предельной ситуации и соответствующего результирующего состояния.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящена нескольким актуальным вопросам, касающимся японского глагола. Прежде всего она содержит обзор истории изучения японского глагольного аспекта в Японии с целью представить основную проблематику японской аспектологии, в центре внимания которой в последние десятилетия находится вопрос о наличии соответствующей грамматической категории, ее структуре и средствах выражения. Ввиду того, что для успешного решения данного вопроса необходимо сформулировать "системное основание" для трактовки категории вида[1] и выявить аспектуально релевантную классификацию глагола, во второй части работы (раздел 4) японский глагол рассматривается именно в данном ракурсе. Здесь, как представляется, существенную роль играет понятие суперлексемы, предложенное А.А. Холодовичем в его посмертно опубликованной монографии «Глагол в современном японском языке» [Холодович 1979б: 8–172].

Прежде чем начать обзор истории изучения японского глагола в Японии, приведем общую характеристику порядка расположения в глагольной словоформе тех морфем, которые актуальны для настоящей статьи (см. Таблицу 1)[2]. Полная картина порядка

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (Тематический план фундаментальных НИР СПбГУ); автору также хотелось бы выразить искреннюю благодарность Национальному институту исследований японского языка в Токио, в частности сотрудникам его библиотеки за понимание и поддержку в процессе подготовки данной статьи.

[1] В настоящей работе под «категорией вида» понимается «наиболее грамматикализованная часть поля аспектуальности» [Маслов 2004: 326] и соответственно под «видом» – аспектуальные граммемы, объединенные в грамматическую категорию. Аспектуальное значение при этом понимается как семантика, относящаяся к семантическому полю аспектуальности.

[2] Японская глагольная словоформа обнаруживает смешение черт агглютинативного и флективного строя, поскольку в ней наблюдаются проявления фузии. Вследствие этого (и в силу некоторых других причин) значительную трудность представляет теоретически последовательное морфемное членение глагольной словоформы. Как показано в [Холодович 1979б: 19–28], возможны разные подходы к данному вопросу. Таким образом, сегментация глагольной словоформы, представленная в настоящей работе, не является единственно возможным решением.

расположения морфем в глагольной словоформе является намного более сложной, чем фрагмент, представленный в Таблице 1. Что касается несоставных глагольных синтаксем, в грамматике порядков, представленной в [Алпатов 1983: 27–29], выделено 20 порядков, в которых располагаются такие морфемы, как показатели дезидератива, гоноратива, адрессива, долженствования, отрицания и т.п. Предлагаются также довольно сложные правила сочетаемости и несочетаемости между порядками и/или подпорядками [Там же: 29–30]. Поскольку в настоящей работе рассматриваются главным образом категории каузатива и аспектуальности, в Таблице 1 представлены исключительно показатели, связанные с данными категориями. Следовательно, перед порядком 0, а также между приведенными в Таблице 1 порядками могут иметь место и другие порядки. Исключением является последовательность 0–1–2 (основа – суффикс каузатива – суффикс антикаузатива): интеркаляция других порядков в данную последовательность невозможна.

Таблица 1[3,4]

Порядок расположения морфем внутри глагольной словоформы

0	1	2	3	4	5
основа глагола	Ø[4] суффикс каузатива *-(sa)s-*	Ø суффикс антикаузатива *-(ra)r-*	Ø показатели разных качественно-аспектуальных значений *-te-k-* *-te-ik-* *-te-shima-* *-te-ok-*	Ø показатели прогрессива и/или результатива *-te-i-* *-te-ar-* *-tsutsu-ar-*	суффиксы темпоральности *-u-* *-ta-*

Глагольная форма при помощи суффикса каузатива может обозначать фактитивное, пермиссивное или ассистивное значение (см. [Холодович 1969: 291–293]). Антикаузативная морфема[5] имеет пассивное или потенциальное значение[6].

Суффиксы *-u-* и *-ta-* в порядке 5 имеют отношение к выражению темпоральности: форма на *-u-* трактуется как форма непрошедшего времени, форма на *-ta-* – как форма прошедшего времени. Один из показателей с темпоральной семантикой обязательно должен присутствовать в глагольной форме изъявительного наклонения, если она является финитной.

В традиции японистики форманты[7], следующие за суффиксом *-te-*[8], считаются вспомогательными глаголами, а сочетания последних с основой глагола, включающей

---

[3] Данная таблица составлена на основе таблицы, представленной в работе [Soejima 2007: 12].

[4] В Таблице 1 «Ø» обозначает, что возможен случай, когда ни один из показателей, относящихся к данному порядку, реально в словоформе не представлен.

[5] О полисемии антикаузативных морфем см. [Недялков В., Сильницкий 1969: 40–43].

[6] Антикаузативная морфема в потенциальном значении имеет формальный вариант *-e-*. В данном значении помимо двух литературных вариантов используется также вариант *-re-*, который не квалифицируется как нормативный. Ряд авторов усматривает наличие в японском языке двух омонимичных суффиксов: суффикса пассива и суффикса потенциалиса (см., например, [Алпатов и др. 2008: 122–127, 134–140; Лаврентьев 2009: 181–196, 210–219]).

[7] Об аглютинативном форманте и классификации морфем в японском языке см. [Алпатов и др. 2008: 61–64].

[8] Суффикс *-te-* чередуется с *-de-*, обнаруживая зависимость от последнего согласного в предшествующей форме глагола. Несколько условно в настоящей работе данный суффикс графически обозначается как «*-te-*».

суффикс *-te-*, – аналитическими формами глагола. В настоящей работе условимся называть такие сочетания «формами на *-te-*».

Когда речь идет о глагольном аспекте, большинство японских исследователей обращают внимание на морфемы в порядках 3, 4 и 5. Относительно порядка 4: форма на *-te-i-* образуется путем присоединения к суффиксу *-te-* форманта, восходящего к глаголу бытия *iru*[9] ('быть', 'существовать' при одушевленном субъекте), форма на *-te-ar-* – к глаголу бытия *aru* ('быть', 'существовать' при неодушевленном субъекте). Относительно порядка 3: формант *-k-* в форме на *-te-k-* восходит к глаголу *kuru* (глагол движения по направлению к говорящему – 'приходить, идти сюда'), *-ik-* в форме на *-te-ik-* – к глаголу *iku* (глагол движения по направлению от говорящего – 'уходить'), *-shima-* в форме на *-te-shima-* – к глаголу *shimau* ('заканчивать', 'завершать'), *-ok-* в форме на *-te-ok-* – к глаголу *oku* ('класть', 'ставить'). Форма на *-tsutsu-ar-* в порядке 4 образуется путем присоединения *-ar-* (восходящего к глаголу бытия *aru*) к форме на *-tsutsu-*, которая, функционируя как деепричастие, обозначает одновременность с другим действием[10].

Рассматривая работы японских авторов, следует отметить следующее немаловажное обстоятельство. Многие из них при использовании японского как метаязыка в лингвистических трудах употребляют слоговые графические знаки, в том числе и для описания японских морфем. В силу этого морфемы глагольной формы, в которой имеет место фузия, не передаются графикой с необходимой степенью точности. Данная особенность, как предполагается, оказывает влияние на взгляды японских авторов относительно морфемики японского глагола. Чтобы дать (русским читателям) представление о данной ситуации, в настоящей статье при обсуждении работ японских исследователей принимается следующий вид записи: согласный в японском слоге обозначается прописной (латинской) буквой, гласный в том же слоге – строчной, однако в тех случаях, когда слог состоит из одиночного гласного, данный гласный также передается прописной буквой. *Ta*, например, соответствует одной японской графической единице た /ta/ и тем самым показывает, что в соответствующей японской графической единице гласный и согласный данного слога отдельно не описываются. В частности, используемое в настоящей работе графическое изображение «форма на *-TeIKu*» (соответствует японскому написанию «て い く» (て /te/, い /i/, く /ku/) отличается от записи: «форма на *-te-ik-u*», передающей реальное морфемное членение. Как видим, при традиционном графическом изображении, принятом в японском письме, морфемный шов между *-ik-* и *-u* графически не выявляется.

2. ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО АСПЕКТА В ЯПОНИИ

Историю изучения глагольного аспекта в Японии можно разделить на три периода. Принято считать, что основательному изучению данной проблематики положила начало статья Х. Киндаити 1950 г. [Kindaichi 1976: 5–26]. Однако поскольку до нее уже существовал ряд работ, на которые Киндаити опирался, время до этой публикации целесообразно отнести к первому периоду, который можно назвать п о д г о т о в и т е л ь н ы м э т а п о м в учении о японском глагольном аспекте.

Отметим некоторые примечательные работы, созданные в данный период.

---

[9] В этой работе глагольная лексема представляется в принятой словарной форме – форме на *-u*.

[10] В вышеуказанных формах на *-te-* в непринужденной устной речи между [te] и первым звуком следующего форманта с высокой частотностью наблюдается ассимиляция: форма на *-te-i-* непрошедшего времени *-te-i-ru* произносится как [-teru], та же самая форма прошедшего времени *-te-i-ta* произносится как [-tcta]; форма на *teok-* непрошедшего времени *-te-ok-u* произносится как [-toku]; форма на *-te-shima-* непрошедшего времени *-te-shima-u* произносится как [-chau] и т.п.

Д. Мацусита в работе 1924 г. впервые отделил форму на *-TeIRu*[11] от категории времени и определил ее как форму, указывающую на некий отрезок протекания действия во времени. Согласно автору, форма на *-TeIRu* «обозначает результат полностью или частично завершенного действия[12], обозначенного глаголом» [Matsushita 1924: 376].

Ё. Кобаяси в работе 1927 г. выделяет из категории времени категорию *doosa-tai* 'виды действия'[13]. *Doosa-tai* является «объективной дифференциацией действия, обозначенного глаголом», тогда как «прошедшее, настоящее и будущее – это виды субъективного познания ситуации» говорящим [Kobayashi 1927: 410]. Ё. Кобаяси рассматривал теоретические проблемы глагольного аспекта, опираясь главным образом на исследования аспекта и времени в индоевропейских языках. Однако, несмотря на обращение к традициям европейской грамматики, в отношении японского языка автор придерживается традиционного для японской грамматики понимания слова, согласно которому глагол расценивается как носитель лексического значения, а его грамматические значения реализуются отдельно от него при помощи «вспомогательных слов», которые в европейской грамматике могли бы быть классифицированы как аффиксы. Иными словами, автор не применил к японскому материалу понятие словоформы. Он относил *doosa-tai* к категориям «вспомогательного темпорального слова», но не к категориям глагола, что будет подвергнуто критике в монографии К. Сакумы 1936 г. [Sakuma 1983].

К. Сакума в данной работе, ссылаясь на работу Ё. Кобаяси, обратил внимание на то, что одно и то же «вспомогательное слово» *TeIRu* обозначает и результативное (при присоединении к одним глаголам), и прогрессивное значение (в случае присоединения к другим). Из этого, как полагает автор, следует, что то или иное значение категории *doosa-tai* реализуется не во вспомогательном слове, а вследствие его присоединения к глаголу [Sakuma 1983: 167]. Автор отмечает также, что действия, обозначаемые теми глаголами, которые в формах на *-TeIRu* передают процесс действия, сами обладают семантикой длительности, тогда как действия, обозначаемые теми глаголами, которые в формах на *TeIRu* выступают в результативном значении, являются моментальными [Ibid.: 168]. Таким образом, К. Сакума впервые в Японии связал семантику аспектуальности с глагольной основой, введя тем самым аспект в круг глагольных категорий. Его работа оказала сильное влияние на исследование Х. Киндаити 1950 г.

Второй период открывает вышеупомянутая статья Х. Киндаити 1950 г. [Kindaichi 1976: 5–26]. Х. Киндаити, развивая идею К. Сакумы об аспектуальных значениях в глагольных словоформах, обнаруживает некую скрытую грамматику в лексических значениях глаголов. Основное достижение его работы 1950 г. заключается в том, что автор выдвинул аспектуально релевантную классификацию, охватывающую все японские глаголы: «...Мне хотелось бы предложить классификацию глаголов по типам протекания во времени обозначаемых ими действий. Ее можно было бы назвать классификацией японских глаголов с точки зрения аспекта» [Ibid.: 7]. Х. Киндаити разделил глаголы на четыре типа в соответствии с ответами на два поставленных вопроса: во-первых, употребляются ли они в формах на *-TeIRu*, и во-вторых (в случае положительного ответа), какое аспектуальное значение порождается в данных формах. Результирующие группы глаголов:

---

[11] В Японии формы на *-te-* принято писать вместе с финитной формой вспомогательного глагола непрошедшего времени на *-u-*, и при таком описании, например, обозначение «форма на *-TeIRu*» соответствует обозначению «форма на *-te-i-ru* и форма на *-te-i-ta*», т.е. «форма на *-te-i-* в непрошедшем и прошедшем времени».

[12] Говоря о «полностью» и «частично завершенных действиях», Д. Мацусита имеет в виду статальный перфект (результатив) и прогрессив соответственно.

[13] Слово *tai* (態) некоторые японские авторы употребляют в качестве словообразовательного суффикса в конце терминов, означающих то или иное аспектуальное значение. В настоящей работе данный суффикс условно переводится на русский язык как *вид*, но первое (*tai*) не является терминологическим эквивалентом последнего.

1. Первая группа: *jootai-dooshi* ‘глаголы состояния’.

Глаголы данной группы не употребляются в формах на *-TeIRu*. Они обозначают ситуацию, понимаемую «вне времени» или как «первичное состояние» (см. [Маслов 2004: 400]) – состояние, не предполагающее предшествующего предельного действия, например:

aru ‘существовать’, ‘находиться’ (при неодушевленном субъекте), *iru* ‘существовать’, ‘находиться’ (при одушевленном субъекте), *dekiru* ‘мочь’ и т.п.; все производные потенциальные глаголы с аффиксом *-(rar)e-*; сложные глаголы, образуемые путем присоединения глагола *sugiru* ‘превышать’ к прилагательному: *ooki-sugiru* ‘быть слишком большим’ и т.п.

2. Вторая группа: *keizoku-dooshi* ‘процессуальные глаголы’.

Ко второй группе относятся глаголы, обозначающие действие, которое длится в течение некоторого времени. Они в формах на *-TeIRu* представляют действие как процесс, действие в развитии:

yomu ‘читать’, *kaku* ‘писать’, *utau* ‘петь’, *nomu* ‘пить’, *osu* ‘толкать’, *aruku* ‘шагать’, *hataraku* ‘работать’, *huru* ‘идти (о дожди, снеге и т.д.)’ и т.п.

3. Третья группа: *shunkan-dooshi* ‘моментальные глаголы’.

Глаголы третьей группы обозначают действие, которое реализуется мгновенно, завершаясь непосредственно после своего возникновения. Глаголы третьей группы в формах на *-TeIRu* обозначают, что «действие завершено, но его результат остается» [Маслов 2004: 8]:

sinu ‘умирать’, *tsuku* ‘загораться’ (об огне или электричестве), *tomaru* ‘останавливаться’, *kekkon-suru* ‘жениться, выходить замуж’, *siru* ‘узнавать’ и т.п.

4. Четвертая группа: *dai-yonshu-no-dooshi* ‘глаголы четвертого типа’ («подходящего названия для данной группы мне в голову не приходит, поэтому я называю ее “глаголами четвертого типа”» [Там же: 9]).

Глаголы данного типа употребляются исключительно в формах на *-TeIRu* и представляют состояние как результат завершения действия, обозначаемого глаголом, в чем они обнаруживают сходство с моментальными глаголами. Однако момент завершения действия находится, согласно автору, «вне времени», иными словами, данное состояние представляется как постоянный признак субъекта, в чем они оказываются сходными с глаголами состояния[14]:

sobieru ‘возвышаться’, *niru* ‘становиться похожим’, *sugureru* ‘превосходить’ и т.п.[15]

Большинство японских глаголов относятся ко второй или третьей группе[16] данной классификации и в формах на *-u* (без *-te-i-*) не могут обозначать настоящее актуальное.

Классификацию Х. Киндаити, подвергшуюся в дальнейшем критике ряда авторов, следует расценить как важную веху на пути изучения японского глагольного аспекта, поскольку она показала, под каким углом зрения нужно описывать структуру поля аспектуальности японского глагола. Нельзя не признать, что соотношение между лексико-грамматической системой глагола и семантикой глагольных форм на *-te-i-* составляет ядро системы японского глагольного аспекта, какую бы периферию ни прибавили к нему будущие исследователи.

Второй период, начавшийся со статьи Х. Киндаити, К. Соэдзима называет «этапом лексикографического описания глагольного аспекта» [Soejima 2007: 34]. Последователи Х. Киндаити работали в направлении внесения поправок в его классификацию и ее доработки. В центре внимания исследователей находились формы на *-TeIRu*, *-TeARu*,

---

[14] Значение формы на *-te-i-* глаголов данной группы А.А. Холодович называет квазирезультативом [Холодович 1979а: 22].

[15] Вышеприведенные примеры взяты из [Kindaichi 1976: 9–10].

[16] В дальнейшем в настоящей работе мы будем следовать классификации Х. Киндаити; так, под «первой группой глаголов» понимается соответствующая группа по этой классификации, и т. д.

TeSHiMaU, *-TeKuRu*, *-TeIKu*, *-TeOKu*. Основной метод исследования состоял в отдельном описании значений и типов употреблений каждой формы при анализе очень большого по объему языкового материала, главным образом письменного. Такое описание не давало целостной картины семантики аспектуальности японского глагола, хотя оно было необходимо для дальнейшего систематического изучения категории аспекта в целом.

Начало третьему периоду положили статьи 1977 и 1978 г. Я. Окуды – лингвиста, возглавлявшего «Гэнго-гаку кэнкюу-каи» (Общество лингвистических исследований), организованное в 1956 г. Во второй половине XX в. японская лингвистика развивалась в нескольких направлениях: различаются главным образом направления, придерживающиеся японской лингвистической традиции, и направления, испытывающие влияние генеративизма. «Общество» отличается тем, что оно, будучи особенно внимательным к советской лингвистике, активно использовало учение о словосочетании В.В. Виноградова и применило его к материалу японского языка. Главным направлением его деятельности являлось создание новой грамматики японского языка и реформирование его преподавания в школе. «Общество» критически относилось к традиционному описанию морфологии японского языка, в котором основа глагола и его аффиксы рассматриваются как отдельные синтаксические единицы, утверждая, что в предложении значение той или иной грамматической категории глагола реализуется в словоформе[17], взятой как целое, а не в каком-либо отдельном ее компоненте[18]. Под руководством Я. Окуды в деятельности «Общества» принимали участие такие лингвисты, как С. Судзуки, Т. Такахаси, М. Кудоо - именно они в основном и развивали японскую аспектологию в третий период, будучи солидарны друг с другом в том, что в японском языке имеется категория вида, проявляющая себя в оппозиции «*SuRu – SHiTeIRu*[19]».

Данная оппозиция впервые в Японии была признана видовой в статье С. Судзуки 1957 г. [Suzuki 1976], в которой автор назвал *SuRu* формой основного вида[20], а *SHiTeIRu* формой длительного вида, не комментируя, однако, в чем состоит «базисность» первой формы по отношению к последней [Ibid.: 65–66]. Однако исследования японского глагольного аспекта, опирающиеся на признание данной оппозиции, легли в основу магистрального направления в японской аспектологии не сразу после выхода в свет статьи С. Судзуки 1957 г., а несколько позже – после появления статей Я. Окуды 1977 и 1978 г. [Okuda 1985].

В этих статьях Я. Окуда критикует работы Х. Киндаити 1950 г. и его последователей за их «методологический недостаток»: в них форма *SHiTeIRu*, признанная грамматической, не рассматривается в противопоставлении какой-либо другой форме, которая вместе с ней составляла бы грамматическую категорию. Автор утверждает, что если форму *SHiTeIRu* признать грамматической, то она должна иметь свою оппозитивную форму [Ibid.: 89], и в качестве таковой предлагает форму *SuRu*, которая, как он пишет, «не расчленяет обозначенную глаголом ситуацию, а репрезентирует ее как целостную» [Ibid.: 100]. Значение целостности автор постулирует в данной форме на том основании, что она не может обозначать актуального настоящего. Он дает формам *SuRu* и *SHiTeIRu*

---

[17] Справедливости ради следует отметить, что понятия словоформы и парадигмы глагольной лексемы не были чужды и традиционной японской лингвистике. Однако в ее понимании глагольная словоформа соответствует европейскому понятию основы, что является следствием того, что японская лингвистическая традиция отличается от европейской пониманием границ слова. Об особенностях японской лингвистической традиции см. в [Алпатов 1978].

[18] Согласно грамматике, созданной «Обществом», морфологическая система глагола в японском языке является флективной, тогда как система существительного - агглютинативной [Suzuki 1972: 38].

[19] *SuRu* означает форму непрошедшего времени глагола *suru* ‘делать’ без *-te-i-*. *SHiTeIRu* – форму непрошедшего времени того же глагола в форме на *-te-i-*. Японские авторы этими двумя формами репрезентируют формальную сторону оппозиции категории вида в японском языке.

[20] Позже в работе 1972 г. С. Судзуки переименует данную форму в «простую форму» [Suzuki 1972: 378].

следующие терминологические наименования: *kansei-soo* (форма целостного вида)[21] и *keizoku-soo* (форма длительного вида) соответственно.

В статьях Я. Окуды 1977 и 1978 г. также привлекает внимание его замечание, согласно которому противоречивость классификации Х. Киндаити возникает вследствие того, что автор ищет семантическое различие между глаголами второй и третьей группы относительно количественного параметра длительности ситуации, т.е. в оппозиции длительности и моментальности. В отличие от Киндаити, Окуда противопоставляет эти группы глаголов в качественном отношении: глаголы второй группы обозначают ситуацию, в которой субъект действия не подвергается изменению, тогда как глаголы третьей группы обозначают изменение состояния субъекта [Ibid.: 119].

После статей Я. Окуды фокус внимания исследователей сдвинулся от лексико-грамматических значений форм на *-te-* к грамматическим значениям форм *SuRu* и *SHiTeIRu*. И по сей день в Японии создаются многочисленные работы, посвященные вопросам семантики и функционирования данных форм. Из них наиболее примечательными являются работы Т. Такахаси и М. Кудоо.

В монографии Т. Такахаси 1985 г., посвященной проблемам категории вида и времени в японском языке, автор, отмечая, что оппозиция форм *SuRu* и *SHiTeIRu* не имеет непосредственного отношения к фазам обозначенной глаголом ситуации, определяет ее как оппозицию «нерасчлененность – расчлененность» ситуации, в связи с чем он вводит понятие *kijun-jukan* ('точка отсчета' или 'время наблюдения'). В случае использования формы длительного вида для обозначения ситуации точка отсчета находится внутри нее, тогда как в случае обозначения ситуации формой целостного вида она находится вне нее [Takahashi 1985: 11–13].

М. Кудоо проводит функционально-семантический анализ форм *SuRu* и *SHiTeIRu* в сферах таксиса и нарратива [Kudoo 1995]. Определяя грамматическую категорию аспекта как интерпретационную категорию, связанную с точкой отсчета, автор полагает, что главные функции форм категории вида сводятся к таксисным. Функциональная оппозиция форм *SuRu* и *SHiTeIRu* в сфере таксиса, согласно автору, заключается в противопоставлении последовательности и одновременности ситуации, обозначенной глаголом в этих формах, по отношению к другой ситуации в рамках полипредикативного комплекса[22]. Среди форм на *te-* в данную оппозицию вместе с формой *SuRu* может вступить только форма *SHiTeIRu*, чем последняя существенно отличается от остальных форм на *-te-*, выступающих в том или ином аспектуальном значении [Ibid.: 61–67]. В отношении функционирования рассматриваемых видо-временных форм глагола в нарративе М. Кудоо описывает их дискурсивные функции, в частности функции формы *SHiTeIRu*, заключающиеся во введении в текст аргумента или комментария рассказчика (так называемый нарративный перфект) [Ibid.: 111–116]. Исследовательница также внесла существенный вклад в организацию и развитие изучения глагольного аспекта на диалектном материале [Kudoo 2004].

---

[21] В настоящей статье японское слово *soo* (相), функционирующее аналогично слову *tai* в терминологии Ё. Кобаяси, также переводится на русский язык термином вид. Данный перевод так же, как в случае с *tai*, является условным. Русским словосочетанием «целостный вид» передано японское терминологическое наименование *kansei-soo*. Японское слово *kansei* означает, как правило, 'завершение' или 'совершение'. Однако, как уже было сказано выше, этим термином Я. Окуда обозначает целостность ситуации, но не «доведение действия до полного окончания». Данный перевод предлагается для того, чтобы передать смысл соответствующего японского термина.

[22] О понятии «полипредикативный комплекс» см. [Бондарко 2003: 237].

3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО АСПЕКТА

Я. Окуда априорно определил, что японский язык имеет бинарную категорию вида, вероятно исходя из модели славянского вида, однако при этом он не описал специфики японской глагольной системы. Вследствие этого, несмотря на принятие рядом более поздних авторов трактовки оппозиции целостного и длительного вида как грамматической категории, до сих пор отсутствует единодушный ответ на вопрос, имеется ли в японском языке категория вида, и если «да», то что именно она собой представляет.

Авторы, признающие оппозицию целостного и длительного вида, часто представляют «видо-временные оппозиции японского глагола» так, как показано в Таблице 2.

Таблица 2

Схема соотношения времени и аспекта японского глагола, представляемая японскими авторами

	Целостный вид	Длительный вид
Непрошедшее время	*SuRu*	*SHiTeIRu*
Прошедшее время	*SHiTa*	*SHiTeITa*

Как уже отмечалось выше, в Японии во второй половине XX в. возникла практика анализа глагольной категории на уровне словоформы, что значительно продвинуло японскую лингвистику. В результате, однако, вместе с традиционной грамматикой стал игнорироваться и морфемный анализ. К тому же, как упоминалось выше, в лингвистических работах, написанных по-японски, морфемный состав словоформы графически точно не передается. Вследствие этого в Японии почти не рассматривается вопрос о нулевой форме. Данное обстоятельство затрудняет морфологический анализ японского глагола, что, в частности, видно и по Таблице 2. В случае принятия такой схемы возникает вопрос: сводятся ли все видовые противопоставления японского глагола к оппозиции формы на *-te-i-* и формы без *-te-i-*?

Далее, обозначая глагольную форму с незаполненным четвертым порядком формой на *-Ø-*, условно будем говорить об оппозиции формы на *-te-i-* и формы на *-Ø-*.

Сначала вкратце рассмотрим частные значения формы на *-te-i-*. В Японии было выполнено достаточное количество описательных работ, посвященных данному вопросу[23]. Частные значения формы на *-te-i-* можно представить, основываясь на классификации М. Кудоо [Kudoo 1982], следующим образом:

Частные значения формы на *-te-i-*

1. Прототипические значения:
   1) Прогрессив:

1) *Hanako wa ima hon o yon-de-i-ru.*
Hanako TOP сейчас книга ACC читать-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Ханако сейчас читает книгу'.

   2) Статальный перфект (результатив):

2) *Mado ga ai-te-i-ru.*
окно NOM открываться-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Окно открыто'.

2. Периферийные значения:
   1) В итеративном контексте, реализуемом при помощи соответствующего адвербиала, данная форма может выступать как итератив:

[23] Например: [Suzuki 1976: 63–95; Hujii 1976: 97–116; Kudoo 1982: 51–88; Takahashi 1985].

3) *Hanako wa mainichi hon o yon-de-i-ru.*
Hanako TOP ежедневно книга (книги) ACC читать-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Ханако каждый день читает книгу (книги)'.

Ср. со следующим синонимичным высказыванием, содержащим перфективную форму:

4) *Hanako wa mainichi hon o yom-Ø-u.*
Hanako TOP ежедневно книга (книги) ACC читать-PFV-NPST
'Ханако каждый день читает книгу (книги)'.

2) Акциональный перфект (прошедшее для аргументации):

5) *Puushikin wa 1799-nen ni umare-te-i-ru.*
Пушкин TOP 1799-год DAT рождаться-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Пушкин родился в 1799 году'.

Ср. со следующим синонимичным высказыванием, содержащим перфективную форму:

6) *Puushikin wa 1799-nen ni umare-Ø-ta.*
Пушкин TOP 1799-год DAT рождаться-PFV-PST
'Пушкин родился в 1799 году'.

Форма на *-te-i-* во втором периферийном значении, которое можно трактовать как расширенный акциональный перфект, является подобием простого претерита. В данном значении в форме на *-te-i-* может выступать любой глагол второй и третьей группы, причем она зачастую сопровождается обстоятельственным указателем на момент завершения действия. Предложения (5) и (6) являются синонимами. Но, согласно М. Кудоо, форма на *-te-i-ru*, в отличие от формы на *-Ø-ta*, употребляется в случае наличия у субъекта речи интенции использовать констатацию данного факта в прошлом как аргумент в пользу формулируемого утверждения [Kudoo 1989: 96–98]. При этом констатация факта часто опирается не на свидетельство самого субъекта речи, а на документы, свидетельства других людей и т.п. (т. е. выражается эвиденциальное значение косвенной засвидетельствованности). Форма на *-te-i-ru* в данном значении особенно часто используется в научном повествовании об исторических событиях, в речи выступающего в судебном процессе (адвоката, прокурора), в публицистическом изложении происшествий и т.п., тогда как форма на *-Ø-ta* употребляется прежде всего в бытовой устной речи[24].

Относительно квазирезультативного значения формы на *-te-i-*, т.е. значения результатива, который «не предполагает наличие исходного предельного глагола» [Холодович 1979а: 22], можно условиться считать его разновидностью статально-перфектного значения данной формы. Как было упомянуто выше, глаголы, выступающие в данном значении исключительно в форме на *-te-i-*, Х. Киндаити выделил в четвертую группу своей классификации. Но квазирезультативное значение могут иметь в форме на *-te-i-* и некоторые глаголы третьей группы. Реализация квазирезультатива зависит от характера денотативной ситуации, обозначаемой глаголом, или «места наблюдателя» [Апресян 1986].

7) Глагол четвертой группы *sobieru* 'возвышаться':
Nepaaru ni wa takai yama~yama ga sobie-te-i-ru.
Непал DAT TOP высокий гора~PL NOM возвышаться-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'В Непале возвышаются высокие горы'.

---

[24] О подробностях данного значения формы на *-te-i-ru* также см. [Kudoo 1995: 96–146].

8) Глагол третьей группы *magaru* ‘сгибаться, поворачиваться’:

Kugi ga magat-te-i-ru.
гвоздь NOM сгибаться-CNV-AUX.IMPFV-NPST
‘Гвоздь гнутый (согнут)’ (результатив).

9) Тот же самый глагол:

Michi wa migi ni magat-te-i-ru.
дорога TOP право DAT поворачиваться-CNV-AUX.IMPFV-NPST
‘Дорога поворачивает направо’ (квазирезультатив).

Последняя денотативная ситуация может обозначаться тем же самым глаголом без формы на *-te-i-* при наблюдателе, перемещающемся по дороге [Там же: 25]:

10) *Michi wa migi ni magat-Ø-ta.*
дорога TOP право DAT поворачиваться-PFV-PST
‘Дорога повернула направо’.

Исходя из вышесказанного, форму на *-te-i-* можно считать имперфективом. Однако, как показывает сопоставление итеративного употребления форм на *-te-i-* и на *-Ø-* в примерах (3) и (4) соответственно, а также синонимичность примеров (5) и (6), в двух периферийных значениях форма на *-te-i-* уже не вступает в оппозицию с формой на *-Ø-*.

Среди японских авторов дискуссионным считается прежде всего вопрос о семантике формы на *-Ø-*. На наш взгляд, согласие или несогласие японских исследователей с трактовкой Я. Окуды японской категории вида как оппозиции целостного и длительного вида главным образом зависит от того содержания, которое они вкладывают в его термин «целостный вид». Я. Окуда представлял категорию вида в японском языке, ориентируясь, вероятно, на модель русского вида, и понятие «целостности» он заимствовал из русской аспектологической терминологии. Однако исследователь не адаптировал данное понятие к японскому глаголу. Те, кто под «целостностью» (термин Я. Окуды) понимает завершенность действия или отождествляет перфектив и комплетив, не склонны согласиться с его трактовкой в силу того, что глагол в форме на *-Ø-* без поддержки контекста не может обозначать завершенного действия. Ё. Суда отмечает, что реализация значения «завершение действия» в форме на *-Ø-* находится в сильной зависимости от контекста и состоит главным образом в противопоставленности форме на *-te-i-*, поскольку форма на *-Ø-* представляет собой немаркированный член оппозиции [Suda 2010: 28][25].

Форма на *-Ø-* может выступать и при обстоятельстве длительности типа *ichinichi-juu* ‘целый день’, *go-jikan* ‘пять часов’, *nagai-aida* ‘долго’, и при инклюзивном обстоятельстве времени типа *ichinichi-de* ‘за один день’, *go-jikan-de* ‘за пять часов’.

11) *Kinoo wa go-jikan repooto o kai-Ø-ta.*
вчера TOP пять-часов реферат ACC писать-PFV-PST
‘Вчера (я) пять часов писал(а) реферат’[26].

---

[25] М. Мория считает, что категория вида японского глагола состоит в оппозиции «длительность – недлительность» [Moriya 1994: 67].

[26] Поскольку в японском языке нет грамматических категорий лица и числа, теоретически субъектом действия в ситуации, обозначенной данным японским предложением, может быть любое лицо в любом числе. Однако ввиду того, что в реальной речевой ситуации в случае, когда в высказывании не обозначается субъект действия, при этом отсутствует тот или иной показатель эвиденциальности, без поддержки контекста субъект действия, как правило, понимается как первое лицо в единственном числе, в настоящей статье при подобных японских примерах в русском переводе в скобках условно указывается первое лицо в единственном числе в качестве субъекта действия.

12) *Repooto o go-jikan-de kai-Ø-ta.*
реферат ACC пять-часов-INS писать-PFV-PST
'(Я) написал(а) реферат за пять часов'.

Форма на *-Ø-* не представляет собой «событийный» перфектив[27], характерный для русского СВ, что демонстрируется сопоставлением японских предложений, где выступают формы на *Ø-*, с их русскими эквивалентами в работе Ю. Канэко [Канэко 2005: 84–85]. Глаголы в форме на *-Ø-* в японских предложениях соответствуют русским переводным эквивалентам и в СВ, и в НСВ, в зависимости от лексического значения глагола и контекста.

Как представляется, понятие «целостность ситуации» не приравнивалось к ее завершенности ни самим Я. Окудой, ни такими его сторонниками, как Т. Такахаси и М. Кудоо. Они считали, что целостность – это не комплетивность, не точечность ситуации, а ее относительная единичность в сопоставлении с расчлененностью или большей длительностью другой ситуации. Именно исходя из этого, Т. Такахаси вводит понятие точки отсчета, а М. Кудоо подчеркивает существенную таксисную составляющую в оппозиции форм на *-te-i-* и на *-Ø-*.

В пределах качественного аспекта противопоставление форм на *-Ø-* и на *-te-i-* представляется как оппозиция перфектива лимитативного типа[28] и дуратива[29]. Поскольку, как пишет В.А. Плунгян, функция перфектива лимитативного типа ограничивается указанием на «вложенность ситуации»[30], обозначенной глаголом, в фоновое время, он может допускать не только точечную, но и длительную интерпретацию ситуации, если ее длительность укладывается в более широкий фоновый отрезок времени (ср. в примере 11 отношение «пяти часов» к целым суткам «вчера»). Поэтому с лимитативом сочетается и инклюзивное обстоятельство времени, и обстоятельство длительности. Форму на *-te-i-* как форму дуратива можно считать маркированным и интенсивным членом в противопоставлении форме на *-Ø-* в силу выраженности признака «интратерминальность» [Маслов 2004: 339].

Однако безусловному признанию такой грамматической оппозиции в японском языке препятствует следующий момент. М. Кудоо считает оппозицию целостного и длительного вида в наибольшей степени грамматикализованной, основываясь на том, что эта оппозиция удовлетворяет всем критериям грамматической категории, в том числе критерию обязательности [Kudoo 1995: 31]. Но, насколько нам известно, до сих пор не доказана обязательность выбора именно между формами на *-Ø-* и на *-te-i-*. Как показано в Таблице 1, помимо показателя *-te-i-* аспектуальные значения выражаются и другими показателями (в порядках 3 и 4). В порядке 4 в ассортименте возможных форм участвуют не только показатели *-Ø-* и *-te-i-*, но и *-te-ar-* и *-tsutsu-ar-*, что отвергает идею бинарности оппозиции формы на *tei-* и формы на *-Ø-*. В частности, К. Соэдзима считает, что по грамматической категории вида противопоставлены не только формы на *-Ø-* и на *-te-i-*, но и формы на *-te-ar-* и на *-tsutsu-ar-*, т.е. в данной оппозиции участвуют все показатели порядка 4 [Soejima 2007].

В настоящей работе не проводится анализ аспектуальных значений форм на *-te-ar-*, *tsutsu-ar-* и других форм с показателями 3-го порядка и не обсуждается вопрос о грамматическом статусе перфектива и имперфектива в японском языке (т. е. о том, являются они граммемами или квазиграммемами). Поскольку мы полагаем, что для разрешения

---

[27] В рамках понятия «событийный перфектив» В.А. Плунгян объединяет два типа перфектива: перфектив мгновенности / кратности и перфектив комплетивного типа. Согласно автору, событийному перфективу противопоставляется «лимитативный перфектив». См. [Плунгян 1998: 375–379].

[28] См. [Плунгян 1998: 379].

[29] Под показателем дуратива мы понимаем, согласно В.А. Плунгяну, показатель, который может обозначать срединную фазу и у состояний, и у процессов [Плунгян 2003: 300].

[30] См. [Плунгян 1998: 377–378].

данного вопроса следует представить общую структуру системы японского глагольного аспекта, а не только оппозицию перфектива и имперфектива, далее будет рассматриваться аспектуально релевантная словоклассифицирующая категория японского глагола. Анализ данной системы, как представляется, будет способствовать разрешению поставленных вопросов об оппозиции перфектива и имперфектива в соотношении с другими аспектуальными формами.

4. «СУПЕРЛЕКСЕМА» А.А. ХОЛОДОВИЧА КАК ЯВЛЕНИЕ СКРЫТОЙ ГРАММАТИКИ В СИСТЕМЕ ГЛАГОЛЬНОГО АСПЕКТА

С нашей точки зрения, «двухкомпонентная теория вида» К.С. Смит [Смит 1998] применительно к японской системе глагольного аспекта в достаточной степени обнаруживает свою адекватность ввиду того, что в структуре японской глагольной словоформы сферы компетенции каждого из «двух типов аспектуальной информации» [Там же: 404] выражаются раздельно. Оппозиция лимитативного перфектива и имперфектива относится, вероятно, к «аспектуальному ракурсу» по К.С. Смит [Там же: 410–413]. Следовательно, для описания общей структуры японского глагольного аспекта требуется также описание «ситуационных типов» [Там же: 408–410] и взаимодействия этих двух подсистем.

С этой точки зрения ошибочным в концепции Я. Окуды является не его трактовка оппозиции целостного и длительного вида, на что обычно направлена критика более поздних японских авторов, а то, что он не придавал надлежащего значения работе Х. Киндаити 1950 г. Я. Окуда не понимал, что Х. Киндаити и он сам рассматривают разные подсистемы – два полюса аспектуальной системы (в рамках двухкомпонентной теории вида К.С. Смит). Х. Киндаити, как уже говорилось, не трактовал грамматическую категорию вида, а предложил аспектуально релевантную классификацию японских глаголов, т.е. скрытую грамматику, к которой К.С. Смит относит систему ситуационных типов.

Попытку обнаружить в японской глагольной системе скрытую грамматику путем тестирования глагольной лексики на сочетаемость с показателем *-te-i-* предпринял не только Х. Киндаити в своей статье 1950 г., но и А.А. Холодович в статье 1963 г. «О предельных и непредельных глаголах (по данным корейского и японского языков)», в которой автор впервые применил ставшую весьма употребительной в аспектологии формулировку «состояние с одной степенью свободы» [Холодович 1963: 10]. Как уже было отмечено, Х. Киндаити работал над статьей 1950 г. в современном ему японском научном контексте, не обращаясь ни к понятию скрытой грамматики, ни к понятию предельности. А.А. Холодович при написании статьи, возможно, имел в виду вендлеровскую классификацию английских глаголов (напомним, что хронологически между работами Киндаити и Холодовича располагается статья З. Вендлера, опубликованная в 1957 г.). А.А. Холодович пытается найти формальное обоснование разбиению глаголов японского и корейского языков на предельный и непредельный класс. Исследователь рассчитывал, что форма на *-te-i-* послужит «лакмусовой бумажкой» для разделения японских глаголов на предельные и непредельные. Иными словами, он предположил наличие тесной взаимосвязи между формой на *-te-i-* и предельностью, занимающей центральную зону в функционально-семантическом поле аспектуальности. Однако эта форма не оправдала ожиданий исследователя вследствие своей двоякой семантики: реализации и прогрессивного, и результативного значений. А.А. Холодович был вынужден сделать отступление от своего научного принципа, согласно которому выделение классов, как он пишет, «имеет лингвистический смысл, если оно имеет формальные, или материальные, основания» [Там же: 4]. Исследователю «приходится обратиться к процедуре интерпретации, т.е. к процедуре соотнесения факта языка с фактом действительности» [Там же: 7]. Для этого А.А. Холодович заимствовал из физики понятие «степень свободы».

Форма на *-te-i-* обращает на себя наше внимание своей нестандартной полисемичностью. В ее частных значениях можно наблюдать следы нередкого в языках мира

эволюционного процесса развития перфекта. Нестандартность заключается в том, что наряду со значениями, располагающимися на эволюционной линии перфекта, форма имеет и прогрессивное значение. Согласно И.В. Недялкову, японский язык входит в немногочисленную группу языков, в которых МФ (многозначная форма. – *Ю. К.*) выражает «в зависимости от лексического значения глагола и контекста либо прогрессивное, либо перфектное и/или результативное значение» [Недялков И. 1988: 225][31]. В этом отношении, если такая полисемичная форма входит в состав видовой оппозиции, то типологический интерес представляет вопрос о том, на какую системную поддержку языка опирается данная форма, иными словами, имеется ли в языке некая категория (например, словоклассифицирующая), которая находилась бы в тесном взаимодействии с категорией вида.

Начиная с середины XVIII века в японской лингвистике активно обсуждаются вопросы о парных по переходности глаголах. В России А.А. Холодович отмечает, что в японском языке имеется примерно 250 простых[32] непереходных глаголов, от которых не образуются морфологические каузативы [Холодович 1969: 271]. Данные непереходные глаголы имеют свой соответствующий однокоренной переходный глагол, с которым вступают в корреляцию контактной каузации, т.е. парные по переходности глаголы соотносятся как декаузатив и каузатив[33] одной и той же «серии» ситуаций, обозначаемых разными аспектуальными формами данных парных глаголов. Но в японской лексикографии традиционно они регистрируются отдельно как разные вокабулы в силу того, что их формальные отношения не регулируются правилами продуктивной формальной деривации.

Э. Хаяцу, анализирующая семантическое отличие парных переходных от непарных переходных и парных непереходных от непарных непереходных глаголов, приходит к следующим выводам. Большое количество парных переходных глаголов содержит семантический компонент «изменение состояния объекта», тогда как у непарных переходных он отсутствует [Hayatsu 1989: 231–256]. В большинстве случаев при парных непереходных глаголах субъектом является неодушевленный предмет и глаголы обозначают изменение состояния субъекта как результат каузации. При этом каузирующим может быть одушевленный аргумент или стихийное явление, либо же субъект может изменяться сам по себе [Hayatsu 1987: 77–109].

Помимо лексической (де)каузативации в японском языке имеется морфологический способ (анти)каузативации. Между этими двумя классами наблюдается формальное соответствие: операторами морфологической каузативации и антикаузативации являются, как указано в Таблице 1, аффиксы *-(sa)s-* и *-(ra)r-* соответственно, лексическими же операторами – *-s-* и *-r-* или *-as-* и *-ar-*. Помимо последних при лексической (де)каузативации в качестве операторов функционируют типы спряжения глагола.

Обнаруживается несколько типов формальной деривации лексической (де)каузативации. По объему коррелирующих форм наблюдаются три типа деривации: 1) формально объемы каждого из членов пары равны; 2) каузатив «больше» декаузатива, т.е. наблюдается деривационная направленность от декаузатива к каузативу; 3) декаузатив «больше» каузатива, т.е. наблюдается деривационная направленность от каузатива к де-

---

[31] Помимо японского к данной группе относятся, согласно И.В. Недялкову, такие языки, как монгольский, карачаевский, сенека, китайский, узбекский и нивхский [Недялков И. 1988: 225].

[32] Простым глаголом называется глагол, основа которого содержит один корень. В японском языке есть и сложные глаголы, т.е. имеющие в своем составе более чем один корень. Изучение структуры сложных глаголов представляет значительный интерес. В сложных глаголах некоторые занимающие вторую позицию корни, будучи достаточно абстрактными, функционируют наподобие русских приставок. В силу этого сложные глаголы с занимающими вторую позицию абстрактными корнями могут обозначать такие способы действия, как ингрессивный, интенсивно-результативные и т.д. Однако в настоящей статье обсуждение японского глагольного аспекта ограничено простыми глаголами.

[33] Термины «каузатив» и «декаузатив» в настоящей работе не соотносятся с направлением формальной деривации между соответствующими глаголами.

каузативу. К. Окуцу [Okutsu 1967: 50–58] предлагает классификацию типов формальных дериваций в соответствии с этими тремя типами соотношения между членами пары: 1) Polarization (типа «*kae-r-a-* 'возвращаться' ↔ *kae-s-a-* 'возвращать'»); 2) Transitivization (типа «*kawak-a-* 'сохнуть' → *kawak-as-a-* 'сушить'»); 3) Intransitivization (типа «*mag-ar-a-* 'сгибаться' ← *mag-e-* 'сгибать'»)[34] [Okutsu 1967: 51]. Сложным, пока не нашедшим своего ответа является вопрос о трактовке различных типов соотношения между семантической и формальной деривациями. Ниже представлены иллюстрации типов формальной деривации.

Типы формальной деривации

1. Polarization
   1) Полное совпадение форм членов пары (лабильные глаголы):
      hirak-a- 'раскрываться' / *hirak-a-* 'раскрывать'; *mas-a-* 'увеличиваться' / *mas-a-* 'увеличивать'; *toj-i-* 'закрываться' / *toj-i-* 'закрывать'.
   2) Поляризация при посредстве типов спряжения:
      а) декаузатив I[35] / каузатив III:
         ak-a- 'открываться'/ *ak-e-* 'открывать'; *katamuk-a-* 'склоняться' / *katamuk-e-* 'склонять'; *katazuk-a-* 'быть прибранным' / *katazuk-e-* 'прибирать'; *sodat-a-* 'воспитываться' / *sodat-e-* 'воспитывать'; *tat-a-* 'стоять', 'строиться' / *tat-e-* 'ставить', 'строить' и т.д.
      б) декаузатив III / каузатив I:
         hodok-e- 'развязываться' / *hodok-a-* 'развязывать'; *kir-e-* 'разрезаться', 'выключаться' / *kir-a-* 'резать', 'выключать'; *or-e-* 'ломаться (о палке)' / *or-a-* 'ломать (палку)'; *war-e-* 'разбиваться' / *war-a-* 'разбивать'; *yak-e-* 'гореть', 'печься' / *yak-a-* 'жечь', 'печь' и т.д.
   3) Поляризация при посредстве (де)каузативных операторов:
      декаузатив I, *-r-* / каузатив I, *-s-*:
         kae-r-a- 'возвращаться' / *kae-s-a-* 'возвращать'; *mawa-r-a-* 'вращаться', 'крутиться' / *mawa-s-a-* 'вращать', 'крутить'; *nao-r-a-* 'исправляться', 'поправляться' / *nao-s-a-* 'исправлять', 'чинить', 'излечивать'; *na-r-a* 'становиться' / *na-s-a-* 'делать', 'образовать'; *utsu-r-a-* 'перемещаться' / *utsu-s-a-* 'перемещать' и т.д.
   4) Поляризация при посредстве типов спряжения и (де)каузативных операторов:
      а) декаузатив I, *-r-* / каузатив III, *-s-*:
         no-r-a- 'садиться' / *no-s-e-* 'сажать'; *yo-r-a-* 'приближаться' / *yo-s-e-* 'приближать'.
      б) декаузатив III, *-r-* / каузатив I, *-s-*:
         hana-r-e- 'отделяться', 'отдаляться' / *hana-s-a-* 'отделять', 'отдалять'; *kaku-r-e-* 'прятаться' / *kaku-s-a-* 'прятать'; *kowa-r-e-* 'ломаться (о машине)' / *kowa-s-a-* 'ломать (машину)'; *tao-r-e-* 'падать', 'валиться' / *tao-s-a-*, 'валить' и т.д.
2. Transitivization
   1) декаузатив I / каузатив I, *-as-*:

---

[34] А.А. Холодович предлагает другую классификацию [Холодович 1979б: 29–54], но, на наш взгляд, принцип его классификации соотносим с принципом классификации К. Окуцу. В настоящей работе формы лексических (де)каузативов рассматриваются, вслед за А.А. Холодовичем, как формы так называемой первой основы глагола, что представляется вполне оправданным. В представленных глагольных формах последний элемент *-a-* (например, в форме *kae-r-a-*) является показателем первой основы первого спряжения, *-i-* (например, в форме *toj-i-*) – первой основы второго спряжения, *-e-* (например, в форме *mag-e-*) – первой основы третьего спряжения.

[35] Римскими цифрами обозначаются типы спряжения.

her-a- ‘уменьшаться’ / *her-as-a-* ‘уменьшать’; *kawak-a-* ‘сохнуть’ / *kawak-as-a-* ‘сушить’; *tir-a-* ‘рассыпаться’ / *tir-as-a-* ‘рассыпать’; *ugok-a-* ‘двигаться’ / *ugokas-a-* ‘двигать’; *wak-a-* ‘кипеть’ / *wak-as-* ‘кипятить’ и т.д.

2) декаузатив II / каузатив I, *-as-*, *-os-*:
mit-i- ‘наполняться’ / *mit-as-a-* ‘наполнять’; *nob-i-* ‘удлиняться’ / *nob-as-a-* ‘удлинять’; *ok-i-* ‘вставать’ / *ok-os-a-* ‘поднимать’; *or-i-* ‘спускаться’ / *or-os-a-* ‘спускать’; *ot-i-* ‘падать’ / *ot-os-a-* ‘ронять’, ‘опускать’ и т.д.

3) декаузатив III / каузатив I, *-as-*:
d-e- ‘выходить’ / *d-as-a-* ‘выносить’; *hi-e-* ‘остывать’ / *hi-yas-a-* ‘остужать’; *hu-e-* ‘увеличиваться’ / *hu-yas-a-* ‘увеличивать’; *mo-e-* ‘гореть’ / *mo-yas-a-* ‘жечь’; *sam-e-* ‘охладевать’ / *sam-as-a-* ‘охладить’; *tok-e-* ‘растворяться’, ‘таять’ / *tok-as-a-* ‘растворять’, ‘растапливать’ и т.д.

3. Intransitivization

1) декаузатив I, *-ar-* / каузатив I:
hasam-ar-a- ‘находиться (быть зажатым) между кем-, чем-л.’ / *hasam-a-* ‘класть между кем-, чем-л.’; *husag-ar-a-* ‘быть забитым’ / *husag-a-* ‘забивать’; *tsunag-ar-a-* ‘соединяться’ / *tsunag-a-* ‘соединять’ и т.д.

2) декаузатив I, *-ar-* / каузатив III:
ag-ar-a- ‘подниматься’ / *ag-e-* ‘поднимать’; *hajim-ar-a-* ‘начинаться’ / *hajim-e-* ‘начинать’; *hirog-ar-a-* ‘расширяться’ / *hirog-e-* ‘расширять’; *kaw-ar-a-* ‘меняться’ / *ka-e-* ‘менять’; *katam-ar-a-* ‘твердеть’ / *katam-e-* ‘делать твердым’; *ow-a-r-a-* ‘заканчиваться’ / *o-e-* ‘заканчивать’; *sag-ar-a-* ‘спускаться’ / *sag-e-* ‘спускать’; *shim-ar-a-* ‘закрываться’ / *shim-e-* ‘закрывать’ и т.д.

3) декаузатив III, *-ar-* / каузатив I:
um-ar-e- ‘родиться’ / *um-a-* ‘родить’.

4) декаузатив III / каузатив II:
m-i-e- ‘быть видным’ / *m-i-* ‘видеть’, ‘смотреть’; *n-i-e-* ‘вариться’ / *n-i-* ‘варить’.

Как следует из вышеприведенных примеров, в парах, относящихся к одному и тому же типу формальной деривации, можно обнаружить некую семантическую тенденцию. Но затруднительно установить общие правила соотношения между типом формальной деривации и семантикой входящих в него парных глаголов. Не вдаваясь в детальное обсуждение данного вопроса, отметим следующее. И.А. Мельчук, приводя в качестве иллюстрации японских парных (де)каузативов такой пример, как *um-ar-e-* ‘родиться’ / *um-a-* ‘родить’, пишет: «простые в смысловом отношении единицы могут быть формально производными (хотя бы исторически) от более сложных по смыслу» [Мельчук 1967: 353–354]. Как отмечает автор, принципиально различны вопрос о степени сложности семантической структуры и вопрос о направлении формальной деривации.

С точки зрения глагольного аспекта более существенным является то, что две ситуации, каждая из которых во внеязыковой действительности может возникать отдельно, независимо, будучи репрезентированными при посредстве членов каузативной пары, объединяются в смысловое единство.

В посмертно опубликованной монографии А.А. Холодовича «Глагол в современном японском языке» третья глава «Суперлексема» начинается со следующего высказывания: «Суперлексемами мы будем называть любую пару лексем, типа *отиру* ‘падать’ : *отосу* ‘ронять’, ‘уронить’ = ‘делать так, чтобы что-то падало’, между членами которой существует регулярное семантическое (смысловое) и нерегулярное (и поэтому не предсказуемое и не подводимое под какое-либо правило, носящее общий характер) формальное отношение. Если первый член этой пары – лексема L_i – означает ‘А находится в процессе (или состоянии) х’, то второй член этой пары · L_j – чаще всего означает ‘В (как правило, кто-то, а не что-то) делает так, чтобы А находилось в процессе (или состоянии) х’» [Холодович 1979б: 28]. Как уже было отмечено, члены каузативной пары в японском словаре регистрируются как отдельные вокабулы в силу того, что между ними

не наблюдается регулярного формального соотношения. Однако между ними признается регулярное семантическое отношение каузации. Исходя из этого, А.А. Холодович считает, что их следует объединить в «одну лексему» -- суперлексему.

Традиционно глаголы делятся на переходные и непереходные, но автор утверждает, что «необходимо пойти дальше» [Там же], и предлагает следующую классификацию японских глаголов.

1. Суперлексемы:
   1) Парные (соотносительные) непереходные глаголы.
   2) Парные (соотносительные) переходные глаголы.
2. Непарные непереходные глаголы (Intransitiva tantum).
3. Непарные переходные глаголы (Transitiva tantum) [Там же: 28–29].

Какое значение имеет данная классификация для аспектуальности японского глагола?

Т. Кагэяма, рассматривая вендлеровскую классификацию с точки зрения «лексической концептуальной структуры» (Lexical Conceptual Structure – LCS) глагола, представляет концептуальную структуру японских каузативов следующим образом:

[[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y BE AT-z]]][36] [Kageyama 1996: 91].

В американской лингвистике элемент, обозначенный выше ярлыком «CONTROL», принято обозначать ярлыком «CAUSE». Согласно Т. Кагэяме, «CAUSE» подразумевает успех каузации: например, английское предложение «*John turned on the light*» имплицирует, что «*The light came on*». Однако в японском языке отношение между связанными деривацией каузативом и декаузативом состоит в противопоставлении по линии «попытка – успех», т.е. каузатив может допускать конативную интерпретацию, например:

13) Пара «каузатив *tsuk-e-* ‘включать’ / декаузатив *tsuk-a-* ‘включаться’»:
Denki o tsuke-Ø-ta keredo tsuka-Ø-nakat-ta.
свет ACC включать-PFV-PST ADVRS.CNJ включаться-PFV-NEG-PST
‘(Я) включал свет, но (он) не включился’ [Kageyama 1996: 85].

Исходя из этого, Т. Кагэяма считает, что в LCS японских каузативов данному элементу более соответствует наименование «CONTROL», чем «CAUSE» [Ibid: 85–87].

Автор, обозначая каузирующую ситуацию данной структуры ([[x ACT (ON y)] CONTROL]) как «super-Event», а каузируемую ситуацию ([BECOME [y BE AT z]]) – как «sub-Event», считает, что Accomplishments (по Вендлеру) обозначают данную структуру целиком, Activities -- суперсобытие (super-Event), Achievements – субсобытие (sub-Event) и States – его часть [y BE AT-z] [Kageyama 1996: 90].

Формула LCS Т. Кагэямы наглядно описывает структуру большинства суперлексем, но в плане аспектуальной характеристики допускает уточнения: в суперлексемах обнаруживаются следующие три типа LCS –

1) суперлексемы, у которых
   каузатив: [[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y BE AT-z]]],
   декаузатив: [BECOME [y BE AT-z]].

К данной группе относится большинство суперлексем: ЖЕЧЬ или ПЕЧЬ[37] *yak-a-* (C) / *yak-e-* (DC)[38]; КИПЯТИТЬ *wak-as-a-* (C) / *wak-a-* (DC); РАСШИРЯТЬ *hirog-e-* (C) / *hirog-ar-a-* (DC) и т.п. Ярлыком CONTROL обозначается каузация, допускающая конативную интерпретацию. В имперфективной форме на *-te-i-* каузатив обозначает каузацию как процесс [CONTROL] или, в некоторых случаях, как ее результирующее состояние [y BE AT-z], декаузатив – каузируемую ситуацию как результирующее состояние [y BE AT-z].

---

[36] В схеме LCS «x» обозначает внешний аргумент, «y» – внутренний аргумент, «z» – состояние.

[37] Суперлексема представляется каузативом и выделена прописными буквами.

[38] C обозначает каузатив, DC – декаузатив.

Перфективная форма каузатива обозначает каузирующую ситуацию или каузирующую и каузируемую ситуации вместе. Декаузатив в форме перфектива представляет собой пунктив.

14) *Hanako ga pan o yai-Ø-ta.*
Ханако NOM хлеб ACC ПЕЧЬ.C-PFV-PST
'Ханако испекла хлеб' или 'Ханако пекла хлеб'.

15) *Hanako ga pan o yai-te-i-ru.*
Ханако NOM хлеб ACC ПЕЧЬ.C-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Ханако печет хлеб'.

16) *Pan ga yake-Ø-ta.*
хлеб NOM ПЕЧЬ.DC-PFV-PST
'Хлеб испекся' или 'Хлеб пекся'.

17) *Pan ga yake-te-i-ru.*
хлеб NOM ПЕЧЬ.DC-CNV-AUX.IMPFV-NPST.
'Хлеб выпечен'.

2) суперлексемы, у которых
каузатив: [[x ACT (ON y)] CAUSE [BECOME [y BE AT-z]]],
декаузатив: [BECOME [y BE AT-z]].

Ко второй группе относятся 9 таких суперлексем, как ОСТАВЛЯТЬ *noko-s-a-* (C) / *noko-r-a-* (DC), ИСТОЩАТЬ ЗАПАС ЧЕГО-Л. *kir-as-a-* (C) / *kir-e-* (DC), НАЧИНАТЬ *hajim-e-* (C) / *hajim-ar-a-* (DC), ЗАКАНЧИВАТЬ *o-e-* (C) / *o-war-a-* (DC) и т.п. Под ярлыком «CAUSE» понимается моментальная успешная каузация, не допускающая конативной интерпретации. В форме перфектива и каузатив, и декаузатив представляют собой пунктив. В форме имперфектива и каузатив, и декаузатив обозначают результирующее состояние [y BE AT-z].

18) *Taroo ga kaigi o hajime-Ø-ta.*
Тароо NOM заседание ACC НАЧИНАТЬ.C-PFV-PST
'Тароо начал заседание' или 'Тароо начинал заседание'.

19) *Taroo ga kaigi o hajime-te-i-ru.*
Тароо NOM заседание ACC НАЧИНАТЬ.C-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Тароо начал заседание (и проводит)'.

20) *Kaigi ga hajimat-Ø-ta.*
заседание NOM НАЧИНАТЬ.DC-PFV-PST
'Заседание началось' или 'Заседание начиналось'.

21) *Kaigi ga hajimat-te-i-ru.*
заседание NOM НАЧИНАТЬ.DC-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Заседание началось (и продолжается)'.

3) суперлексемы, у которых
каузатив: [[x ACT (ON y)] CONTROL [BECOME [y ACT (ON y) CONTROL]]],
декаузатив: [BECOME [y ACT (ON y) CONTROL]].

К данной группе относятся 30 таких суперлексем, как ДВИГАТЬ *ugok-as-a-* (C) / *ugok-a-* (DC), ВЕРТЕТЬ *mawa-s-a-* (C) / *mawa-r-a-* (DC), ПРОПУСКАТЬ *too-s-a-* (C) / *too-r-a-* (DC), КАТАТЬ / КАТИТЬ *koroga-s-a-* (C) / *koroga-r-a-* (DC) и т.п. В суперлексеме каузируемая часть обозначает ситуацию, требующую [CONTROL]; в форме имперфектива и каузатив, и декаузатив обозначают процесс [CONTROL].

22) *Kodomo ga booru o korogashi-Ø-ta.*
ребенок NOM мяч ACC КАТАТЬ/КАТИТЬ.C-PFV-PST
'Ребенок покатал мяч' или 'Ребенок катал (катил) мяч'.

23) *Kodomo ga booru o korogashi-te-i-eu.*
ребенок NOM мяч ACC КАТАТЬ/КАТИТЬ.C-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Ребенок катит мяч'.

24) *Booru ga korogat-Ø-ta.*
мяч NOM КАТАТЬ/КАТИТЬ.DC-PFV-PST
'Мяч покатился (покатался)' или 'Мяч катался (катился)'.

25) *Booru ga korogat-te-i-ru.*
мяч NOM КАТАТЬ/КАТИТЬ.DC-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Мяч катится'.

Таким образом, три группы суперлексем различаются тем, какое значение реализуется в форме на *-te-i-* в имперфективной зоне каждой подситуации, см. Таблицу 3.

Таблица 3

Значение имперфектива в подситуациях

	Каузирующая ситуация	*Каузируемая ситуация*
Суперлексемы 1группы	прогрессив	результатив
Суперлексемы 2 группы	результатив	результатив
Суперлексемы 3 группы	прогрессив	прогрессив

Transitiva tantum и Intransitiva tantum делятся на две группы.

1. Transitiva tantum (Tr. t.)
   1) Tr. t., которые в форме имперфектива имеют прогрессивное значение: *utau* 'петь', *yomu* 'читать', *taberu* 'есть', *nomu* 'пить', *tsukau* 'использовать', *hakobu* 'носить', *matsu* 'ждать' и т.д.
   2) Tr. t., которые в форме имперфектива имеют результативное значение: *ushinau* 'терять', *ubau* 'отнимать', *oku* 'класть', *humu* 'ступать на что-л.', *yurusu* 'прощать, разрешать' *wasureru* 'забывать' и т.д.
2. Intransitiva tantum (Intr. t.)
   1) Intr. t., которые в форме имперфектива имеют прогрессивное значение: *hataraku* 'работать', *asobu* 'играть', *aruku* 'шагать, ходить', *hashiru* 'бежать', *oyogu* 'плавать', *hanasu* 'говорить', *sumu* 'жить', *warau* 'смеяться', *naku* 'плакать', *huru* 'идти (о дожде, снеге)' и т.д.
   2) Intr. t., которые в форме имперфектива имеют результативное значение: *iku* 'идти от говорящего', *kuru* 'приходить к говорящему', *kusaru* 'гнить', *kekkon-suru* 'жениться, выходить замуж', *damaru* 'умолчать', *hutoru* 'толстеть', *yaseru* 'худеть', *sinu* 'умирать' и т.д.

Tr. t. и Intr. t., которые в форме имперфектива имеют прогрессивное значение, являются непредельными: их правая граница не закрыта. Tr. t. и Intr. t., которые в форме имперфектива имеют результативное значение, представляют собой пунктив.

Исходя из сказанного выше относительно простых глаголов японского языка, предельные глаголы можно определить следующим образом: предельным является каузатив суперлексемы, который в форме на *-te-i-* имеет прогрессивное значение, а его парный декаузатив в той же форме является результативом, иными словами, каузатив суперлексем первой группы.

Понятие суперлексемы имеет существенное значение для аспектуальности японского глагола. Однако А.А. Холодович теоретически обосновывал понятие суперлексемы, исходя не из семантической структуры, актуальной для аспекта, а из диатезного соотношения каузатива и декаузатива. В вышеупомянутой монографии «Глагол в современном японском языке» А.А. Холодович вводит термин «суперлексема» в первой же главе, озаглавленной «Парадигма» [Холодович 1979б: 16–19], которая предшествует

главе, посвященной собственно суперлексеме [Там же: 28–54]. Говоря о парадигме, автор обосновывает понятие суперлексемы следующим образом. В японском языке лекса *kak-u* и лекса *kak-a-r-e-ru*, представляющая собой морфологический антикаузатив первой, входят в парадигму лексемы ПИСАТЬ. При общем лексическом значении они отличаются друг от друга диатезой – на поверхностно-синтаксическом уровне. В то же время парные лексические каузатив и декаузатив в японской лексикографии традиционно регистрируются как разные вокабулы. При этом они имеют общую семантическую структуру, в том числе ролевую, и отличаются друг от друга диатезой. В таком случае, утверждает исследователь, в рамках теории их следует свести в одно единство и зафиксировать его терминологически – как суперлексему [Там же: 17–19].

В Японии ряд авторов, в том числе К. Окуцу [Okutsu 1967: 49] и Э. Хаяцу [Hayatsu 1987: 81], при определении парности глаголов по переходности помимо семантического и морфологического критериев выдвигают и синтаксический. Согласно их критериям, переходные и непереходные глаголы, обнаруживающие семантическую и формальную корреляцию каузатива и декаузатива, могут составлять пару только тогда, когда между предложениями, в которых они выступают, наблюдается следующее диатезное соответствие, т.е. актантная деривация:

NP_1 ga (NOM) NP_2 o (ACC) $V_{tr.}$
NP_2 ga (NOM) $V_{intr.}$

Например, члены суперлексемы ВАРИТЬ *yud-e-* (C) / *yud-ar-a-* (DC):

26) *Hanako ga tamago o yude-te-i-ru.*
Ханако NOM яйцо (яйца) ACC ВАРИТЬ.C-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Ханако варит яйцо (яйца)'.

27) *Hanako ga tamago o yude-Ø-ta.*
Ханако NOM яйцо (яйца) ACC ВАРИТЬ.C-PFV-PST
'Ханако варила (сварила) яйцо (яйца)'.

28) *Tamago ga yudat-Ø-ta.*
яйцо (яйца) NOM ВАРИТЬ.DC-PFV-PST
'Яйцо (яйца) сварилось (сварились)'.

29) *Tamago ga yudat-te-i-ru.*
яйцо (яйца) NOM ВАРИТЬ.DC-CNV-AUX.IMPFV-NPST
'Яйцо (яйца) сварено (сварены)'.

О том, что смене диатезы при декаузативе способствует не столько его одновалентность (непереходность), сколько декаузативация, свидетельствует еще одна конструкция результатива:

30) *Tamago ga yude-te-ar-u.*
яйцо (яйца) NOM ВАРИТЬ.C-CNV-AUX.ORES-NPST
'Яйцо (яйца) сварено (сварены) (Яйцо (яйца) сварили)'.

В результативной конструкции, подобной представленной в (30), в форме на *-te-ar-* выступает исключительно каузатив[39]. При каузативе в форме на *-te-ar-* наложен запрет на указание агенса и в качестве единственного актанта выступает пациенс. Данный результатив А.А. Холодович назвал о б ъ е к т н ы м, а результатив, реализуемый при декаузативе в форме на *-te-i-*, – с у б ъ е к т н ы м [Холодович 1979а: 9–22]. Объектный результатив отличается от субъектного тем, что первый при удалении определенного

[39] Форма на *-te-ar-* может выступать в других конструкциях, где пациенс оформляется при помощи послелога о или в данной форме употребляется непереходный глагол. В таких конструкциях, как представляется, форма на *te-ar-* является не столько результативом, т.е. статальным перфектом, сколько акциональным перфектом.

агенса имплицирует неопределенный агенс, т.е. Каузатор не удаляется, тогда как в последнем Каузатор совсем «уходит За кадр» [Падучева 2001: 64]. Имплицитный неопределенный агенс сохраняет в каузативе в форме на *-te-ar-* семантику «агентивность»: в объектном результативе состояние интерпретируется как контролируемое «Каузатором За кадром».

Можно сказать, что объектный результатив представляет собой морфолого-синтаксическую (диатезную) декаузативацию при каузативе. В языке обнаруживается ступенчатая декаузативация по степени удаленности Каузатора. Е.В. Падучева полагает, что декаузативация представляет собой не столько «понижающую» актантную деривацию[40], сколько «интерпретирующую», при которой «количество участников ситуации может не меняться, однако на их, так сказать, референциальную природу могут накладываться некоторые ограничения» [Плунгян 2003: 214], поскольку при декаузативации Каузатор (причина) не исключается, а «превращается из актанта в сирконстант» [Падучева 2001: 63–64, 77]. Исходя из этого, исследователь трактует декаузативацию «как чисто диатетический сдвиг, не меняющий лексического значения глагола» [Там же: 77]. Трактовку Е.В. Падучевой поддерживает введенное А.А. Холодовичем понятие суперлексемы, которая в японском языке способствует ступенчатой декаузативации.

Интересная корреляция суперлексемы и формы на *-te-i-* наблюдается и в рефлексивной интерпретации последней. В японском языке рефлексивы не маркируются морфологически. Однако ряд исследователей, в том числе Ё. Нитта [Nitta 1982: 79–90], называет рефлексивными малочисленную группу глаголов, подобных глаголам *kiru* 'надевать (одежду)', *haku* 'надевать (обувь, носки, брюки и т.п.)', *kaburu* 'надевать (головной убор)', исходя из их семантики и ряда грамматических признаков. В качестве одного из этих признаков отмечается то, что рефлексивные глаголы, являясь переходными, в форме на *-te-i-* могут получать как прогрессивное, так и результативное значение (напомним, что в японском языке глагол в форме на *-te-i-*, как правило, может выражать только одно из них).

31)	*Hanako*	*wa*	*ima*	*heya-de*	*kimono*	*o*	*ki-te-i-ru.*
	Ханако	TOP	сейчас	комната-INS	кимоно	ACC	надевать-CNV-AUX.IMPFV-NPST

'Ханако сейчас в комнате надевает на себя кимоно'.

32)	*Hanako*	*wa*	*kyoo*	*wa*	*kimono*	*o*	*ki-te-i-ru.*
	Ханако	TOP	сегодня	TOP	кимоно	ACC	надевать-CNV-AUX.IMPFV-NPST

'Ханако сегодня одета в кимоно'.

Диатеза была определена А.А. Холодовичем и И.А. Мельчуком как схема «соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня» [Мельчук, Холодович 1970: 117]. Однако данное определение не дает оснований для адекватного описания рефлексивного и реципрокного преобразования исходной активной конструкции. Исходя из того, что проблема состоит в отсутствии референтного уровня в рассмотрении диатезы, В.С. Храковский трактует последнюю как соответствие единиц трех уровней: референтного (партиципанта, исполнителя), семантического (роли) и синтаксического (актанта) [Храковский 1981: 10–11] – и тем самым к диатезным преобразованиям относит и рефлексивное и реципрокное. В отличие от исходной активной конструкции, где «имеет место одно-однозначное соответствие между референтами (= исполнителями) и ролями глагольной лексемы», в производной рефлексивной конструкции «один референт выступает как минимум в двух ролях глагольной лексемы» [Там же: 13].

В японском языке рефлексив-каузатив не имеет своего парного декаузатива. Поскольку при рефлексиве субъекты каузирующей и каузируемой ситуации соотносятся с

[40] См. [Плунгян 2003: 212–214].

одним и тем же референтом, форма на *-te-i-* может обозначать любую имперфективную зону в LCS: как [CONTROL], так и [BE AT-z]. Переход зоны, обозначаемой формой на *-te-i-*, от [CONTROL] к [BE AT-z] имплицирует переход фокуса от Каузатора к Каузируемому, что представляет собой декаузативацию, причем последней при рефлексиве так же, как в случае с формой на *-te-ar-*, способствует семантический компонент «контроль Каузатором За кадром». Это также является своего рода «диатетическим сдвигом».

Декаузативацию, имеющую место при рефлексиве, назовем рефлексивной декаузативацией. Как отмечают исследователи[41], в языке рефлексивная декаузативация наблюдается не только у собственно рефлексивов, но и у прочих каузативов, допускающих «посессивно-рефлексивную» интерпретацию ситуации.

33) *Hanako no heya no mado ga ai-te-i-ru.*
Ханако GEN комната GEN окно NOM ОТКРЫВАТЬ.DC-CNV-AUX. IMPFV-NPST
'Окно комнаты Ханако открыто'.

34) *Hanako wa ichinichi-juu heya no mado o ake-te-i-ru.*
Ханако TOP целый день комната GEN окно ACC ОТКРЫВАТЬ. C-CNV-AUX. IMPFV-NPST
'У Ханако в комнате целый день окно открыто (Ханако целый день держит окно (своей) комнаты открытым)'.

В примере (33) при декаузативе суперлексемы «Каузатор (причина) уходит За кадр», т.е. «несущественна причина данного состояния» [Падучева 2001: 77], тогда как в примере (34) при каузативе состояние, возникшее вследствие декаузативации, находится под контролем Каузатора. Окно принадлежит ему так же, как и его одежда.

Учитывая сказанное, следует внести поправку в предложенное выше определение простых предельных глаголов: в японском языке предельными являются рефлексивы, а также каузатив суперлексемы, который в форме на *tei-* имеет прогрессивное значение и парный декаузатив которого в той же форме является результативом.

Как представляется, в семантической структуре (де)каузативации А.А. Холодовича интересовало не направление каузативно-декаузативной деривации, а общая глубинная семантическая основа, представляющая собой, если использовать формулировку Е.В. Падучевой, «деривационный потенциал данного класса» [Падучева 2001: 55], который способствует взаимодействию глагольных категорий и порождает их формальную организацию.

В заключение отметим перспективы изучения японского глагольного аспекта. Мы считаем важным решение следующих задач. Во-первых, функционально-семантический анализ всех без исключения аспектуальных форм глагола, в том числе образованных при помощи показателей в третьем и четвертом порядках, с точки зрения их взаимосвязей с центром поля аспектуальности, в котором располагаются противопоставление перфектива и имперфектива, с одной стороны, и противопоставление суперлексем Transitiva tantum и Intransitiva tantum, с другой. Во-вторых, описание системы образования сложных глаголов как механизма расширения круга «ситуационных типов», ядро которого составляют суперлексемы.

---

[41] Холодович как одну из разновидностей субъектного результатива отмечает результатив двувалентных прямопереходных глаголов, к которым автор относит глаголы «надевания» и «насебеношения» [Холодович 1979а: 9–10]. О рефлексивном употреблении каузативов также см. [Kudoo 1982: 59–61].

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ACC	аккузатив
ADVRS.CNJ	противительный союз
AUX	вспомогательный глагол
C	каузатив
CNV	конверб
DC	декаузатив
DAT	датив
GEN	генитив
IMPFV	имперфектив
INS	инструменталис
LCS	лексическая концептуальная структура
NEG	отрицание
NOM	номинатив
NPST	непрошедшее время
ORES	объектный результатив
PFV	перфектив
PL	множественность
PST	прошедшее время
TOP	топик

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алпатов 1978 – *В.М. Алпатов*. Об особенностях японской лингвистической традиции // ВЯ. 1978. № 4.

Алпатов 1983 – *В.М. Алпатов*. Проблемы морфемы и слова в современном японском языкс: Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1983.

Алпатов и др. 2008 – *В.М. Алпатов, П.М. Аркадьев, В.И. Подлесская*. Теоретическая грамматика японского языка. Т. 1. М., 2008.

Апресян 1986 – *Ю.Д. Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.

Бондарко 2003 - *А.В. Бондарко*. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. М., 2003.

Канэко 2005 – *Ю. Канэко*. Начинательность в системе аспектуальных значений в русском языке в сравнении с японским языком (опыт сопоставительного анализа языковой картины мира): Дис. … канд. филол. наук. Токио, 2005.

Лаврентьев 2009 – *Б.П. Лаврентьев*. Практическая грамматика японского языка. 5-е изд. М., 2009.

Маслов 2004 – *Ю.С. Маслов*. Избранные труды. М., 2004.

Мельчук 1967 – *И.А. Мельчук*. К понятию словообразования // ИАН СЛЯ. 1967. Т. XXVI. Вып. 4.

Мельчук, Холодович 1970 – *И.А. Мельчук, А.А. Холодович*. К теории грамматического залога (определение, исчисление) // Народы Азии и Африки. История, экономика, культура. 1970. № 4.

Недялков В., Сильницкий 1969 – *В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий*. Типология морфологического и лексического каузативов // А.А. Холодович (ред.). Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.

Недялков И. 1988 – *И.В. Недялков*. Типологизация языков по признаку наличия многозначных глагольных форм с прогрессивным и перфектным значениями // В.И. Подлесская (ред.). Синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях. Ч. 1. М., 1988.

Падучева 2001 - *Е.В. Падучева*. Каузативный глагол и декаузатив в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.

Плунгян 1998 – *В.А. Плунгян*. Перфектив, комплетив, пунктив: Терминология и типология // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Плунгян 2003 - *В.А. Плунгян*. Общая морфология. М., 2003.

Смит 1998 – *К.С. Смит*. Двухкомпонентная теория вида // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Холодович 1963 – *А.А. Холодович*. О предельных и непредельных глаголах (по данным корейского и японского языков) // Е.М. Пинус, С.И. Иванов (ред.). Филология стран Востока. Л., 1963.
Холодович 1969 – *А.А. Холодович*. Морфологический и лексический каузативы в японском языке // А.А. Холодович (ред.). Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
Холодович 1979а – *А.А. Холодович*. Результатив в современном японском языке // Японское языкознание. М., 1979.
Холодович 1979б – *А.А. Холодович*. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
Храковский 1981 – *В.С. Храковский*. Диатеза и референтность (к вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // В.С. Храковский (ред.). Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Hayatsu 1987 – *E. Hayatsu*. Taioo suru ta-dooshi-no aru ji-dooshi-no imiteki, toogoteki tokuchoo // Gengogaku kenkyuu. № 7. Kyoto, 1987.
Hayatsu 1989 – *E. Hayatsu*. Yuutai-ta-dooshi to mutai-ta-dooshi-no chigai-ni tsuite // Gengo kenkyuu. № 95. Tokyo, 1989.
Hujii 1976 – *T. Hujii*. «Dooshi + teiru»-no imi // H. Kindaichi (ed.). Nihongo-dooshi-no asupekuto. Tokyo, 1976.
Kageyama 1996 – *T. Kageyama*. Dooshi imi-ron. Tokyo, 1996.
Kindaichi 1976 – *H. Kindaichi*. Kokugo-dooshi-no ichibunrui // H. Kindaichi (ed.). Nihongo-dooshi-no asupekuto. Tokyo, 1976.
Kobayashi 1927 – *Y. Kobayashi*. Kokugo-kokubumpoo yoogi. Tokyo, 1927.
Kudoo 1982 – *M. Kudoo*. Shiteiru-keishiki-no imi-kijutsu // Musashi-daigaku jimbun-gakkai zasshi V. 13. № 4. Tokyo, 1982.
Kudoo 1989 – *M. Kudoo*. Gendai-nihongo-no paafekuto-o megutte // Kotoba-no kagaku 3. Tokyo, 1989.
Kudoo 1995 – *M. Kudoo*. Asupekuto-tensu-taikei to tekusuto. Tokyo, 1995.
Kudoo 2004 – *M. Kudoo et al*. Nihongo-no asupekuto-tensu-muudo-taikei. Tokyo, 2004.
Matsushita 1924 – *D. Matsushita*. Hyoojun nihon bumpoo. Tokyo, 1924.
Moriya 1994 – *M. Moriya*. Nihongo-no asupekuto-ron-ni kansuru oboegaki // Nihongo-nihonbungaku. № 4. Tokyo, 1994.
Nitta 1982 – *Y. Nitta*. Saiki-dooshi, saiki-yoohoo // Nihongo kyooiku. № 47. Tokyo, 1982.
Okuda 1985 – *Y. Okuda*. Asupekuto-no kenkyuu-o megutte // Y. Okuda. Kotoba-no kenkyuu. Josetsu. Tokyo, 1985.
Okutsu 1967 – *K. Okutsu*. Jidoo-ka tadoo-ka oyobi ryookyoku-ka tenkei // Kokugo-gaku 70. Tokyo, 1967.
Sakuma 1983 – *K. Sakuma*. Gendai-nihongo-no hyoogen to gohoo. Tokyo, 1983.
Soejima 2007 – *K. Soejima*. Nihongo-no asupekuto-taikei-no kenkyuu. Tokyo, 2007.
Suda 2010 – *Y. Suda*. Gendai-nihongo-no asupekuto-ron. Tokyo, 2010.
Suzuki 1972 – *Sh. Suzuki*. Nihongo bumpoo. Keitai-ron. Tokyo, 1972.
Suzuki 1976 – *Sh. Suzuki*. Nihongo-dooshi-no sugata-ni tsuite // H. Kindaichi (ed.). Nihongo-dooshi-no asupekuto. Tokyo, 1976.
Takahashi 1985 – *T. Takahashi*. Gendai-nihongo-dooshi-no asupekuto to tensu. Tokyo, 1985.

Сведения об авторе:

Юкари Конума
СПбГУ
ikezuki@yahoo.com

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. М.М. МАКОВСКИЙ

К ПРОБЛЕМЕ ВИДА В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

Критически рассматривая известную теорию В. Штрайтберга, утверждавшего, что в готском языке (как и в современных славянских языках) существовала грамматическая категория вида, реализуемая посредством префиксации (особенно с помощью «пустого» префикса *ga-*), автор статьи на основе анализа большого фактического материала показывает, что префиксация в готском не являлась средством перфективации. Учитывая факультативность «перфективирующего» использования префикса *ga-* (и других префиксов), можно прийти к выводу о том, что система перфективации в готском языке (если она действительно существовала) к моменту перевода библии с греческого на готский либо находилась в процессе далеко зашедшего распада, либо наметившаяся тенденция в перфективации не была завершена, либо вообще никакой категории вида в готском не было. В этой связи в статье делается попытка выяснить происхождение готского префикса *ga-* на основе фактов этимологии и истории культуры.

1

Светлой памяти моих дорогих учителей –
профессора Э.А. Макаева, академика
В.М. Жирмунского и академика О.Н. Трубачева
посвящается

Проблема вида в древних германских языках продолжает привлекать неослабеваемый интерес, о чем свидетельствует обширная и весьма противоречивая литература по этому вопросу, скопившаяся за последнее столетие. Вопрос, однако, до сих пор остается спорным и ждет дальнейшего рассмотрения.

В истории разработки интересующей нас проблемы намечаются, в основном, два диаметрально противоположных направления. Первая группа лингвистов исходит из того положения, что в древних германских языках, как и в языках славяно-балтийской группы, существовало ярко выраженное формальное различие совершенного и несовершенного видов, реализуемое корреляцией бесприставочных и приставочных глаголов (особенно так называемыми перфективирующими префиксами κατ'ἐξοχην: готск. *ga-*, др.-англ. *ge-*, др.-в.-нем. *gi-*). Кроме того, по мнению этих языковедов, префикс *ga-*, а также и прочие префиксы в форме настоящего времени, служили грамматическим показателем будущего.

На аналогию различения между германскими бесприставочными и приставочными глаголами, с одной стороны, и греческими имперфектом и аористом, с другой, указывал еще Ф. Штальдер [Stalder 1819], хотя он и не называл это различение видовым.

Положение о видовом значении германских префигированных глаголов (особенно с «*ga*») было сформулировано Я. Гриммом во «Введении» к его переводу сербской грамматики Вука (с. LII–LIII). Однако, как видно из позднейших материалов Я. Гримма, он не придавал большого значения своим замечаниям во «Введении», приводя их лишь в качестве непроверенной и спорной гипотезы. Так, в «Kleinere Schriften» Я. Гримм писал о своем «Введении» к грамматике Вука: «Den Bemerkungen S. XXXI- LIV steht ohne

Zweifel mancher Widerspruch, der sie läutern oder vernichten wird, bevor» (см. [Grimm 1869: 228]). Ср. также замечание Гримма в его письме к И. Добровскому от 25 марта 1824 г.: «Ich habe mir getraut, von meinem Standpunkte aus, über einzelne Materien der slawischen Grammatik abzustimmen. Sagen Sie mir unverhohlen, ob es lauter Thorheiten sind, oder sich eins und das andere hören lässt?» [Sauer 1908: 613]. Уже через два года после появления «Введения» Я. Гримм в «Deutsche Grammatik» полностью отвергает свои прежние тезисы и выдвигает новую глубоко ошибочную точку зрения о так называемой «аугментной» функции префиксов *ga-*, *ge-*, *gi-* в древних германских языках (ср. [Grimm 1870–1898, II: 844, IV: 149]).

Положения Я. Гримма во «Введении», отвергнутые им самим, явились отправным пунктом для работ германистов конца XIX – XX в., особенно представителей младограмматической школы (Вильгельм Штрайтберг [Streitberg 1891] и его последователи: [Reifferscheid 1874; Marold 1875; Dorfeld 1885; Kluyver 1890; Recha 1899; 1932; Van Swaay 1901; Vonhof 1905; Hesse 1906; Lorz 1908; Dahm 1909; Igel 1911; Delbrück 1913; Belden 1915; Kieckers 1928; Trnka 1929; Grewolds 1932; Rice 1932; Rosén 1934; Hollmann 1937; Pfister 1939; Pietsch 1940; Samuels 1949; Senn 1949; Павлова 1953; Pilch 1953; Scherer 1954; Иванова 1957; Пудић 1957; Маслов 1959; Сизова 1971б; Lloyd 1979]).

Следует отметить, что теория В. Штрайтберга полна противоречий и недостатков. Вместо изучения поставленной проблемы непосредственно на основе фактических данных самих германских языков, В. Штрайтберг рассматривал ее сквозь призму видовых отношений славяно-балтийских языков, a priori накладывал на германские языки готовую схему славянских видов. При этом он неверно понимал видовые отношения в старославянской глагольной системе, привнося сюда признаки, характерные для позднейших периодов развития этой системы. Известно, однако, что развитие формального различения видов с помощью префиксации в славянских языках относится к XI–XII вв. Как показывают специальные исследования, префиксация в старославянском языке вообще не влияла на видовую окраску глагола [Бородич 1953; ср. Kuryłowicz 1929; Havranek 1939; Dostal 1954; Ruzicka 1957].

В. Штрайтберг совершенно неправильно считал префиксацию универсальным средством выражения перфективного вида в славянских языках и это неверное положение переносил на германский материал. Между тем известно, что префиксация как средство выражения видовых значений в славянских языках тесно переплетается с суффиксацией. Интересно, что префиксы существуют в различных индоевропейских языках как с пространственным, так и с переносным (результативным, ингрессивным и др.) значением, что не ведет, однако, к образованию видов. Одной из крупных ошибок В. Штрайтберга было также и то, что он очень нечетко представлял себе различие между грамматической категорией вида и лексической категорией аспекта. Так, под грамматической категорией вида в славянских языках, которую он впоследствии ищет и в германских языках, он понимал «смысловую категорию» (Bedeutungskategorie). В связи с этим неудивительно положение В. Штрайтберга о том, что заложенные в семантике глагола значения оконченности и неоконченности действия являются грамматическим способом различения совершенного и несовершенного **видов**, существовавшим в готском наряду с префиксацией с помощью *ga-* (ср. выделенные Штрайтбергом узкие группы глаголов: 1) Perfektiva Simplicia: *briggan* «приносить», *finþþan* «узнать», *fraþjan* «понимать», *giban* «давать», *niman* «брать, взять», *qiþan* «говорить», *wairþan* «становиться, превращаться» и в противоположность им 2) Nichtperfektivbare Durativa: *haban* «иметь», *liban* «жить», *merjan* «сообщать», *ligan* «лежать», *frijon* «любить», *fijan* «ненавидеть», *rodjan* «говорить», *wisan* «быть»).

Однако как глаголы Nichtperfektivbare Durativa, так и Perfektiva Simplicia в древних германских языках могут использоваться с префиксом *ga-*, *ge-*, *gi-* [ср. гот. *ga-wairþan* (Mk 9, 18); *ga-haban* (Mk X, 23); *ga-wisan* (Lk 8, 27); *ga-qiþan* (J 9, 22); *ga-niman* (J 6, 45); др.-англ. *ge-bringan*, *ge-cuman*, *ge-niman*, *ge-weorþan*, *ge-licgan* и др.].

Отметим, что презенс многих глаголов, относимых к группе Perfektiva Simplicia, часто встречается в значении реального настоящего времени. Ср., например, гот. J VIII,

46: þande sunja qiþa, duhve ni galaubei (ср. [Marold 1875]). Многие глаголы Perfektiva Simplicia весьма непоследовательно употребляются в «перфективном» значении. Например:

I Cor VII, 21: skalks g a l a þo þs *wast*, ni karos (греч. ἐκλήθης)

I Cor VIII, 18: bimaitans g a l a þo þs *warþ* hvas, ni ufrakjai... (греч. εκλήθη)

Ср. также I Cor XIII, 11, где грамматическое значение глагола *fraþjan*, очевидно, не отличается от однородных с ним *rodjan* и *miton:* þan was niuklahs, swe niuklahs *rodida*, swe niuklahs *froþ*, swe niuklahs *mitoda* (греч. ὅτε ἤμεν νήπιος, ὡς νήπιος ἐλαλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλονιξόμην).

Lk IV, 2: ...Jah ni matida waiht in dagam jainaim, jah at ustauhanaim þaim dagam, biþe gredags *warþ* (греч. ἐπείνασεν)

Lk III, 16: iþ *gaggiþ* swinþoza mis (греч. ἔρχεται)

Mk II, 25: Jah is qaþ du im: niu ussugguþ aiw hva gatawida Daweid, þan gredags *was* (греч. ἐπείνασεν)

Mk I, 7: *qimiþ* swinþoza mis (греч. ἔρχεται)

Глаголы Perfektiva Simplicia могли употребляться после глагола duginnan. Например, Lk XV, 4: jah is dugann alaþabra wairþan (греч. ἤρξατο ὑστερεῖσναι); Mt XI, 7 dugann qiþan (греч. ἤρξατο λέγεῖν) и т. д.

Изучение фактического материала показывает неправомерность утверждения В. Штрайтберга и Э. Кикерса о том, что причастие II «перфективных» глаголов в древних германских языках не могло сочетаться с глаголом «быть», а употреблялось только с глаголом «стать» (гот. wairþan, др.-англ. weorþan, др.-в.-нем. uuerdan) [Kieckers 1928]. Ср., однако, готск. Ef IV, 30: gasiglidai sijuþ (греч. ἐσφραγίσθητε), Ef 1, 13: gasiglidai waurþuþ (греч. ἐσφραγίσθητε), но с другой стороны, Mt XXVII, 8: haitans warþ (греч. ἐκλήθη), I Tim III, 16: merids warþ (греч. ἐκηρύχθη) и другие подобные случаи. Ср. также употребление глаголов *uuësan* и *uuërdan* в следующих древневерхненемецких примерах:

Tat. 70, 2: Thô tág *uûas giuuortan* gihalôta zi imo sinê iungiron (лат. et cum dies *factus esset*)

Tat. 212, 1: Thô iz âband *uuortan uuard*, quam sum man otag, edli ambaht... (лат. cum sero autem *factum esset*)

Нельзя согласиться и с тезисом Р. Пфистера в том, что готские глаголы в Praesens historicum имели исключительно «перфективный» характер (последнее обстоятельство, по мнению Р. Пфистера, является одним из доказательств справедливости теории В. Штрайтберга). Приведем несколько примеров факультативного использования «перфективных» глаголов в Praesens historicum. Ср.:

Lk VIII, 49: nauhþan imma rodjandin *gaggiþ* sums manne fram þis fauramaþleis... (греч. ἔρχεαι)

J XVIII, 28: iþ eis *tauhun* Jesu fram Kajafin in praitoriaun (греч. ἄγουσιν)

Mk V, 22: Jah sai, *qimiþ* ains þize synagogafade namin J a e i r u s... (греч. ἔρχεται).

J IX, 13: *gatiuhand* ina du Fareisaium þana, saei was blinds (греч. ἄγουσιν)

В следующем предложении однородные члены (gaggiþ, qiþiþ) не должны отличаться по своему грамматическому значению: J XII, 22: *Gaggiþ* Filippus jah *qiþiþ* du Andraiin, jah aftra Andraias jah Filippus qeþun du Jesua (греч. ἔρχεται Φιλλιπος και λέγει τῶ Ανδρέα...).

С другой стороны, возможность употребления настоящего времени так называемых «перфективных» глаголов в значении Praesens historicum, а не будущего, лишний раз свидетельствует о том, что эти глаголы не были «перфективными» (ср. J VI, 19; Mk V, 15, 40).

Выдвигая справедливое положение о необходимости считаться с отклонениями от оригинала, В. Штрайтберг далеко не всегда придерживается его в своем исследовании. Так, он нередко говорит о «перфективном» значении готских префигированных глаголов с *ga* и в тех случаях, где они соответствуют греческим глаголам с приставкой, например, *gabauan* (κατασκηνοδεῖν); *gabeidan* (ὑπομενεῖν); *gaswiltan* (ἀποθανεῖν); *gaþeihan* (ἀναθάλλειν); *garinnan* (καταλαμβανεῖν) и т. д. Такие места, дающие возможность говорить о калькировании, естественно, не могут быть поставлены в один ряд с отклонениями от оригинала.

Излюбленным приемом исследования В. Штрайтберга является толкование готских текстов. Следует отметить, что толкования В. Штрайтберга нередко совершенно произвольны и обусловлены его стремлением подогнать возможно большее количество случаев под выдвинутую им теорию, любыми средствами поддержать заранее надуманный тезис. Особенно часто В. Штрайтберг пользуется толкованием, когда разбираемый им случай стоит в явном противоречии с его ошибочным положением о том, будто по форме греческого глагола (имперфект, аорист) можно определить «видовую» характеристику соответствующего готского глагола. Ср. PBB XV, с. 155: Mk III, 6: Fareisaieis sunsaiw... garuni *gatawidedun* (ἐποίουν) «veranstalteten eine Beratung, nicht aber hielten Rat». С другой стороны, Lk VIII, 8: *tawida* akran (ἐποίησεν) – «trug frucht, nicht aber brachte frucht». Неясно – почему.

Однако, несмотря на все усилия В. Штрайтберга, многие места готской библии все же не подходят под выдвинутую им схему. Стараясь сгладить пронизывающие его теорию противоречия, Штрайтберг, без какого-либо на то основания, пытается «объяснить» их закономерностями стиля (аллитерация, игра слов, уподобление рядом стоящему глаголу и т. д.) или вообще объявляет «порчей» в рукописи («Verderbnis») и соответствующим образом «исправляет» в своем издании готской библии. Приведем несколько примеров: J VI, 45: hvazuh nu sa *gahausjands* at attin jah ganam gaggiþ du mis (греч. ἀκουων). В сноске к этому месту в своем издании готской библии (с. 35) Штрайтберг замечает: «gahausjands steht wohl unter dem Einfluss von *ganam*»; Mk XIV, 6: þann goþ waurstw *waurhta* bi mis (греч. εἰργάσατο). Штрайтберг пишет (PBB, XV, с. 156): «Jedenfalls um des Wortspieles willen ist hier das – an sich sehr wohl mögliche – *ga* weggelassen».

Ниже следуют места готской библии, объявляемые Штрайтбергом «Verderbnisse»: Lk 14, 35 (PBB, XV, с. 83, 164); Lk 10, 24 (с. 85); Mk IX, 35 (с. 87, 167); Mt IX, 25 (с. 90, 153); Mk V, 22 (с. 99, 154, 166); Mk IX, 50 (с. 127); Ef VI, 21 (с. 127); Lk XIV, 18 (с. 158); Lk VIII, 21 (с. 164); Lk 1, 52 (с. 174).

Интересно отметить, что элемент *ga-* мог отделяться от слова (ср. гот. 2 Cor 8, 18: ga-þan-miþ-sandidedum; J 5, 46: *ga-þau-laubidedeiþ*), а с другой стороны, мог удваиваться в слове (2 Cor 5, 20: *ga-ga-waïrþnan*; Ef 4, 15: *ga-gatilop*; Mk 7, 23: *ga-gamainjan* и др.) [Сизова 1971а].

Отметим, что в своей работе В. Штрайтберг не проводит фронтального анализа готского материала, а оперирует в основном так называемыми «Musterbeispiele» (он исследовал всего 20 готских глаголов). Крупным методическим недостатком в исследовании Штрайтберга, во многом затруднившим правильное разрешение проблемы, является и то, что он не учитывал данных родственных древних германских языков.

Вторая группа языковедов – К. Гёдше, В. Моурек, А. Бэр, Б. Трнка и др. [Delbrück 1913; Goedsche 1940; Mourek 1890; Beer 1915–1918; Trnka 1929] – полностью или частично отвергают тезисы Штрайтберга. Однако в своих методологических установках эти исследователи во многом повторяют и развивают отрицательные стороны методологии В. Штрайтберга. Так, в монографии «Три этюда о глагольном виде в готском языке» чешский языковед Антонин Бэр [Beer 1915–1921], полностью отвергая теорию Штрайтберга, заявляет, что видовое значение готских (приставочных и бесприставочных) глаголов целиком зависит от контекста. Однако в большом количестве случаев возможно (а поэтому совершенно произвольно) толкование форм глагола как в перфективном, так и в имперфективном смысле, особенно если учесть, что отношения

современного языка легко могут быть проецированы в древность, тогда как в готском языке эти отношения могли не совпадать с современными. При этом толкования в одном из двух возможных значений ведет фактически к подмене научно-лингвистического анализа субъективно-психологической интерпретацией материала. Что касается префикса *ga-*, то его частое употребление обусловлено, согласно А. Бэру, следующими причинами. В своем стремлении сохранить форму оригинала Вульфила имел тенденцию передавать греческие бесприставочные глаголы готскими бесприставочными и, наоборот, греческие приставочные глаголами с префиксом. Однако тенденция эта, по Бэру, нейтрализуется: 1) влиянием *ga-* причастия II на остальные глагольные формы (особенно на индикатив претеритума): *ga-* в причастии II было, согласно Бэру, «необходимо» (ср. ч. III, с. 115). Фактический материал полностью опровергает это положение Бэра: причастие II в равной мере встречается как с *ga-*, так и без префикса, например, Mt 25, 41: manwido (ἡτοιμασμένον), ср. 2 Tim 2, 21: gamanwiþ (ἡτοιμασμένον); I Thess 3, 3: satiþs (κείμαί), ср. Ph 1. 16: gasatiþs (κεῖμαι); ср. также: Col 3, 15: laþoþs (ἐκλήθης), I Cor 7, 21: galaþoþs (ἐκλήθης); 2) различными стилистическими закономерностями, а именно:

а) чередованием простых и сложных глаголов;

б) влиянием соседних префигированных глаголов на стоящие рядом бесприставочные (тавтологическое употребление);

в) аллитерацией;

г) подбором подходящих синонимов.

Не подлежит сомнению, что при переводе греческой библии Вульфила руководствовался определенными стилистическими моментами. Однако при отсутствии точных и бесспорных доказательств о наличии этих закономерностей, не следует делать каких-либо категорических утверждений [Kauffmann 1919–1920]. Важно отметить, что в своем исследовании Бэр делает основной упор именно на указанные стилистические «закономерности», объясняет ими подавляющее большинство употреблений *ga-* при глаголах или его отсутствие.

Немалую роль в доказательствах Бэра играют и толкования готских текстов. «Опровергая» толкования Штрайтберга, Бэр дает свои собственные, не менее произвольные толкования (ср. с. 93, ч. 1 его работы).

Нигилистически отрицая все положения Штрайтберга, А. Бэр проходит мимо и некоторых безусловно правильных моментов, содержащихся в работе этого ученого. Так, он совершенно не считается с отклонениями от оригинала.

В своей статье «К вопросу о формировании совершенного и несовершенного вида в славянских языках» В.В. Бородич [Бородич 1953] высказывает мысль о том, что *ga-* в готском языке служил для различения глаголов состояния от глаголов перехода к состоянию (категория определенности / неопределенности). Это положение, однако, не подтверждается фактическим материалом. Во-первых, *ga-* мог употребляться не только с глаголами состояния, которые в готской библии исчисляются единицами, но и с другими глаголами (например, *taujan-gataujan*). Кроме того, как показывает анализ, готские бесприставочные глаголы состояния (*haban*, *sitan*, *standan*, *þahan*) нередко имели то же лексическое значение, что и соответствующие им приставочные глаголы (*gahaban*, *gasitan*, *gestandan*, *gaþahan*).

2

Одним из важнейших вопросов, встающих при исследовании, является методика проведения анализа, характер которой в конечном итоге определяет правильность и научность полученных выводов. Большим преимуществом при исследовании структурных особенностей готского языка является возможность сличения с греческим подлинником. Своеобразие готского языка, его языковые нормы выступают четко лишь на фоне сравнения готского перевода с оригиналом. Поэтому при исследовании готского материала в настоящей работе последний дается постоянно в связи, в отношении с соответствующими формами греческого оригинала. Мы пользуемся текстом

готской библии, изданной В. Штрайтбергом [Streitberg 2000]. Все выводы делаются на основе обобщения большинства сходных случаев. При этом необходимо иметь в виду, что только в том случае, если при сопоставлении переводного текста с оригиналом наблюдается твердо выдерживаемое постоянство строго определенных отклонений от оригинала, можно предположить наличие формирующихся или сформировавшихся языковых явлений в языке перевода.

При исследовании следует широко использовать сравнение с родственными древними германскими языками. Такое сравнение важно потому, что создает определенный исторический фон, перспективу при анализе готского материала. Кроме того, сравнение с родственными языками может дать нам представление о последовательности употребления в древних германских языках префиксов *ga-* (готск.), *gi-* (др.-в.-нем.), *ge-* (др.англ.) с глаголами для сообщения им перфективного характера. Необходимо, однако, указать, что сравнение с родственными языками возможно не всегда, так как в соответствующем др.-германском тексте может оказаться бесприставочный глагол или глагол другого корня. При этом мы можем сравнивать только евангельские тексты, ибо, как известно, на древнеанглийском и на древненемецком языках нет перевода посланий апостола Павла.

Одним из важнейших путей исследования является сравнение тех мест готской библии, где при одинаковой форме в греческом оригинале (например, аорист или перфект и в том и в другом случае) в готском встречаются в одном случае – бесприставочный, а в другом – приставочный глагол с *ga-*. Сопоставление таких мест (особенно если они являются параллельными) показывает, что употребление префикса *ga-* с глаголами весьма часто было факультативным и никак не влияло на грамматическое или лексическое значение глагола. При этом факультативное использование префикса распространяется на все глагольные формы, с которыми он сочетается. Обратимся к фактическому материалу и рассмотрим наиболее характерные из этих случаев.

Претеритум

Mk 6, 17: Sa auk raihtis Herodes insandjands *gahabaida* Johannen jah gaband ina in karkarai (греч. ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τόν Ἰωαννην)

(Подобное же употребление *gahaban* находим: *Mk 3, 21*; *Sk 8, 3*)

Mt 26, 65: *Hausidedub þo* wajamerein is: hva izwis þugkeiþ? (греч. ηκούσατε τὴν βλασφημίαν αυτοῦ): ср. то же место в др.англ. gee *geherdon* ð ebolsung, huæd ðyncge

Mt 5, 21 (Mt V, 27, 33, 38, 43 – тот же текст): *Hausidedub* þatei qiþan ist þaim airizaim: ni maurþjais (греч. ηκουσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις)

ср. *J 8, 26*: manag skal bi izwis rodjan jah stojan; akei saei sandida mik sunjeins ist; jah ik þatei *hausida* at imma, þata rodja in þamma fairhvau (греч. ηκοῦσα παρ'αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εις τὸν κοσμον)

Mt 9, 25: þanuh þan usdribana warþ so managei; atgaggands inn *habaida* handu izos jah urrais so mawi (греч. είσελθών έκράτησεν τῆς χειρός αὐτῆς)

Mt 26, 65: Sai, nu *gahausidedub* tho wajamercin is 66 hva izwis þugkeiþ? (греч. ἴσε νῦν ηκουσατε τὴν βλασφημίαν αυτοῦ)

J 3, 32 (= *Sk IV d*): jah þatei gasahv jah *gahausida* þata weitwodeiþ, jah þo weitwodida is ni ainshun nimiþ (греч. και ὃ έυρακεν και ἤκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ)

Употребление форм *hausida* и *gahausida* во многих случаях стоит в противоречии с традиционной теорией. Это вынужден был признать и сам В. Штрайтберг. Он пишет: «Странно, что в прошедшем времени так сильно преобладает простой глагол, а перфективность так редко находит выражение, хотя большинство мест, где стоит имперфектив (под этим термином, в противоположность перфективу, Штрайтберг понимал

любой бесприставочный глагол – разрядка моя. – *M. M.*), вполне были бы совместимы с перфективизацией» [Streitberg 1891: 158].

На с. 85 Штрайтберг отмечает, что греч. аорист ἤκουσα мог переводиться как через g a h a u s i d a, так и через h a u s i d a, что, однако, «не вело к тому, чтобы смысл глагола нарушался в одном из двух вариантов перевода». На с. 159 Штрайтберг в недоумении констатирует: «Причина этой а н о м а л и и (разрядка моя. – *M.M.*) мне не ясна; то, что в сколько-нибудь значительном количестве случаев мы имеем дело с порчей в рукописи, очевидно, исключено».

Lk 9, 17: jah *matidedun* jah sadai waurþun allai… (греч. ἔφαγον)

Mk 9, 38: Andhof þan imma Johannes qiþands: laisari! *Sehvum* sumana in þeinamma namin usdreibandan unhulþons, saei ni laisteiþ unsis, jah waridedum imma, unte ni laisteþ unsis (греч. διδασκαλε ἐἰδομέν τίνα τῶ ονόματἰ σοῦ εκβάλλοντα δαιμόνια)

ср. др.-англ.: geonduearde him Joh. Cuocþende la laruu the *gesegon* sum other on noma thin forðorpen midh diablum sethene tylges us (приводится по *Lindisfarne Manuscript*);

ср: также: *Lk 19, 37*: Biþe þan is nehva was juþan at idbaljin þis fairgunjis alewabagme, dugunnun alakjo managei siponje faginondans hazjan guþ stibnai mikilai in aliaizo þoze *sehvun* mahte (греч. περί πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων)

ср. *I Cor 7, 15*: ith jabai sa ungalaubjands skaidith sik, skaidai; nist gaþiwaids brothar aiþþau swistar in thaim swaleikaim; aththan in gawairþja *laþoda* uns guth (греч. ἐν δέ εἰρηνη κέκληκεν ημᾶς ὁ θεός)

1 Thess 2, 14: …unte þata samo *wunnuþ* jah jus… (греч. ἐπάθετε)

Mk 8, 8: *gamatidedun* þan jah sadai waurþun … (греч. ἔφαγον)

Lk 9, 49: Andhafjands þan Johannes qaþ: talzjand, *gasehvum* sumana ana þeinamma namin usdreibandan unhulþons jah waridedum imma, unte ni laisteþ miþ unsis (греч. ἐπιστάτα, ἐἰδομέν τίνα ἐπι τῶ ὀνόματι σοῦ ἐκβαλλοντα δαιμόνια)

Lk 2, 20: Jah gawandidedun sik þai hairdjos mikiljandans jah hazjandans guþ in allaize þizeei gahausidedun jah *gasehvun*, swaswe rodiþ was du im (греч. ἐπί πᾶσιν οἰς ἤκουσαν καί εἶδον)

1 Cor 7, 17: ei ni, hvarjammeh swaswe gadailida guþ, ainhvarjatoh swaswe *galaþoda* guþ, swa gaggai, jah swa in allaim aikklesjom anabiuda (греч. ὡς κέκληκεν ὁ κυριος)

Gal 3, 4: swa filu *gawunnuþ* ware? aþþan jabai sware! (греч. ἐπάθετε)

Интересны случаи, в которых при одной и той же греческой форме в готском стоят синонимичные приставочный и бесприставочный глаголы разных корней:

Lk 1, 39: Usstandandei þan Mariam in þaim dagam *iddja* in bairgahein sniumundo in baurg Judins (греч. ἐπορεύθη)

Ср. *Ef 1, 19*: jah hva ufarassus mikileins mahtais is in uns thaim galaubjandam bi waurstwa mahtais swinþeins is 20. þatei *gawaurhta* in Xristau urraisjands ina us dauþaim jah gasatida in taihswon seinai in himinam (греч. ἣν ἐνηργησεν ἐν τῶ χριστῶ)

Lk 8, 8: jah anþar gadraus ana airþai godai jah *tawida* akran taihuntaihundfalth (греч. ἐποίησεν)

2 Tim 4, 10: unte Demas mis bilaiþ, frijonds þo nu aid, jah *galaiþ* du Thaissalauneikai, Xreskus du Galatiai, Teitus du Dalmatiai (греч. ἐπορεύθη)

Gal 2, 8: unte saei waurstweig gatawida Paitrau du apaustaulein bimaitis, waurstweig *gatawida* jah mis in þiudos: в «*Codex A*» вместо *gatawida* на краях рукописи оба раза стоит *waurhta* (*Randglosse*) (греч. ἐνεργήσας Πέτρω εις ἀποστολήν τῆς περιτομης. ἐνήργησεν κάμοί εις τά ἔθνη…)

Lk 19, 18: jah qam anþar qiþands: frauja, skatts þieins *gawaurhta* fimf skattans (греч. ἐποίησεν)

Факультивное употребление *ga-* в прошедшем времени обнаруживается также, например, при сопоставлении следующих мест библии: Lk 19, 21 – Lk 1, 66 (lagjan – galagjan); 2 Cor 7, 12 – 2 Cor 2, 9 (meljan – gameljan); Lk 14, 20 – Mk 6, 17 (liugan – galiugan); Mk 3, 8 – Lk 9, 43 (taujan – gataujan); Mt 27, 11 – Lk 6, 8 (standan – gastandan); Lk 2, 28 – Lk 9, 16 (þiuþjan – gaþiuþjan); Mt 25, 38 —J 19, 2 (wasjan—gawasjan); 1 Thess 5, 9 – 1 Cor 12, 18 (satjan – gasatjan); Mt 26, 69 – J 6, 3 (sitan – gasitan); 1 Thess 2, 16 – Ph 3, 16 (sniwan - gasniwan); Col 3, 25 – Filem 18 (skaþjan – gaskaþjan); Lk 7, 46 – J 12, 3 (salbon - gasalbon).

Рассмотрение фактического материала показывает, что префикс *ga-* нельзя считать формальным показателем будущего времени, как это провозглашается традиционной теорией. Как показало наше исследование, из 100 случаев, в которых встречаются готские приставочные глаголы с *ga-* в настоящем времени (отклонения от оригинала), в 51 они соответствуют греческому настоящему времени и имеют значение реального настоящего времени (не считая случаев, в которых находим готские глаголы, не встречаемые без *ga-*, или случаи, в которых приставочная форма с *ga-* в настоящем времени соответствует греческой приставочной форме настоящего времени). В тех же случаях, где готские приставочные глаголы в настоящем времени соответствуют греческому бесприставочному будущему, употребление префикса весьма факультативно. Ср.: 1 Cor. 11, 30: ...in izwis managai siukai jah unhailai *jah gaslepand* ganohai (греч. χοιμῶώνται);

Lk 20, 13: Qaþ than sa frauja this weinagardis: hva taujau? Sandja sunu meinana thana liuban aufto þana gasaihvandans *aistand* (έντραπήσονται)

Mk 12, 6: þanuh, nauhþanuh sunu aigands, liubana sis, insandida jah þana du im spedistana, qiþands þatei *gaaistand* sunu meinana (έντραπήσονται)

Настоящее время приставочных глаголов с *ga-* со значением презенса находим еще в следующих местах библии:

2 Tim 2, 23 (gabairan); Mt 10, 27; Mk 8, 18; 2 Cor 12, 6; Mt 11, 4; 11, 5; Lk 7, 22; 10, 24 (gahausjan); 1 Cor 5, 6 (gabeistjan); Lk 19, 8 (gadailjan); J 15, 2 (gahrainjan); R 9, 33; J 15, 6 (galagjan); 2 Cor 12, 10 (galeikan); Gal 5, 6 (gamagan); J 16, 21; Mk 8, 18 (gamunan); Lk 7, 44; Mk 8, 18; Mt 9, 4; Mk 8, 24; J 9, 41; R 7, 23; 2 Cor 7, 8; 12, 6; J 9, 9 (gasaihvan); J 8, 46 (gasakan); Lk 8, 16 (gasatjan) Mk 9, 44; 9, 46 (gaswiltan); Mk 4, 32; Mk 7, 37; Mt 7, 17; J 5, 21 (gataujan); J 9, 13 (gatiuhan); 2 Cor 5, 8; 7, 16; 10, 1; 10, 7; Gal 5, 10; Ph 2, 24; R 8, 38; R 14, 14; 2 Thess 3, 4; 2 Tim 1, 5; 1, 12 (gatrauan); Mk 9, 18 (gawairþan); 1 Cor 10, 16 (gaweihan), ср. Mk 7, 20 – Mk 7, 23 (gagamainjan).

Весьма показательны случаи, когда однородные сказуемые в предложении переводятся параллельно и приставочным, и бесприставочным глаголом.

Ср. Lk 1, 17: jah silba fauraqimid in andwairþja is in ahmin jah mahtai Haileiins *gawandjan* hairtona attane du barnam jah untalans in frodein garaihtaize, *manwjan* fraujin managein gafahrida (греч. έπιστρέψαι... έτοιμάσαι)

R 9, 18: þannu nu jai þanei wili *armaiþ*, iþ þanei wili *gahardeiþ* (греч. έλεει ... σχηρύνει)

Ср. однородную с *gahardeiþ* бесприставочную форму *armaiþ*.

1 Cor 7, 14: *Weihaida* ist qens so ungalaubjandei in abin jah *gawehaids* ist aba sa ungalaubjands in qenai; aiþþau barna izwara unhrainja weseina, ith nu weiha sind (греч. 'Ηγιασται γάρ ό άνήρ ό άπιστις έν τῆ γυναικί, καί ήγιασται ή γυνή άπιστος)

Ср. R 9, 23 (Fauragamanwida-laþoda); Lk 10, 24 (hausidedun-gasehvun); 2 Cor 1, 6 (þreihanda-gaþrafstjanda); R 12, 16 (miþgawisandans-hugjandans); Lk 1, 72 (taujan-gamunan); 1 Thess 2, 11 (gaþlaihandans-bidjandans); R 12, 11 (faginondans, haitandans, galaistjandans); Mk 7, 37 (gahausjan-rodjan); 2 Cor IV, 9 (wrikanai – gadrausidai) и др.

Причастия I и II

Факультативность употребления *ga-* с глаголами ярко выступает и в форме причастий I и II. Рассмотрим наиболее интересные случаи.

Lk 18, 24: gasaihvands þan ina Jesus gaurana waurþanona qaþ: hwaiwa agluba þai *faihu habandans* inn galeiþand in þiudangardja gudis (греч. πῶς δυσκολως οί τά χρήματα ἔχοντες εἰσελευσονται εις τήν βασιλείαν τοῦ θεοῦ)

Col 2, 19: jah ni habands haubiþ, us þammei all leik, þirh gawissins jah gabindos auknando jah *þeihando* wahseiþ du wahstau guþs (греч. ἐξ οὗς πᾶν τό σῶμα διά τῶν ἀφῶν καί συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον και συμβιβαζομενον)

Mk 4, 9: Saei habai ausona *hausjandona* gahausjai (греч. ὗς ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω)

Mk 4, 23: Jabai hwas habai ausona hausjandona. gahausjai (греч. ἐὶ τις ἔχει ὦτα ἀκὀυειν, ἀκουέτω)

Ср. др.-англ.: *Мк 4, 23*: Gehyre, gif hwa earan haebbe to *gehyranne*. Такой же текст в готском находим еще: *Mk VI, 16*; *Mt XI, 15*

Mk 4, 11: ...iþ jainaim þaim uta in gajukom allata wairthith 12. ei saihvandans saihvaina jah ni gaumjaina, jah *hausjandans* hausjaina jah ni fraþjaina (греч. ἰνα βλέποντες βλεπωσιν καί μη' ἰσωσιν καί ακούοντες ακουωσιν...)

Mt 27, 48: Jah þragida ains us im jah nam swam fulljands aketis, jah *lagjands* ana raus draggkida ina (греч. ευθέως δραμών εῖς εξ αυτών καί λαβῶν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καί περίθείς καλάμω έποτιζεν αύτόν)

Ср. *Lk 10, 20*: swеþauh þamma ni faginoþ ei thai ahmans izwis ufhausjand, iþ izwis faginod in þammei namna izwara *gamelida sind* in himinam (греч. ἐγράφη)

Ср. еще: *R 15, 4*: swa filu auk *swe fauragameliþ warþ* du unsarai laiseinai gameliþ warth, ei þairh þulain jah gathra fstein boko wen habaima (греч. προὲγράφη)

Gal 5, 13: jus auk du freihalsa *laþodai sijuþ*, broþrjus (греч. ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερία ἐκλήθητε)

Mk 10, 23: jah bisaihvands Jesus qaþ siponjam seinaim: sai, hwaiwa agluba þai *faiho gahabandans* in þiudangardja gudis galeiþand (греч. πῶς δυσκολως οί τα χρηματα ἔχοντες είς τήν βασιλείαν τοῦ θεοδ...)

Ef 4, 15: ize ist haubiþ, Xristus, 16. us þammei all leik gagatiloþ jah *gagahaftiþ* þairh allos gawissins andstaldis, bi waurstwa in mitaþ ana ainhvarjoh fero, uswahst leikis taujiþ du timreinai seinai in friaþwai (греч. ἐξ ού πᾶν τό σῶμα συναρμολονούμενον καί σύμβιβαζόμενον διά...)

Lk 14, 35: Saei habai ausona *gahausjandona* gahausjai (греч. ὁ ἔχων ὦτα ὀχούειν, ἀκουέτω)

ср. др.-англ.: *Lk 14, 35*: gehyre sethe earan haebbe to *gehyranne*. Из сопоставления с др.-англ. примерами *Lk 14, 35* и *Mk 4, 23* становится ясным, что *gahausjandona* в готском тексте *Lk 14, 35* не является «*Verderbnis*», как это утверждал В. Штрайтберг

Lk 8, 10: iþ is qaþ: izwis atgiban ist kunnan runos þiudinassaus guþ iþ þaim anþaraim in gajukom, ei saihvandans ni gasaihvaina jah *gahausjandans* ni fraþjaina (греч. ἰνα βλέποντες μή βλέπωσιν καί άκούοντες μή συνιῶσεν)

Mk 15, 36: þragjands than ains jah gafulljands swamm akeitis *galagjands* ana raus dragkida ina (греч. δραμών δὲ εἶς και γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθίΐεὶς τε καλάμω επότιζεν αὐτόν)

Подписи к посланиям апостола Павла:

К *2. Cor:* Du Kaurinthium anþara ustauh. Du Kaurinthium *meliþ ist* us Filippai Makidonais (греч. ἐγράφη)

К *Rom:* Du Rumonim *meliþ ist* us Kaurinþon (греч. ἐγράφη)

Gal 3, 1: O unfrodans Galateis, hvas izwis afhugida sunjai ni uf hausjan, izwizei faura augam Jesus . Xristus *faurameliþ was*, in izwis ushramiþs (греч. προὲγράφη)

I Cor 7, 21: skalks *galaþoþs wast*, ni karos; akei þauhjabai magt freis wairþan, mais brukei (греч. δοδλος ἐκλήθης μή δοι μελετώ)

Col 3, 15: jah gawairþi gudis swignjai(th) in hairtam izwaraim; in thammei jah *laþodai wesuþ* in ainamma leika jah awiliudondans wairþaiþ (греч. ἐκλήθτε)

Ef 4. 1: Bidja nu izwis ik bandja in fraujin, wairþaba gaggan thizos latþonais þizaiei *laþodai siuþ* (греч. περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε)

I Tim 6, 12: haifststei tho godon haifst galaubeinais, undgreip libain aiweinon du þizaiei *laþoþs is* jah andhaihaist þamma godin andahaita in andwairþja (греч. εις ἣν εκλήθης)

I Cor 7, 18: bimaitans *galaþoda warþ* hvas, ni ufrakjai; mith taurafillja galaþoþs warth hvas, ni bimaitai (греч. περιτετμημένος τις ἐκλήθη, μή ἐπισπασθω)

Ср. также: R 12, 11 – R 9, 31 (laistjandans – galaistjandans); Ef 3, 3 (gakannida was – kunþ was); 2 Cor 8, 8 – 1 Cor 11, 28 (kiusands – gakiusandans); J 18, 2 – J 18, 5 (galewjands – lewjands); Mt 25, 41 – 2 Tim 2, 21 (manwido – gamanwiþ); 1 Cor 8, 10 – 1 Cor 10, 18 (gasaliþ – saljada); 1 Thess 3, 3 – Ph 1, 16 (satidai sijum – gasatiþs im); Mk 9, 35 – Lk 5, 3 (sitands – gasitands); Lk 19, 8— Lk 18, 40 (standands – gastandands); Lk 6, 47 – Mk 15, 29 (timrjandin – gatimrjands); Lk 7, 9 – Lk 7, 44 (wandjands – gawandjands); 1 Tim 5, 10 – 2 Thess 1, 7 (gaþraihanaim – winnandam); 1 Cor 7, 6 – Lk 1, 52 (hnaiwidaim – gahnaiwidans); Mk 5, 22 – Lk 8, 28 (saihvands – gasaihvandans); Mk 10, 49 – Lk 7, 37 (gastandands – standandei); Ef 4, 15 – Gal 4, 16 (sunja taujandans – sunja gateihands).

Следует, наконец, привести примеры факультативного употребления *ga-* в оптативе, инфинитиве и императиве.

Оптатив

Gal 6, 4: iþ waurstw sein silbins *kiusai* hvarjizuh, jah þan in sis silbin hvoftulja habai jah ni in anþaramma (греч. τὸ δὲ ἔργον ἑαυοῦ δοκιμαζὲτω ἐκαστος)

I Cor, 9, 20: Jah warþ Judaium swe Judaius, ei Judaiuns *gageigaidedjau;* þaim uf witoda swe uf witoda, ni wisands silba uf witoda ak uf anstai, ei thans uf witoda *gageigaidedjau*

21. thaim witodalausam swe witodalaus, ni wisands witodis laus guþs, ak inwitoþs Xristaus, ei *gageigau* witodalausans (глосса: *gawandidedjau*) (греч. 20. καί ἐγενὸμην τοῖς Ἰουδαιόις ως ἴουδαίόις, ἵνα ἰουδαίους κερδήσω... ἵνα τοὺς ὑπό νόμον κερδὴσω 21. τοις ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ, ἀλλ' ἔννομος χριστοῦ, ἵνα κερδησω ἀνόμους)

J 6, 30: qeþun du imma, aþthan hva taujis þu taikne, ei *saihvaima* jah galaubjaima þus? (греч. ἵνα ἴδωμεν καί πιστεὺσωμὲν τοι)

I Cor 11, 28: aþþan *gakiusai* sik silban manna, jah swa this hlaibis matjai jah this stiklis drigkai (греч. δοκιμαζέτω δέ έαυσόν ἄνθρωπος)

Ph 3, 8: Aþþan sweþauh all domja sleiþa wisan in ufarassaus kunþjis Jesuis Xristaus fraujins meinis, in thizei allamma gasleiþiþs im jah domja smarnos wisan allata, ei Xristau *du gawaurkja habau* (греч. καί ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι, ἵνα χριστόν κερδὴσω)

Mk 15, 32: Sa Xristus, sa þiudans Israelis, atsteigaidau nu af thamma galgin, ei *gasaihvaima* jah galaubjaima (греч. ἵνα ἰδωμεν καί πιστεὺσωμεν)

Ср.

Lk 18, 37: gataihun þan imma þatei Jesus Nazaraius þairhgaggiþ. 38. iþ is ubuhvopida qiþands: Jesu, sunu Daweidis, armai mik! 39. jah thai fauragaggandans andbitun ina ei *þahaidedi;* iþ is und filu mais hropida: sunau Daweidis, armai mik! (греч. καί οί προὰγοντες ἐπετὶμων·ἀὐτῶ ἵνα σιωπήση)

Mk 10, 47: jah gahausjands thatei Jesus sa Nazaraius ist, dugann hropjan jah qiþan: sunau Daweidis, armai mik! 48. jah hvotidedun imma managai ei *gaþahaidedi*; ith is filu mais hropida: sunau Daweidis, armai mik! (греч. καί ἐπετὶμων αὐτῷ πολλοι ἵνα σιωπήση)

Инфинитив

Ср.

Mk 3, 4: jah qaþ du im: skuldu ist in sabbatim þiuþ taujan aiþþau unþiuþ taujan, saiwala *nasjan* aiþþau usqistjan. (греч. ψυχήν σῶσαι)

Lk 9, 22 (подобный текст Lk 8, 31): qiþands þatei skal sunus mans manag *winnan* jah uskusans fram sinistam wairþan jah gudjam jah bokarjam jah usqiman jah þridjin daga urreisan (греч. ὅτι δεῖ τόν υἱον τοῦ ανθρῶπου πολλά παθεῖν)

Mk 3, 14: jah gawaurhta twalif du wisan miþ sis, jah ei insandidedi ins merjan; 15. jah haban waldufni du *hailjan* sauhtins jah uswairpan unhulþons (греч. καί ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τάς νὸσους)

Lk 9, 24: Saei allis wili saiwala seina *nasjan,* fraqisteiþ izai: ith saei fraqisteiþ saiwalai seinai in meina, ganasjiþ tho (греч. ὅς γὰρ ἄν θὲλη τήν ψυχήν αὐτὸ σῶσαι, απολὲσει αὐτήν) лит. islaikyti: В др.англ. библии на месте готского *nasjan* стоит выражение *hael gedon*

Mk 5, 32: ...jah wlaitoda *saihvan* þo þata taujandein (греч. καί περιεβλὲπετο ἰδεῖν τήν τοῦτο ποιήσασαν)

Ср. д.-в.-нем. Тац. 60, 7 (= Mk 5, 32) inti scuuota tho umbi thia zi *gisehanne* thiu thaz teta

I Cor 16, 7: Ni wiljau auk izwis þairhleiþands *saihvan* (греч. οὐ θὲλ *υ* γὰρ ὑμᾶς ἀρτι ἐν παρόδφ ἰδεῖν)

Mk 3, 24: jah jabaiþiudangardi wiþra sik gadailjada, ni mag *standan* so þiudangardi jaina (греч. οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασίλεία ἐκεινη)

Mk 3, 25: jah jabai gards withra sik gadailjada, ni mag *standan* sa gards jains (греч. οὐ δὺναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἑκείνη).

Lk 6, 9: qaþ þan Jesus du im: fraihna izwis hva skuld ist sabbato dagam, þiuth taujan þau unþiuþ taujan, saiwala *ganasjan* þau usqistjan (греч. ψυχὴν σῶσαι)

Lk 17, 24: swaswe raihtis lauhmoni lauhatjandei us þamma uf himina in þata uf himina skeiniþ, swa wairþiþ sunus mans in daga seinamma 25. Aþþþan faurþis skal manag *gaþulan* jah uskiusada fram þamma kunja (греч. πρῶτον δὲ δεῖ πολλά παθεῖν)

Lk 9, 1: Gahaitands þanþans twalif apaustauluns atgaf im maht jah waldufni ufar allaim unhulþom jah sauhtins *gahailjan* (греч. ἐδωκεν αὐτοτς δῦναμιν καί ἐξουσίαν ἐπί πὰντα τά δαιμονια καί νὸσος θεραπεύειν)

Mk 8, 35: Saei allis wili saiwala seina *ganasjan,* fraqisteiþ izai: ith saei fraqisteiþ saiwalai in meina, ganasjiþ tho (греч. ὅς γαρ ἄν θὲλη τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, απολὲσει αὐτήν) лит. islaikyti, в др.-англ. на месте готск. *ganasjan* стоит *hael gedon*

Lk 17, 33: Saei sokeiþ saiwala seina *ganasjan,* fraqisteiþ izai jah saei fraqisteiþ izai in meina, ganasjiþ þo (греч. ὅς ἐάν ζητήση τήν ψυχην *αυτοῦ* σῶσαι, απολ ἐσι αὐτήν)

Lk 19, 3: jah sokida *gasaihvan* Jesu, hvas wesi, jah ni mahta faura managein, unte wahstau leitils was (греч. ἰδεῖν).

J 12, 21: ...jah bedun ina qiþandans: frauja, wileima Jesu gasaihvan (греч. κὺριε, θὲλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν)

Mk 3, 26: ith jabai Satana usstoþ ana sik silban jah gadailiþs warþ, ni mag *gastandan*, ak andi habaiþ, (греч. οὐ δύναται σταθῆναι).

Императив

Ср.

Lk 16, 6: jah qaþ du imma: nim þus bokos jah gasitands sprauto *gamelei* fimf tiguns (греч. δὲξαι *σου* τό γρὰμμα καί καθίσας ταχέως γράψον)

Lk 19, 39: Jah sumai Fareisaie us þizai managein qethun du imma: l a i s a r i, *sak* þaim siponjam þeinaim (греч. ἐπιτίμησον)

Lk 16, 7: jah qaþ du imma: nim thos bokos jah *melei* ahtautehund (греч. δεξαι σουτο γράμμα καί γραψον)

Lk 17, 3: ...jabai frawaurkjai broþar þeins, *gasak* imma; jah þan jabai idreigo sik, fraletais imam (греч. ἐπιτίμησον)

При исследовании языка готской библии не следует пренебрегать теми местами текста, где приставочный глагол находит свое соответствие в греческом оригинале. Вполне естественно (особенно, если учесть религиозный характер исследуемого памятника), что употребление сложных глаголов с *ga-* (и с другими префиксами) в определенном количестве случаев обусловлено стремлением переводчика сделать свой перевод по возможности близким к оригиналу, что, в свою очередь, очевидно, допускалось закономерностями изучаемого языка. Показательны в этом отношении те случаи, в которых готский приставочный глагол с префиксом *ga-* во всех или большинстве случаев передает греческий приставочный и, наоборот, тот же готский бесприставочный глагол соответствует греческому бесприставочному. Сопоставление таких мест библии обнаруживает, что в ряде случаев готский префикс может не изменять значения глагола. Как известно, многие греческие префиксы, вообще обладавшие вещественным значением, при соединении с некоторыми глаголами фактически почти или совсем не изменяли значения последних. Таковы κατα- в κατακυριεύειν, δια в διατὴρειν, επι в ἐπιμελεῖσθαι и т. д. Готский префикс *ga-*, в большой мере утративший свое лексическое и грамматическое значение, оказался особенно пригодным для передачи таких «пустых» греческих префиксов.

* * *

Вряд ли в готском существовала категория вида. Даже если признать готский префикс *ga-* и другие префиксы перфективирующими элементами, то нельзя не констатировать, что его грамматическое употребление в тексте готской библии было весьма факультативным, а система перфективации в готском к моменту перевода греческой библии на готский находилась в процессе далеко зашедшего распада. С другой стороны, не исключено, что перед нами наметившаяся, но не осуществившаяся тенденция к перфективации. Об этом говорят следующие факты:

1) Приставочные и бесприставочные формы с *ga-* в параллельных местах библии могут соответствовать одной и той же грамматической форме в греческом (перфекту или аористу).

2) Так называемые глаголы Perfektiva Simplicia и Nichtperfektive Durativa в германских языках могут использоваться с префиксом *ga-*.

3) В ряде случаев готский глагол с префиксом *ga-* (и с другими префиксами) калькируют греческие приставочные глаголы, а готские бесприставочные глаголы калькируют греческие бесприставочные глагольные формы независимо от их грамматических характеристик.

4) Готские приставочные формы с *ga-* и другими префиксами могут обозначать не только будущее, но и настоящее время.

3

Происхождение и функции готского элемента *ga-* можно рассматривать в ракурсе языческой культуры (к моменту перевода греческой библии на готский готы еще полностью не утратили своего язычества). Не исключено, в частности, что готское сочетание *ga-* представляло собой мантру (ср. [Gonda 1963]), восходящую этимологически к русск. диал. *гай* «лес», «дерево», ирл. *gai*, *gaoi* «pole, lance», бретонск. *goaô*, греч. (Гезихий) *γαιός* «pole». Значение «шест, столб» в индоевропейском непосредственно связано со значением «бог, божество»; ср. типологически: гот. *ans* «столб», но др.-англ. *ass* «бог»; др.-сев. *ǫss* «бог»; др.-англ. *stiper* «столб, балка», но др.сев. *tifurr* «бог»; др.-англ. *wah* «столб», но гот. *weihs* «святой»; нем. диал. *Gunten* «шест», но др.-англ. *guþ* «бог»; др.-англ. *swir* «столб», но др.-инд. *sura-* «бог»; тох. A *ñkät* «бог», но англ. диал. *kent* «шест» (язычники поклонялись столбам) [Chevalier, Gheerbrant 1982].

Важно иметь в виду, что значение «балка, столб, дерево» непосредственно соотносится со значением «огонь» (ср. и.-е. **ghai-*/**ghei-* «огонь, гореть»), которое в свою оче-

редь соотносится со значением «издавать звуки» (др.-инд. *gâ* «издавать звуки»: символ Божества).

Важно принять во внимание и.-е. корни **ĝhē-/*ĝhēi-* «leer», которые в готском, можно полагать, употреблялись как табуирующие (пустые) отрицания (ср. гот. *gaidw* «Mangel»), что весьма типично для древних языков. В индоевропейских языках значение «пустота» тесно связано со значением «огонь» (ср. и.-е. **ghei-/*gai-/*gei-* «гореть»): ср. типологически: др.-в.-нем. *wahan* «гореть», но лат. *vacuum* «пустота»; и.-е. **keu-* «гореть»; но др.-инд. *sunyā* «leer»; др.-сев. *eld* «огонь», но нем. *ledig* «пустой». Значение «пустота» в древности – символ продолжения рода: ср. др.-инд. *ric-* «пустота», но англ. диал. *reek* «род, клан»; латышск. *tukšs* «пустой», но др.-инд. *tuc-/duc-* «продолжать потомство»; греч. *κένος* «пустой», но и.-е. **ken/*gen-* «рожать». В связи с этим следует учесть осет. *gæjyn* «продолжать род»; др.инд. *jà* «Nachkomme». Значение «огонь» также тесно связано со значением «двигаться»: и.-е. *ghei-* «двигаться», типологически ср. англ. *come* «приходить», но русск. диал. *кометь* «гореть»; и.е. **kel-* «двигаться» и «гореть»; др.-англ. *worian* «двигаться», но и.-е. **u̯er-* «гореть» (движение – магический символ клятвы, святости и боготворчества; ср. др.инд. *gâ* «двигаться», англ. диал. *to gee* «двигаться» [EDD II: 591]). Вместе с тем индоевропейский корень **ghei-* «двигаться» тесно связан с индоевропейским корнем *gu̯ou-* «корова»; авест. *gao-* «корова» – символ божества (букв. «движущееся богатство»): ср. гот. *gaggan* «идти, двигаться». Первый элемент этого готского слова в результате акронимии, возможно, превратился в сакральный преформант *ga-* [Wolcken 1957]. Типологически ср. литовск. *kélti* «двигаться», но литовск. *kéltos* «скот», греч. *πρόβατον* «скот» < греч. *βαίνειν* «двигаться»; ирл. *ferb* «скот»; но др.-англ. *worian* «двигаться» [Fraenkel 1955].

С другой стороны, значение «огонь, гореть» тесно связано со значением «краска, цвет» (символ неба, божества, божественной силы): ср. русск. *жечь-жгу*, русск. диал. *из-гага* «изжога», но персидск. *zag* «синий» < **ghag-* «гореть»: англ. диал. *gaa* «радуга»: синий цвет, согласно древним представлениям, – это последняя чакра сакрального огня, соединяющаяся с небом (ср. **ghei-/*kei* «гореть» > **ghei-/*kei* «краска»). Типологически ср. и.-е. **dheg-* «горсть», но др.-англ. *déag* «краска». В свою очередь значение «гореть» соотносится со значением «бить, ударять» (магический символ: «ударять две дощечки друг о друга для получения огня»), ср. русск диал. *гануть* «бить, ударять»; авесат. *zaya-* «оружие» (оружие – ритуальный магический символ); др.-инд. *gha* «ударять» [Маковский 2009].

Все указанные значения взаимосвязаны между собой и восходят к семантической диаде «рассекать» (и.-е. **ĝēi-* «рассекать» > швед. диал. *ge* «разум» > «Божество» / «гнуть, сгибать, плести»: и.-е. **gei-* «гнуть, сгибать»: ср. греч. *γῆ* «земля»: др.-инд. *gagana* «небо» – связь Земли и Неба), которая, согласно языческой ментальности, содержит первичные коды единства Космоса и космического Порядка: ср. англ. диал. *to gee* «to suit, to fit» [EDD 1900: 591; Маковский 2007; Zischka 1977; Blacker, Loewe 1975].

Вместе с тем можно полагать, что сочетание *ga-* в готском языке представляло собой оберег, образуемый посредством соединения так называемых «священных» букв (типологически ср. древнеиндийскую мантру *aum* [MMM 1983: 1728]), или сочетание рун ᚷᚨ – символа Божества-Солнца; возможно также сочетание начальных букв готских теофорных слов (гот. *g-uƀ* «бог» + гот. *a-hma* «дух», *a-ha* «разум»)[1].

Кроме того, вполне возможно соотнести готский перфикс *ga-* с др.-инд. *gha-* «таинство» или др.-ирл. *gāo* «обмануть (злую силу)».

---

[1] Не только отдельные буквы (линии, образующие буквы (вертикаль, горизонталь, круг и др.) наделялись магическими свойствами [Aivanhov 1988]), но и сочетания определенных букв, расположенных в определенном порядке по отношению друг к другу и в определенном количестве, в древности выступали как мантры, а также использовались как обереги или средство наложения или снятия порчи [Маковский 1999; Dornseiff 1925].

Готский элемент *ga-* мог сочетаться не только с глаголами, но и с существительными и прилагательными: ср. I Tim 2, 9: *ga-riuþs* «ehrbar»; R 14, 14: *ga-wamms* «gefleckt, unrein»; 2 Cor 8, 19: *ga-sinþa* «Reisegefährte»; 2 Cor 8, 12: *ga-grefts* «Verordnung, Beschluss»; Ph 2, 9: *ga-leiki* «Abbild»; I Thess. 5, 23: *ga-hails* (греч. *ολόκληρος*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бородич 1953а – *В.В. Бородич.* Видовые отношения в старославянском языке. Дис. ... докт. филол. наук. М., 1953.

Бородич 1953б – *В.В. Бородич.* К вопросу о формировании совершенного и несовершенного вида в славянских языках // ВЯ. 1953. № 6.

Иванова 1957 – *И.П. Иванова.* К вопросу о категории вида в древнеанглийском языке // Учен. зап. ЛГУ. № 197. Л., 1957.

Маковский 1999 – *М.М. Маковский.* Мифопоэтика письма // ВЯ. 1999. № 5.

Маковский 2007 - *М.М. Маковский.* Семиотика рассечения и сгибания в индоевропейских языках // Лингвистическая полифония. Сб. в честь юбилея проф. Р.К. Потаповой. М., 2007.

Маковский 2009 – *М.М. Маковский.* Индоевропейская этимология. М., 2009.

Маслов 1959 – *Ю.С. Маслов.* Категория предельности / непредельности глагольного действия в готском языке // ВЯ. 1959. № 6.

Павлова 1953 – *Е.М. Павлова.* К вопросу о виде (аспекте) в древневерхненемецком языке (у Тациана). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1953.

Пудић 1957 *И. Пудић.* Префикс *ga-* у готском језику. Прилог учењу о глаголском виду. Београд, 1957.

Сизова 1971а – *И.А. Сизова.* Глаголы с двумя превербами в готском языке // Синхронно-сопоставительная система языков разных систем. М., 1971.

Сизова 1971б – *И.А. Сизова.* О значении готских превербов, совпадающих со значениями их автономных коррелятов // Синхронно-сопоставительная система языков разных систем. М., 1971.

Aivanhov 1988 – *O.M. Aivanhov.* The symbolic language of geometrical figures. Frejus, 1988.

Beer 1915–1918 – *A. Beer.* Tři studie o videch slovesného děje gotštině. Praha, 1915–1918.

Belden 1915 – *M.H. Belden.* «Perfective» *ge-* in old English «bringan» and «gebringan» // Englische Studien. XXXII. 1915.

Bernhardt 1870 – *E. Bernhardt.* Die Partikel *ga-* als Hilfsmittel bei der Conjugation // Zeitschrift für deutsche Philologie. II. 1870.

Blacker, Loewe 1975 – *C. Blacker, M. Loewe.* Ancient cosmologies. London, 1975.

Chevalier, Gheerbrant 1982 – *J. Chevalier, A. Gheerbrant.* Dictionnaire des symboles. Paris, 1982.

Dahm 1909 – *K. Dahm.* Der Gebrauch von *gi-* zur Unterscheidung perfektiver und imperfektiver Aktionsart im Tatian und in Notkers Boethius. Borna; Leipzig, 1909.

Delbrück 1913 – *B. Delbrück.* Perfektivierung durch Verbindung mit Präpositionen // Vergleichende Syntax der idg. Sprachen. Bd. II. Strassburg, 1913.

Dornseiff 1925 – *F. Dornseiff.* Das Alphabet in Mystik und Magie. Leipzig; Berlin, 1925.

Dostal 1954 – *A. Dostal.* Studie o vidovem systemu v staroslovenštině. Praha, 1954.

Dorfeld 1885 – *K. Dorfeld.* Über die Function des Präfixes *ge* (got. *ga*) in der Composition mit Verben. Teil 1: Das Präfix bei Ulfilas und Tatian. Giessen, 1885.

EDD 1898–1905 – *J. Wright.* English dialect dictionary. I–VI. Oxford, 1898–1905.

Fraenkel 1955 – *E. Fraenkel.* Zu den Bezeichnungen des Viehs als bewegliches Besitztum // KZ. 72. 1995.

Gonda 1963 – *J. Gonda.* The Indian mantra // Oriens. 16. 1963.

Grewolds1932 – *H. Grewolds.* Die gotische Komposita in ihrem Verhältnis zu denen der griechischen Vorlage. Erster Teil: Die verbale Komposition // Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung. Bd. 60. 1932.

Grimm 1869 – *J. Grimm.* Kleinere Schriften. Berlin, 1869.

Grimm 1870–1898 – *J. Grimm.* Deutsche Grammatik. Bd. I–IV. Berlin, 1870–1898.

Havranek 1939 – *B. Havranek.* Aspects et temps du verbe en vieux slave // Mélanges Ch. Bally. Génève, 1939.

Hesse 1906 – *H. Hesse.* Perfektive und imperfektive Aktionsart im Altenglischen. Münster, 1906.

Hollman 1937 – *E. Hollman.* Untersuchungen über Aspekt und Aktionsart unter besonderer Berücksichtigung des Altenglischen. Würzburg, 1937.
Igel 1911 - *F. Igel.* Das *gi* Präfix als Perfektivierungsmittel in Otfrids Evangelienbuch. Mannheim, 1911.
Kauffmann 1919–1920 – *Fr. Kauffmann.* Der Stil der gotischen Bibel // Zeitschrift für deutsche Philologie. XLVIII. 1919–1920.
Kieckers 1928 – *E. Kieckers.* Handbuch der vergleichenden gotischen Grammatik. München, 1928.
Kluyver 1890 – *A. Kluyver. Bairan* en *gabairan* // Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde. IX. 1890.
Kuryłowicz 1929 – *J. Kuryłowicz.* Génèse d'aspects verbaux slaves // Prace filologiczne. 14. 1929.
Lloyd 1979 - *A.L. Lloyd.* Anatomy of the verb. The Gothic verb as a model for a unified theory of aspect. Amsterdam, 1979.
Lorz 1908 – *A. Lorz.* Aktionsarten des Verbums im «Beowulf». Würzburg, 1908.
MMM 1983 – *Man, myth and magic.* The illustrated encyclopedia of mythology, religion and the unknown. V. 7. New York; London; Toronto, 1983.
Marold 1875 - *C. Marold.* Futurum und futurische Ausdrücke im Gotischen // Wissenschaftliche Monatsblätter. III. 1875.
Mourek 1890 – *V. Mourek.* Syntaxis gotskych predlozek. Praha, 1890.
Pfister 1939 *R. Pfister.* Das historische Präsens im Gotischen // Indogermanische Forschungen. Bd. LVII. Hf. II. Berlin, 1939.
Pietsch 1940 – *P. Pietsch.* Einige Bemerkungen über *ge* bei Verben // PBB. XIII. 1940.
Pilch 1953 – *H. Pilch.* Das altenglische Praeverb *ge* // Anglia. Bd. LXXI. 1953.
Recha 1899 - *K. Recha.* Zur Frage über den Ursprung der perfektivirenden Funktion der Verbalpräfixe. Dorpat, 1899.
Rice 1932 - *A. Rice.* Gothic prepositional compounds in their relation to their Greek original. Philadelphia, 1932.
Reifferscheid 1874 - *A. Reifferscheid.* Lexicalisch-syntaxische Untersuchungen über die Partikel *ge-* // Zeitschrift für deutsche Philologie. 1874. Ergänzungsband.
Rosén 1934 – *H. Rosén.* Old High German prepositional compounds in their relation to their Latin original. Philadelphia, 1934.
Ruzicka 1957 – *R. Ruzicka.* Die Verbalaspekte in der altrussischen Nestorchronik. Berlin, 1957.
Samuels 1949 – *M.L. Samuels.* The *ge* prefix in the old English gloss to the Lindisfarne gospels // Transactions of the Philological Society. Oxford, 1949.
Sauer 1908 – *A. Sauer.* Aus J. Grimms Briefwechsel mit slavischen Gelehrten // Prager Deutsche Studien. 1908.
Senn 1949 - *A. Senn.* Verbal aspects in Germanic, Slavic and Baltic // Language. 1949. V. 25. № 3.
Scherer 1954 – *Ph. Scherer.* Aspect in Gothic // Language. 1954. V. 30. № 2. Pt. 1.
Stalder 1819 – *F. Stalder.* Die Landessprache der Schweiz oder schweizerische Dialektologie. Aarau, 1819.
Streitberg 1891 - *W. Streitberg.* Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen // PBB. XV. 1891.
Streitberg 2000 – *W. Streitberg* (Hrsg.). Die gotische Bibel. Heidelberg, 2000.
Van Swaay 1901 – *H.A. Van Swaay.* Het prefix *ga-, gi-, ge-,* zijn geschiedenis en zijn invloed op de «Aktionsart». Utrecht, 1901.
Wolcken 1957 – *F. Wolcken.* Entwicklungsstufen der Wortbildung aus Initialen // Anglia. Bd. 75. 1957.
Trnka 1929 – *B. Trnka.* Some remarks on the perfective and imperfective aspects in Germanic // Donum natalicum Schrijnen. Nijmegen; Utrecht, 1929.
Vonhof 1905 – *R. Vonhof.* Zur Entwicklung der germanischen echten Verbalcomposita im Altwestnordischen. Bremen, 1905.
Zischka 1977 - *U. Zischka.* Zur sakralen und profanen Anwendung des Knotenmotivs als magisches Mittel, Symbol und Dekor. München, 1977.

Сведения об авторе:

Марк Михайлович Маковский
Московский государственный лингвистический университет

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

© 2011 г. А.Ф. ЛИТВИНА, Ф.Б. УСПЕНСКИЙ

КАЛЬКА ИЛИ МЕТАФОРА? ОПЫТ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОММЕНТАРИЯ К «СТИХАМ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Статья посвящена обнаружению лингвистических подтекстов (или так называемых межъязыковых каламбуров) в поэзии Осипа Мандельштама и реконструкции представлений поэта о языке, обусловивших актуализацию данного приема в «Стихах о неизвестном солдате». В частности, предлагается ответ на вопрос, почему Мандельштам в своей «оратории» обозначает человеческий череп как «чепчик счастья» и что послужило основой для этого, на первый взгляд, загадочного поэтического образа.

И читателем, и исследователем «Стихи о неизвестном солдате» (1937 г.) – самое длинное и едва ли не самое сложное из всех произведений Осипа Мандельштама – ощущаются как нечто выделенное, контрастное, совсем особенное на фоне всего его литературного наследия. Одним из основообразующих принципов поэтики этой «оратории» является предельная компрессия поэтической информации, так что за ее темпом становится все труднее поспевать даже самой заинтересованной аудитории. Иначе говоря, именно здесь оказывается весьма велика потребность в построчном или, если так можно выразиться, пообразном комментировании.

Едва ли не самым загадочным и в то же время ключевым в этом тексте является, по-видимому, образ черепа[1], он оснащен целой гроздью метафор и поэтических характеристик, требующих распутывания и объяснения, иногда доходящего до уровня дешифровки.

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска, –
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска, –
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится, –
Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья – Шекспира отец…

[О.Э. Мандельштам 1990, I: 244]

[1] Замечательно, сколь значимым считал его сам поэт. По воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, лишь с появлением этого образа стало ясно, что стихи (которые автор позже охарактеризует как ораторию) складываются в самостоятельное целое: «Мандельштам поверил, что мучившие его стихи – не призрак только после того, как в них появился дифирамб человеку, его интеллекту и особой структуре. Я говорю о строфе, где человеческий череп назван “чашей чаш” и “отчизной отчизны”. “Смотри, как у меня череп расщебетался, – сказал Мандельштам, показывая мне листочек, – теперь стихи будут”» [Н.Я. Мандельштам 1990: 396].

Часть связанных с черепом смысловых коннотаций остается вполне прозрачной: чаще всего исследователи, вслед за Н.Я. Мандельштам, обращают внимание на их гуманистическую составляющую, трактуя череп как вместилище мысли, олицетворение человеческого разума и человеческой цивилизации[2]. Разумеется, не менее очевиден и другой общекультурный пласт ассоциаций – череп, мертвая голова, выступает в «Стихах о неизвестном солдате» как символ смерти, тленности, недолговечности человеческих деяний и всего живущего.

С другой стороны, поэтапный анализ вереницы метафор черепа, как кажется, способен проявить и скрытое присутствие еще одной темы, столь же непосредственно связанной с первоосновами человеческого бытия: традиционно зловещий знак смерти у Мандельштама является одновременно и прямым символом рождения.

К такому решению нас подталкивает «разгадка» синтагмы *чепчик счастья*, долгое время менее других привлекавшей внимание исследователей. Обыкновенно она втягивается в орбиту соседних эпитетов и связывается то с темой венца или короны [Амелин 2005], то – в самом общем виде – в силу уменьшительности слова *чепчик*, продолжающего полновесное *звездным рубчиком шитый чепец*, с темой утраченного детства [Малинская 2001: 192]. При этом смысловое наполнение компонентов, из которых состоит наша синтагма, чаще всего рассматривается по отдельности.

Между тем у выражения *чепчик счастья* есть вполне конкретный прототип. Однако чтобы увидеть его, необходимо учитывать присущее поэту стремление вносить в русскую языковую среду элементы иных языков и иных культурных традиций. Проявления этой тенденции к созданию единого межъязыкового пространства уже неоднократно отмечались исследователями. Так, в мандельштамоведении сделались почти хрестоматийными наблюдения Г.А. Левинтона, согласно которым в строке *Фета жирный карандаш*, например, эпитет *жирный* как бы дублирует немецкое *fett* ‘жирный’, звучащее в фамилии поэта, а в строке *Есть блуд труда, и он у нас в крови*, в свою очередь, слова *кровь* и *блуд* дополнительно связаны между собой через немецкое *Blut* ‘кровь’ [Левинтон 1979; ср.: Ронен 2002: 37 <примеч. 38>][3].

Случаи такого рода отнюдь не ограничиваются соответствиями из немецкого (хотя ему как наиболее близкому для поэта, по-видимому, принадлежит особое место), более того, они выходят за пределы круга собственно европейских языков. В этом отношении очень интересна строка из стихотворения «Пою, когда гортань сыра, душа – суха...» (февраль 1937 г.) *И в горных ножнах слух, и голова глуха*, потому что գլուխ [gɔluχ] – ‘голова’ по-армянски, а мы располагаем неоспоримым свидетельством, что Мандельштам знал об этом и даже строил на данном созвучии некие языковедческие умозаключения: «Голова по-армянски: глух’, с коротким придыханием после “х” и мягким “л”... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста. Видеть, слышать и понимать – все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота. Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...» [О.Э. Мандельштам 1990, II: 106][4].

Упомянутые нами здесь примеры объединены признаком дублетности, когда замаскированное иностранное слово отчасти повторяет явно присутствующее в строке слово русское (ср. [Лотман 1996: 59–60 <прим. 32>]). Однако этим тавтологическим приемом работа по расширению языкового пространства в текстах Мандельштама отнюдь не

---

[2] См., в первую очередь [Н.Я. Мандельштам 1990: 396; Левин 1970: 201; Ронен 1979: 221; Иванов 1990: 59–60; Семенко 1990: 498; Живов 1992: 427–428; Гаспаров 1996: 36–37].

[3] Из относительно недавних работ, специально посвященных обнаружению межъязыковых связей в поэтике Мандельштама, упомянем книги [Амелин, Мордерер 2001; Городецкий 2008].

[4] Связь стихотворения «Пою, когда гортань сыра, душа – суха...» с соответствующим фрагментом из «Путешествия в Армению» отмечается в комментариях А.Г. Меца [О.Э. Мандельштам 2009, I: 653].

исчерпывается. Следы ее можно обнаружить едва ли не на всех языковых уровнях, от фонетики до синтаксиса.

Очевидно, что в предельно концентрированном трагическом пан-европеизме «Стихов о неизвестном солдате» присутствие подобной межъязыковой полифонии было бы особенно естественным. Именно здесь она перерастаст рамки каламбурного приема и превращается в конструктивный элемент новой поэтики, в нее вовлекаются как живые языки, так и мертвые. В качестве примера подобной тавтологической интерференции с древними языками мы могли бы предложить сочетание *небо... целокупное*, где, по-видимому, происходит своего рода перетекание русской языковой стихии в латинскую, так как одним из мотивирующих оснований для появления эпитета *целокупный* служит латинское *caelum* 'небо'[5]. Эта же двуязычная тавтология (*небо целокупно*) будет позднее воспроизведена в стихотворении «Есть женщины, сырой земле родные...», где она может служить одной из почти оксюморонных характеристик незыблемости мироздания.

В чем же, однако, заключается лингвистический подтекст *чепчика счастья*?

За этой метафорой стоит целое созвездие живых европейских языков. Прежде всего, это явная, с сохранением падежных отношений, калька немецкого *Glückshaube* (*das Glück* 'счастье' + *die Haube* 'чепчик'), обозначающего те фрагменты околоплодной оболочки, которые могут оставаться на головке, лице и верхней части туловища новорожденного и, согласно многочисленным поверьям, приносят счастье своему обладателю, а иногда и тем, кому удастся их заполучить[6].

Параллелью немецкой, при всей ее очевидности и надежности, не стоит, впрочем, ограничиваться, весьма похожее выражение есть в целом ряде европейских языков. Более того, может показаться, что по карте Европы пролегают своего рода изоглоссы, делящие различные культурные традиции на те, где для обозначения данного явления используется выражение со словом *чепчик*, *чепец*, *шапочка* (польск. *urodić się w czepku*, англ. *to be born in a caul / to be born with a caul on one's head*, нем. *mit der Glückshaube geboren sein*, франц. *être né coiffé / il est né coiffé*), и те, где это материальное воплощение счастливых предзнаменований описывается с помощью слов *рубашка*, *сорочка* (итал. *essere nato con la camicia*, исп. *haber nacido con la camisa puesta*, укр. *народжен в сорочці*). На самом деле не только в двух смежных диалектах, но и в рамках одного и того же литературного языка могут сосуществовать, подчас конкурируя и оттесняя друг друга, оба этих обозначения. Ср. данные славянских языков, где в словенском, например, термины *srajča* 'сорочка', *košelca* 'рубашечка' соседствуют с *čiapočka* 'шапочка' и *čerček* 'чепчик' (см. подробнее [Jakobson, Szeftel 1966: 341–342; Плотникова 2009: 489–490]). Сходным образом, обе возможности предполагает и идиш, язык, который Мандельштаму регулярно приходилось слышать в детстве и ранней юности – *геборн верн ин а хаубл* 'родиться в чепчике, в шапочке' и *геборн верн ин а зайдн хемдл* 'родиться в шелковой сорочке'.

В этом отношении именно русский язык скорее исключителен в своей «чистоте подхода» – литературный его извод знает только выражение *родиться в сорочке / рубашке*, да и в диалектах *чепец* (*чепчик*) весьма раритетен. Названис «чепец», обозначающее плеву на голове у ребенка, в XIX в. было зафиксировано в говорах Харьковской губернии, причем считалось, что такая плева, собранная в складки, предвещает новорожденному архиерейский чин [Сумцов 1880: 79]. Сходные представления отмечались и для некоторых регионов Западной Европы. В частности, в Австрии считалось, что мальчик, рожденный в чепчике, станет архиепископом, если будет носить этот предмет

---

[5] Кроме того, В.Н. Топоров отмечал в эпитете *хилая* (из конструкции *ласточка хилая* в «Стихах о неизвестном солдате») созвучие с древнегреческим именованием ласточки χελιδων [Топоров 1987: 228–232].

[6] Разумеется, как это часто бывает в народной культуре с атрибутами счастья, им иногда может придаваться и прямо противоположное, отрицательное значение. См. подробнее о рождении в сорочке в различных традициях вообще и об амбивалентности восприятия данного атрибута в частности [Forbes 1953: 495–508; Weiser-Aall 1960: 29–36; Weiser-Aall 1961: 82–87; Jakobson, Szeftel 1966: 341–347; Belmont 1971: 28, 52–60].

под своей одеждой [von Hovorka, Kronfeld 1908, I: 327; II: 593–594]; ср. также [Forbes 1953: 498 <с указанием литературы>].

Само по себе поверье, согласно которому остатки околоплодной оболочки, сохранившиеся на теле новорожденного, приносят удачу, со всей очевидностью весьма архаично. Так, в древнем Вавилоне они рассматривались преимущественно как доброе предзнаменование [Langdon 1912: 219 <примеч. 2>], в античном Риме их стремились приобрести юристы, поскольку считалось, что это приносит удачу в судебных делах, во всяком случае, этот обычай упоминается в позднелатинских исторических сочинениях, в частности у Элия Лампридия, одного из предполагаемых авторов «Истории Августов»[7].

В Англии на протяжении многих столетий существовала примета, что эти фрагменты оболочки предохраняют от кораблекрушения, а их обладатель не может утонуть. Известно, что объявления о продаже таких чепчиков регулярно появлялись не только в газетах, но и на стенах лондонской биржи – очевидно, предполагалось, что они полезны и в путешествии, и при заключении различного рода сделок [Opie, Tatem 1992: 66–67; ср. также: Napier 1879: 32; Moore 1891: 156; Forbes 1953].

С другой стороны, у многих народов сохранялись представления, согласно которым эта оболочка нерушимо связана с тем человеком, который в ней родился, в чьих бы руках она ни находилась, и что ее состояние служит своего рода удаленным барометром здоровья и житейских перипетий того, кто увидел в ней свет. В некоторых культурах (в частности, славянских) свою *сорочку* надевали на пояс во время свадебного обряда, брали ее в путешествие, в суд, на войну и ее же клали в гроб, чтобы и на том свете она сопровождала своего обладателя [Кабакова 1998: 108–113; Плотникова 2009: 489–490 <с указанием литературы>].

При всей древности и универсальности субстрата, стоящего за совокупностью этих примет, необходимо учитывать, что лексическое оформление подобных конструкций не только могло различаться от страны к стране, но и испытывать влияние смены культурной парадигмы. Весьма вероятно, например, что те наименования околоплодной оболочки, которые мы лучше всего знаем благодаря европейской традиции Нового времени (чепчик и сорочка), закрепились в народной культуре с оглядкой на атрибуты младенческой одежды, демонстрируемой в процессе крестильного обряда. Характерно, что более распространенное в современном английском выражение, обозначающее удачливость, полученную от рождения, – *to be born with a silver spoon in one's mouth* (букв. 'родиться с серебряной ложкой во рту') – возможно, непосредственно связано с крестильной атрибутикой. Зафиксировано немало случаев, когда чепчик – в качестве своеобразного двойника новорожденного – тайно подвергали обряду крещения [Forbes 1953: 499].

Церковь, разумеется, относилась к подобным суевериям отрицательно, что не мешало, впрочем, части духовенства разделять народные воззрения, согласно которым подобные знаки счастливого рождения обладали силой оберега (и потому являлись предметом купли-продажи), а зачастую были связаны с церковной обрядностью и церковным облачением. Так, Феодор Вальсамон, византийский канонист XII в., в своих комментариях к правилам Трулльского собора, ссылаясь на запрещения Иоанна Златоуста, с негодованием пишет о некоем игумене монастыря Осии, который носил за пазухой сорочку (? νδυμα) новорожденного младенца, утверждая, что она дана ему одной женщиной для отвращения и заграждения уст тем, которые покусились бы говорить против него [Migne: 721–724]. В связи с этим можно упомянуть и об эпизоде, относящемся ко временам правления во Франции Генриха IV, когда в 1596 г. два священника затеяли шумную ссору из-за чепчика, который один из них забыл, уходя от алтаря, а

[7] В биографии Антонина Диадумена (первые десятилетия III в.) в связи с чудесными обстоятельствами рождения Антонина римский историк сообщает: «Ведь новорожденные иной раз бывают отмечены от природы шапочкой (pilleum, т.е. сорочкой), которую повитухи забирают и продают доверенным судейским, ведь говорят, что юристам она приносит удачу» («solent deinde pueri pilleo insigniri naturali, quod obstetrices rapiunt et advocatis credulis vendunt, si quidem causidici hoc iuvari dicuntur») [Magie 1921–1932, II: 88–90 <§ 4>].

другой попытался присвоить [Forbes 1953: 500]. На Руси несколькими десятилетиями ранее Стоглавый собор осудил распространенную в народе практику возложения на алтарь сорочек, в которых появлялись на свет дети. Сорочки эти по поверью должны были оставаться на престоле в течение шести недель[8].

Вместе с тем, основой номинации этого предмета могли выступать слова, никак с христианством не связанные, – в частности обозначения кожи детенышей животных (ягненка, козленка) или просто кожи. На славянской почве таким термином могло, по-видимому, служить слово *ѫазно / ѫазьно* (ц.-сл. *азно / азьно*), обозначавшее обычно кожу как таковую. Во всяком случае, высказывалось предположение, что именно так первоначально именовался загадочный атрибут, с которым появился на свет знаменитый полоцкий князь Всеслав Брячиславич, живший в первой половине XI столетия и упоминающийся как в «Повести временных лет», так и в «Слове о полку Игореве» [Jakobson, Szeftel 1966: 341–348][9]. Как известно, князь был «немилостив на кровопролитье» и описывался как оборотень, со сверхъестественной скоростью преодолевающий огромные расстояния, то есть ему присваивался весь тот негативный комплекс свойств, которым, как мы знаем по более поздним текстам, награждались обладатели чепчика / сорочки. Эта гипотеза позволяет объяснить разночтения и шероховатости древних текстов, поскольку их авторы, работавшие в XII в., могли уже плохо понимать специфическое значение слова *ѫазьно* и использовать вместо него другие лексемы, затемняя тем самым общий смысл эпизода. Любопытно, что существенно позднее, в XVIII в., В.Н. Татищев при пересказе летописи обозначал этот загадочный предмет как *яйно*, то есть отождествлял его с фрагментами околоплодной оболочки, обозначаемой словами *чепчик* и *сорочка*, соотнося при этом с совершенно другим кругом концептов рождения, ассоциированных с *яйцом*.

Кроме того, у интересующего нас объекта издавна существовали и никогда полностью не утрачивались отчетливые милитарные коннотации, тем более что на германской, например, почве вплоть до XV в. словом *Haube* мог обозначаться не только чепец, но и некоторые разновидности боевого шлема (Hirnhaube, Beckenhaube, Sturmhaube). Позднее эта семантическая компонента у *Haube* в немецком языке практически исчезла, дабы в середине XIX в. неожиданно воскреснуть в совершенно новой ипостаси, но об этом мы еще упомянем ниже. В первой половине XVII в. фламандский анатом Адриан Ван дер Шпигель в своем медицинском трактате, написанном на латыни, предлагал называть у детей мужского пола такую оболочку шлемом (*galea*), ссылаясь на германскую традицию[10], а у девочек – в соответствии с традицией романской – головной повязкой (*vitta*), накидкой (*indusium*) или рубашкой (*camisia*); при этом из его иллюстраций явствует, что речь идет об абсолютно идентичных предметах [Spigelius 1626: 10; ср. также: Forbes 1953: 495–496]. В целом в медицинской латыни закрепилось, скорее, «воснизированное» обозначение рождения с околоплодной оболочкой (ср. соответствующее устойчивое выражение *caput galeatum* ‘голова, увенчанная шлемом’).

Так или иначе, Мандельштам в интересующем нас случае несомненно ориентировался в первую очередь на «европейский» чепчик. Мы можем быть уверены, что французская версия этого выражения (*être né coiffé*) не могла остаться неизвестной поэту – она встречается, в частности, буквально на первых страницах «Легенды о Тиле Уленшпиге-

---

[8] «Инаѧ оубо творитсѧ в простои чади. в мироу дѣти родѧтсѧ в сорочкаˣ. и ти сорочки приносѧтъ к попом. и велѧ̄ иˣ класти на прⷣтле до шти недѣль. І о тоᵚ ѿвѣтъ. Вперсᵃ таковыѧ не чⷣтоты и мерзости во сⷯтаѧ цр̄кви не приносити. и на прⷣтле до шти нⷣль не класти. понеᵡ и родившаѧ жена до четыредесѧ̄ днеи дондеже оцыститца въ сⷯтоую цр̄ковь невходитъ. аще ли которыи сщ̄нкъ таковаѧ дрѣзнетъ сотворити. и тому бытии под запрещнїем сⷯтыˣ правилъ» [Стоглав: 168–169 <гл. XLI, вопрос 2>].

[9] «…ѥгоже роди мⷯти ѿ вълхованьѫ. мⷯтри бо родивши ѥго. быⷣ ѥму ѫзвено на главѣ ѥго. рекоша бо волсви мⷯтри ѥго. се ѫзвено навѧжи на нь. да носить є до живота своѥго. єже носить Всеславъ и до сего дн̄е на собѣ. сего ради немлⷣтвъ єсть на кровьпролитьє» [ПСРЛ, I: 155 <под 1044 г.>].

[10] Ср., между прочим, голландское выражение *met de helm geboren zijn*, означающее ‘родиться в сорочке’ (букв. ‘родиться в шлеме’).

ле», перевод которой, как известно, Мандельштам редактировал[11]. Более того, именно в этом французском тексте две стандартные фразеологические конструкции, обозначающие благоприятное предзнаменование для новорожденного, следуют в непосредственной близости друг за другом: *Coiffé, né sous une bonne étoile!* «В чепчике <родился>, под счастливой звездой!». Как нетрудно убедиться, следы обоих этих фразеологизмов видны и в двух смежных метафорах черепа в «Стихах о неизвестном солдате»: *Звездным рубчиком шитый чепец, / Чепчик счастья...* (заметим попутно, что одежда для новорожденного – чепчик и сорочка – шьется, как правило, швами наружу, что само по себе может вызывать ассоциации со столь же выраженными у младенца черепными швами).

К тексту Костера дело, однако, тоже не сводится. Такого рода зачин с приносящим счастье «чепчиком» вообще вполне типичен для европейского романа XIX в., здесь достаточно вспомнить хотя бы «Жизнь Давида Копперфильда». Герой-повествователь у Диккенса не только сообщает, что родился в чепчике (*with a caul*), но и излагает длинные перипетии, связанные с попыткой продать этот предмет то через объявление в газете, то на благотворительном аукционе. Объявления подобного рода с точным указанием цены предлагаемого товара и в самом деле продолжали появляться в английских газетах на протяжении всего XIX столетия, хотя уже и воспринимались частью публики как курьезный анахронизм (что, соответственно, и обыгрывается в «Давиде Копперфильде»). Показательно, что в качестве потенциальных покупателей у Диккенса фигурируют не только моряки, но и некий биржевой поверенный.

Если от героев собственно литературных обратиться к лицам историческим, то для понимания «Стихов о неизвестном солдате», быть может, небезынтересно, что «в чепчике» родился не только Наполеон – один из, так сказать, прямо названных «участников» мандельштамовской оратории – но и лорд Байрон, о чем неизменно сообщалось и сообщается во множестве их биографий [Kemble 1960: 2; Trueblood 1977: 19]. Байроновские подтексты в «Стихах о неизвестном солдате», судя по всему, довольно многочисленны [Кацис 1991: 436–453; 1994: 119–135], но для нас, пожалуй, важнее всего, что именно благодаря Байрону столь популярной во всей романтической и постромантической стихотворной традиции Европы оказалась тема чаши, изготовленной из черепа («Lines inscribed upon a cup formed from a skull», 1808 г.).

Можно допустить, таким образом, что байроновский ореол имплицитно поддерживает еще одну ассоциативную связку внутри метафорического ряда у Мандельштама, объединяя *чашу чаш*, символ преемственности в смерти, с *чепчиком счастья*, знаком рождения и предзнаменованием удачи или необычной судьбы. Данная связь выглядит тем более прочной, что оба ее компонента объединены и общим лингвистическим подтекстом – метафора *чаша чаш*, помимо своей многослойной символической нагруженности, апеллирует, по-видимому, к одному из немецких названий черепа, *Hirnschale*, букв. ‘чаша мозга’ (*das Hirn* ‘мозг’ + *die Schale* ‘чаша’). Кроме того, обращает на себя внимание структурная близость и фонетическая соотнесенность конструкций *чаша чаш* и *чепчик счастья*; при этом нужно учитывать, что подобные конструкции (Nom. + Gen.) – как с повтором (*чаша чаш*, *весть вестей*, *сеть сетей*)[12], так и без него (*чепчик счастья*, *гений могил*, *тара обаянья* и др.) – в мандельштамовской оратории чрезвычайно частотны и составляют, если так можно выразиться, один из основообразующих стержней поэтической грамматики этого текста.

---

[11] Напомним, что вокруг этого издания возник настоящий литературный скандал, когда из-за ошибки издательства ЗиФ Мандельштаму было приписано авторство перевода А. Горнфельда, который в действительности поэт только правил, отчасти контаминируя с переводом Д.Н. Карякина.

[12] Тавтологические синтагмы подобного рода («образы, возведенные в квадрат», по выражению М.Л. Гаспарова) несомненно нуждаются в самостоятельном исследовании. Здесь отметим только, что они, на наш взгляд, имеют самое непосредственное отношение, с одной стороны, к разработанному Мандельштамом приему актуализации элементарной грамматики (ср. другие примеры такого обыгрывания грамматической парадигмы: *отчизна отчизне*, *оборона обороны*, *за полем полей поле новое*, *бежит волна волной волне хребет ломая*, *я узнал, он узнал, ты узнала*; подробнее см. [Успенский 2008: 88–103]), а с другой – к феномену дублетности мандельштамовских межъязыковых каламбуров, о котором упоминалось выше.

Еще более соблазнительным в контексте «Стихов о неизвестном солдате» выглядит описание одной из примет, существовавших в Германии, а по некоторым данным, и в Бельгии и Голландии: «чепчик счастья», помимо всего прочего, обеспечивал своему обладателю возможность либо избежать военной службы вовсе, либо ускорить возвращение из армии целым и невредимым [Ploss 1872: 188]. Если бы мы могли быть уверены в том, что Мандельштам когда-либо слышал об этом «пацифистском» изводе интересующего нас поверья, появление данной метафоры в строфе о черепе несомненно обретало бы дополнительную мотивацию совершенно определенной направленности.

С другой стороны, немаловажно, что во времена Первой мировой войны, столь актуальной для «Стихов о неизвестном солдате», в широкий обиход вошло сразу несколько сложных слов, в составе которых так или иначе фигурировал *чепец*. Прежде всего, немецкое *Haube* было частью весьма специфического военного «термина», о котором поэт едва ли мог не знать. Еще в середине XIX в. в Германии появился композит *Pickelhaube* (букв. 'чепец со шпилем', 'островерхий чепец') – совершенно неофициальное, но весьма устойчивое обозначение немецкой военной каски с высоким заостренным шипом. К 1914 г. это не лишенное иронии именование, как, разумеется, и самый предмет, успели превратиться в международной публицистике в символ прусско-немецкого милитаризма (характерно, что в Пруссии, где впервые в Германии была введена в употребление эта часть армейского обмундирования, она практически никогда так не называлась в документах и публичных источниках). Официально это средство для защиты головы именовалось *Helm* «шлем», *Lederhelm* «кожаный шлем», *Helm mit Spitze* «шлем с острием» и т.п.

Мандельштам в свое время испытывал явный интерес к этому символическому атрибуту. Достаточно упомянуть его раннее стихотворение «Немецкая каска – священный трофей – / Лежит на камине в гостиной твоей, / Дотронься, – она, как мерлушка, легка, / Пронизана воздухом медь шишака…» [О.Э. Мандельштам 1990, I: 297]. Строчка *Пронизана воздухом медь шишака* в этих довольно-таки лапидарных стихах, по-видимому, означает, что каска прострелена. В этой связи уместно вспомнить, что стрельба по навершиям немецких Pickelhaube, торчавших из окопов, была одним из развлечений солдат Антанты во время Первой мировой войны.

Вполне вероятно, таким образом, что в «Стихах о неизвестном солдате» обыгрывается связь и противопоставление Pickelhaube и Glückshaube. Кроме того, с некоторых пор компонент *Haube* входит в одно из наименований, прилагавшихся к объекту, который в не меньшей степени, чем германский шлем, может служить олицетворением войны XX в. – газовую маску, наряду с прочими обозначениями (*Gasmaske*, *Maske*), немцы могли называть *Gashaube* (*Gasschutzhaube*), *Maskenhaube*, *Haubenmaske* и даже просто *Haube*. Правда, в отличие от знаменитого *Pickelhaube*, эти термины не столь устойчивы и универсальны, так что при всей важности для «Стихов о неизвестном солдате» мотива смертоносного газа (ср.: *приниженный гений могил* = газ фосген) мы не можем уверенно утверждать, что Мандельштам эти названия знал и сополагал их с *чепчиком счастья*.

Так или иначе, в русских переводах и пересказах, будь то Диккенс или Костер, мемуары или газетная статья, наш причудливый предмет, приносящий удачу, разумеется, не фигурирует, поскольку все выражение в целом автоматически передается фразеологизмом «родиться в сорочке / рубашке» (о фразеологизме как таковом см., в частности [Михельсон, I: 159 <В. 636>; Виноградов 1994: 601–603 <«Родиться в сорочке»>])[13]. Иначе говоря, *чепчика счастья* в русском литературном языке не существовало, и Мандельштам вводит его как некое общеевропейское заимствование. При этом происходит своеобразная деконструкция языковой метафоры, разрушение фразеологизма в чужом

---

[13] Ср.: «Повитуха, она же кума, Катлина завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к головке мальчика и указала на прикрытую пленкой макушку. – В сорочке родился. Значит, счастливчик! – сказала она радостно» [де Костер 1928: 15, 16, 17]; «Повитуха кума, Катлина, завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и указала на прикрытую пленкой макушку. – В сорочке родился, под счастливой звездой, – сказала она радостно» [де Костер 1955: 27, 28].

языке и создание в языке собственном поэтической метафоры[14], привносящей, как мы уже говорили, в образ черепа тему рождения, младенчества. При подобной трактовке отклик этой темы становится более заметен в соседствующих описаниях, есть он, по-видимому, не только в уже упоминавшейся метафоре *звездным рубчиком шитый чепец*, но и, например, в характеристиках *дразнит себя, сам себе снится* и *понимающим куполом яснится*.

В заключение следует, пожалуй, коснуться еще одной проблемы, которая неизбежно возникает при исследовании большинства скрытых межъязыковых заимствований у Мандельштама – проблемы восприятия и понимания. Действительно, самое присутствие этих заимствований легко ускользает от читателя, и в этом отношении весьма характерна реплика, которую можно услышать как от филолога, так и от непрофессионального любителя поэзии: «Сколько лет читаю эти стихи, люблю их, часто повторяю и никогда не замечал здесь столь хитроумного обыгрывания иноязычного материала».

С другой стороны, в некоторых случаях (правда, интересующей нас метафоры *чепчик счастья* это касается в меньшей мере) не столь очевиден и ответ на вопрос, какое, собственно, приращение смысла мы обретаем, раскрыв то или иное межъязыковое соответствие. Много ли нового, кроме самой сладости узнавания, дает нам понимание того, что в строках *Фета жирный карандаш* или *И в горных ножнах слух, и голова глуха* слова *жирный* и *голова* как бы продублированы?

И, наконец, в какой степени эти лингвистические загадки вообще предполагают отгадывание? Если речь идет о немецком или, например, французском языке, можно было бы исходить из презумпции, что образованный читатель, обладающий определенной языковой компетенцией, способен их разглядеть, но, как мы знаем, на практике это происходит нечасто, и причиной тому именно мандельштамовский способ кодирования – будь соответствующее иностранное слово попросту вставлено в текст, оно без труда было бы опознано и переведено. При этом у некоторых пластов лексики, вовлекаемой поэтом в межъязыковую игру, вообще очень немного шансов быть опознанными, а у загадки соответственно вроде бы и вовсе не остается шансов быть разгаданной. Трудно вообразить, к примеру, что поэт и впрямь рассчитывал лишь на читателей, знающих, что գլուխ по-армянски означает ‘голова’ (если только Мандельштам не исходил из того, что уже оставил для читателя некий ключ к пониманию в прозаическом тексте «Путешествия в Армению», созданном за пять с лишним лет до этих стихов).

Что же в таком случае является предметом нашего изучения? Некоторая сугубо техническая «кухня» порождения стиха или все-таки то, что составляет его поэтику и имеет некоего адресата?

На наш взгляд, адресация к читателю здесь несомненно присутствует, однако в интересующей нас области она лишь отчасти направлена на аналитическое понимание и в большей мере – на восприятие. Если так можно выразиться, Мандельштам в данном случае работает для читателя, но не с читателем, а с языком. Утверждение, будто поэт конструирует некое общеязыковое пространство, по-видимому, не до конца верно, скорее, следует говорить о том, что он убежден в изначальном существовании пространства такого рода. В этом отношении особенно показательна процитированная выше «яфетическая новелла» из «Путешествия в Армению». Сколь бы наивной она ни выглядела, с точки зрения современного лингвиста, эта новелла предлагает азы той всеобъемлющей «поэтической ностратики», на которую опирался в своем позднем

---

[14] Слово *чепчик* вовлекается в межъязыковую игру у Мандельштама по крайней мере еще единожды. Правда, на этот раз такое обыгрывание происходит куда менее заметно, и речь здесь идет о построении метафоры на основе того, что в другом языке является устойчивым естественно-научным термином. В одном из стихотворений о щегле (конец 1936 г.) есть строфа: «Когда щегол в воздушной сдобе / Вдруг затрясется, сердцевит, – / Ученый *плащик* перчит злоба, / А *чепчик* – черным красовит» [О.Э. Мандельштам 1990, I: 223]. Слова *плащик* и *чепчик* на русской почве выглядят вполне уместно в поэтической метафорике птичьего оперения, однако скорее всего они почерпнуты поэтом из языка немецкой орнитологии (в частности, популярной), где термины *Mantel* и *Haube* регулярно используются для систематического описания птиц, причем *Haube* в этой традиции обозначает ‘хохолок’ или особую группу перьев, его образующих.

творчестве Мандельштам. Он делает ставку на те имманентные силовые потоки, которые проходят по вертикали и горизонтали – от праязыка к современности и от одних живых языков к другим. В качестве косвенного свидетельства такого понимания дела можно вспомнить, например, слова поэта из статьи «Заметки о Шенье» (1922 г.): «...в поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему аукаются» [О.Э. Мандельштам 1990, II: 167].

В работе с этой языковой стихией понимание как для поэта, так и для читателя порой превращается в процесс вторичный и не всегда обязательный, прикосновение же к межъязыковым связям как таковое обладает самостоятельной ценностью. Так, Мандельштам, завершая в 1936 г. стихотворение «Не у меня, не у тебя – у них», вдруг обнаружил в этом тексте обилие сочетаний *их* и *из* «и почему-то решил, что это влияние испанской фонетики» [Н.Я. Мандельштам 2006: 372–373]. Изначальное единство-родство языков как бы само собою запускает некие механизмы поэзии и почти магическим образом внедряется в воображение – сперва у автора, а затем у читателя.

Не исключено, впрочем, что в иных случаях поэт все же ждал от своего слушателя аналитического сотрудничества, внимания и разгадки, и *чепчик счастья* принадлежит, по-видимому, к разряду именно таких примеров. Как кажется, исконный общеязыковой субстрат мог быть для Мандельштама чем-то вроде рельефного океанического дна, которое, никогда не обнажаясь полностью, определяет морские течения и иногда проступает на поверхность в виде вполне зримых островов суши.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Амелин 2005 – *Г.Г. Амелин*. Кто же ты на самом деле – айсберг или Айзенберг? [Рец. на:] Михаил Айзенберг. Оправданное присутствие. Сб. статей. М., 2005 // Русский журнал. 2005. 24 февраля. http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Kto-zhe-ty-na-samom-dele-ajsberg-ili-Ajzenberg

Амелин, Мордерер 2001 – *Г.Г. Амелин, В.Я. Мордерер*. Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М.; СПб., 2001.

Виноградов 1994 – *В.В. Виноградов*. История слов: около 1 500 слов и выражений и более 5 000 слов, с ними связанных. М., 1994.

Гаспаров 1996 – *М.Л. Гаспаров*. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996.

Городецкий 2008 – *Л.Р. Городецкий*. Текст и мир: Языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация. М., 2008.

Живов 1992 – *В.М. Живов*. Космологические утопии в восприятии большевистской революции и антикосмологические мотивы в русской поэзии 1920–1930-х годов // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992.

Иванов 1990 – *Вяч.Вс. Иванов*. «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

Кабакова 1998 – *Г.И. Кабакова*. На пороге жизни: новорожденный и его «двойники» // Слово и культура: Памяти Н.И. Толстого. М., 1998.

Кацис 1991 – *Л.Ф. Кацис*. Мандельштам и Байрон: к анализу «Стихов о неизвестном солдате» // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991.

Кацис 1994 – *Л.Ф. Кацис*. Эсхатологизм и байронизм позднего Мандельштама: к анализу «Стихов о неизвестном солдате», II // Столетие Мандельштама: Mandelshtam Centenary Conference. Tenafly, 1994.

де Костер 1928 – *Ш. де Костер*. Тиль Уленшпигель / Пер. с франц. О. Мандельштама. М.; Л., 1928.

де Костер 1955 – *Ш. де Костер*. Легенда об Уленшпигеле / Пер. А. Горнфельда. М., 1955.

Левин 1970 – *Ю.И. Левин*. Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов, II («Стихи о неизвестном солдате») // Slavica Hierosolymitana. 1979. V. IV.

Левинтон 1979 – *Г.А. Левинтон*. Поэтический билингвизм и межъязыковые влияния (Язык как подтекст) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.

Лотман 1996 – *М. Лотман*. Мандельштам и Пастернак (попытка контрастивной поэтики). Таллинн, 1996.

Малинская 2001 – *М.В. Малинская*. «Дрожжи мира дорогие...». М., 2001.

Н.Я. Мандельштам 1990 – *Н.Я. Мандельштам*. Вторая книга. М., 1990.
Н.Я. Мандельштам 2006 – *Н.Я. Мандельштам*. Третья книга. М., 2006.
О.Э. Мандельштам, I–II – *О.Э. Мандельштам*. Сочинения / Вступит. ст. С.С. Аверинцева, сост. С.С. Аверинцева, П.М. Нерлера, подгот. текста и коммент. А.Д. Михайлова, П.М. Нерлера. М., 1990.
О.Э. Мандельштам 2009 – *Осип Мандельштам*. Полное собрание сочинений и писем в трех томах / Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Мец. М., 2009.
Михельсон, I–II – *М.И. Михельсон*. Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т. I–II. СПб., б. г.
Плотникова 2009 – *А.А. Плотникова*. «Рубашка» // Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Т. IV: **П** (Переправа через воду) – **С** (Сито). М., 2009.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Т. I. СПб., 1846.
Ронен 1979 – *О. Ронен*. К сюжету стихов о «Неизвестном солдате» // Slavica Hierosolymitana. 1979. V. IV.
Ронен 2002 – *О. Ронен*. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.
Семенко 1990 – *И.М. Семенко*. Творческая история «Стихов о неизвестном солдате» // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.
Стоглав – Стоглав. М., 1890.
Сумцов 1880 – *Н.Ф. Сумцов*. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка // ЖМНП. 1880. № 11. Ч. CCXII.
Топоров 1987 – *В.Н. Топоров*. К исследованию анаграмматических структур (анализы) // Исследования по структуре текста. М., 1987.
Успенский 2008 – *Ф.Б. Успенский*. Три догадки о стихах Осипа Мандельштама. М., 2008.
Belmont 1971 – *N. Belmont*. Le signes de la naissance: Étude des représentations symboliques associées aux naissances singulières. Brionne, 1971.
Forbes 1953 – *Th.R. Forbes*. The social history of the caul // Yale journal of biology and medicine. 1953. V. 25.
von Hovorka, Kronfeld 1908, I–II – *O. von Hovorka, A. Kronfeld*. Vergleichende Volksmedizin. Stuttgart, 1908.
Jakobson, Szeftel 1966 – *R. Jakobson, M. Szeftel*. The Vseslav epos // R. Jakobson. Selected writings. V. IV. Paris, 1966.
Kemble 1960 – *J. Kemble*. Napoleon immortal: The medical history and private life of Napoleon Bonaparte. London, 1960.
Langdon 1912 – *S. Langdon*. Babylonian proverbs // The American journal of Semitic language. 1912. V. XXVIII. № 4.
Magie 1921–1932 – Historia Augusta / Ed. and transl. by D. Magie. T. I–III. Cambridge (Mass.); London, 1921–1932.
Migne – Patrologiae cursus completus / Accurante J.-P. Migne. Series graeca. V. CXXXVII. Paris, 1865.
Moore 1891 – *A.W. Moore*. The folklore of the Isle of Man. London, 1891.
Napier 1879 – *J. Napier*. Folklore: or, superstitious beliefs in the West of Scotland within this century. Paisley, 1879.
Opie, Tatem 1992 – *I. Opie, M. Tatem* (eds.). A dictionary of superstitions. Oxford, 1992.
Ploss 1872 – *H. Ploss*. Die Glückshaube und der Nabelschnurres: ihre Bedeutung in Volksglauben // Zeitschrift für Ethnologie. 1872. Bd. IV.
Spigelius 1626 – *A. Spigelius*. De formato foetu, liber singularis, aenis figuris ornatus. Epistolae duae anatomicae: Tractatus de arthritide. Patauii, 1626.
Trueblood 1977 – *P.G. Trueblood*. Lord Byron. Boston, 1977.
Weiser-Aall 1960 – *L. Weiser-Aall*. Die Glückshaube in der norwegischen Überlieferung // Saga och sed. 1960.
Weiser-Aall 1961 – *L. Weiser-Aall*. Ἔνδυμα // Symbolae Osloenses. 1961. Bd. XXXVII.

Сведения об авторах:

Анна Феликсовна Литвина
Институт славяноведения РАН;
Высшая школа экономики

Федор Борисович Успенский
Институт славяноведения РАН
fjodor.uspenskij@gmail.com

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 2011

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Н.А. Еськова. **Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология. Морфология. Орфография. Лексикография.** М.: Языки славянских культур, 2011. 648 с.

Выход в свет книги избранных работ Натали Александровны Еськовой – событие, значимость которого поистине невозможно переоценить. С одной стороны, не только «простым читателям», но и профессиональным лингвистам бывает нелегко уследить за многочисленными публикациями Н.А. Еськовой – неутомимого просветителя и бесстрашного борца с некомпетентностью и небрежностью во всех их проявлениях: публикации эти разбросаны по самым разным, порой далеким от лингвистики и филологии газетам и журналам, между тем как во многих из них ставятся и разрешаются по-настоящему важные научные вопросы. С другой стороны, как кажется, именно теперь – с появлением словаря норм русского литературного языка XVIII–XIX вв. [Еськова 2008], сразу ставшего настольной книгой десятков и сотен специалистов по истории русского языка, акцентологии, стилистике и другим дисциплинам, и рецензируемого сборника – открывается возможность по-настоящему оценить масштаб лингвистической деятельности Н.А. Еськовой и достигнутые ею результаты.

В сборник вошло около 80 работ – статей, заметок, рецензий, мемуарных очерков и сочинений вне жанра, включая знаменитую в кругах фонологов «Печальную повесть о j-ике». Работы распределены по трем основным разделам – «Фонология. Морфонология. Морфология», «Орфография» и «Лексикография» – и трем приложениям: «Разные темы», «Воспоминания, переписка» и «Курьезы». Позволим себе рассматривать шесть рубрик, из которых состоит книга, от конца к началу.

Раздел «Курьезы» содержит как собственно лингвистические сюжеты: о смешении слов *ванна* и *ванная*, о сочиненной лексикографами на основе формы множественного числа диалектного слова *сило* «силок» – *силья* – несуществующей лексеме *сильё*, об обнаруженном В.И. Беликовым в новом издании «Большого академического словаря» «термине» *глоссемантика* и др., – так и сюжеты общекультурные, касающиеся вечной путаницы между А.К. и А.Н. Толстыми, а также Шубертом и Шуманом.

Раздел «Воспоминания, переписка» включает в себя воспоминания о С.И. Ожегове (краткие, но чрезвычайно содержательные и «самые настоящие» – несмотря на подзаголовок, начинающийся словами «Вместо воспоминаний...»), А.А. Реформатском, памяти которого посвящена книга, и С.М. Бонди, а также переписку Н.А. Еськовой с М.В. Пановым. Как справедливо отмечает автор, эта переписка «лингвистически содержательна и может представить интерес для "историка науки XXI и сл. веков"» (с. 611).

Раздел «Разные темы» начинается в высшей степени интересной заметкой «Какие это варианты? (Неумеха и неумёха. Ионыч)». В первой части заметки Н.А. Еськова показывает, что слова *неумеха* и *неумёха* являются не произносительными (подобно, например, паре *маневр* ~ *манёвр*), а морфологическими вариантами:

> «*уме-ть – не-уме-ха* (с сохранением гласной *е*)
>
> *уме-ть – не-ум-ёха* (с усечением гласной *е*)» (с. 547).

Во второй части анализируется словообразовательная структура отчества *Ионыч*. Согласно предположению Н.А. Еськовой, эта форма представляет собой разговорный вариант отчества *Ионович* (ср. *Иваныч* < *Иванович* и т.д.), рано вытеснившего ожидаемую по общим правилам форму *Ионич*. В подтверждение точки зрения Н.А. Еськовой можно привести два соображения. Во-первых, уже в середине XIX в. встречаются примеры соотноситель-

ного отчества *Ионовна*, ср. «няню Ионовну» в «Сатирах в прозе» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Во-вторых, именно такое происхождение варианта *Ионыч* явствует непосредственно из текста одноименного чеховского рассказа: обращаясь к Старцеву «Дмитрий Ионыч», Котик улыбается, вспоминая, «как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!».

Отметим еще две работы, вошедшие в тот же раздел. В заметке «К текстологии "Доктора Живаго"» показано, что один из эпизодов романа Б.Л. Пастернака – разговор Веденяпина и Выволочнова – печатается с неверным разделением на реплики: сначала два, а несколько ниже три идущих подряд высказывания спорящих оказываются соединены в одно, так что диалог теряет всякую логику. Отдавая должное филологической зоркости Н.А. Еськовой, нельзя в очередной раз не удивиться «темноте» пастернаковского романа, вследствие которой несомненная нелепица на протяжении многих десятилетий ускользала от внимания читателей и исследователей. В заметке «Коварная инверсия (о повторяющихся ошибках при воспроизведении двух классических текстов)» обсуждаются причины многократного неверного цитирования строк стихотворения А.С. Пушкина «Портрет»: «Как беззаконная комета // В кругу *расчисленных* светил» (вместо правильного «расчисленном») – и поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»: «...Посвятить любимый труд // *Павшим* памяти священной» (вместо правильного «павших»). Согласно тонкому наблюдению Н.А. Еськовой, обе эти ошибки провоцируются использованием поэтами инверсии: при «редактировании» получаются сочетания с тривиальным для русского языка порядком слов – *расчисленных светил*, *посвятить павшим*.

Значительное большинство работ, составляющих раздел «Лексикография», так или иначе связано с многолетней работой Н.А. Еськовой – в том числе как автора важнейшего раздела «Сведения о грамматических формах» – над «Орфоэпическим словарем русского языка» под редакцией Р.И. Аванесова, который, по справедливой оценке А.А. Зализняка, «был и остается самым авторитетным и самым детализированным источником сведений по русской литературной норме в области словоизменения» [Зализняк 2003: 3]. Особое место в истории «Орфоэпического словаря...» занимает его знаменитое пятое издание [ОСРЯ 1989], в которое во многом именно усилиями Н.А. Еськовой был внесен целый ряд исключительно ценных изменений и дополнений по сравнению с первоначальным вариантом [ОСРЯ 1983].

Открывает раздел давняя (1972 г.) большая статья «О принципах составления русского нормативного словаря орфоэпического типа». В этой статье Н.А. Еськова обосновывает свой подчеркнуто далекий от пуризма подход к подаче в нормативных словарях реально употребляемых языковых вариантов. Обращают на себя внимание также темпераментные возражения автора против характерного для многих исследователей противопоставления «научности» и «нормативности» (с. 461–462). Действительно, именно Н.А. Еськова наряду с А.А. Зализняком может быть названа ярчайшим представителем собственно научного подхода к нормативной лексикографии, при котором ставится задача не «запретить» те или иные широко распространенные в речи варианты или «предписать» употребление форм, полностью устаревших или просто несуществующих, а по возможности полно изучить механизм языковых явлений, подлежащих отражению в словаре и, соответственно, регламентации. Перечислим лишь несколько чрезвычайно сложных проблем русской грамматики, рассматриваемых Н.А. Еськовой в данном разделе:

– акцентуация кратких форм мн. ч. прилагательных с подвижным ударением типа *близки*, *дружны*, *нежны*, *чисты*, *ясны* и т.д. (с. 464–465);

– словарная подача прилагательных, в разных значениях имеющих разные грамматические характеристики (с. 492–498; в статье рассматриваются прилагательные *знакомый*, *соленый*, *целый*);

– формы второго родительного падежа существительных (типа *стакан чаю*, *добавить сахарку*, *спору нет* и т.п.) и их лексикографическое отражение (с. 499–506);

– формы второго предложного падежа существительных (типа *в саду*, *на кону*, *в тени* и т. п.) и их лексикографическое отражение (с. 506–511);

– наличие в русском языке обширной и неоднородной группы прилагательных, свободно образующих краткие формы, но не имеющих формы сравнительной степени, – таких, как *аналогичный*, *крылатый*, *готовый*, *похожий*, *вакантный*, *приблизительный*, *факультативный* и мн. др. (с. 519–521).

Разумеется, не во всех случаях решения, предлагаемые автором книги, могут быть приняты без оговорок. Так, вопрос о закономерностях употребления в русском языке форм второго родительного падежа (партитива) и второго предложного падежа (локатива) и их эволюции требует дальнейшего подробного исследования с привлечением максимального широкого круга данных. Подход Н.А. Еськовой, предполагающий трактовку очень значительного числа форм партитива и локатива как фразеологически связанных, в какой-то мере оправдан лексикографически, но все же, на наш

взгляд, не отражает действительного положения дел (при этом другая крайность – попытка чисто семантической интерпретации форм локатива, предпринятая в [Плунгян 2002], – также представляется нам неубедительной). В первую очередь это относится к формам партитива, степень распространенности которых как в устной, так и – в еще большей степени – в некодифицированной письменной речи (в частности, в Интернете) чрезвычайно велика. Так, для формы *из Парижу* – одной из тех, которые Н.А. Еськова не считает возможным рассматривать «даже в качестве "отрицательного" языкового материала» (с. 506) – в Интернете обнаруживается более 50 000 ссылок, причем многие примеры (типа *Подскажите, как добраться из Парижу в Рим?*) не производят впечатления ни рассчитанных на комический эффект, ни написанных малограмотными людьми.

Основное место в разделе «Орфография» занимают работы Н.А. Еськовой – как нормативные, так и чисто исследовательские, – посвященные нескольким «вечным» и остродискуссионным проблемам русского правописания: слитному / раздельному / дефисному написанию сложных слов и некоторых групп приставочных имен, написанию одной и двух букв *н* в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных, употреблению буквы *ё*, использованию буквы э при передаче иностранных заимствований, правилам переноса. Сильное впечатление производит название одной из работ – «О недостаточности действующего правила употребления **так называемой** (выделено нами. – *И. И.*) буквы *ё*». Отдельного упоминания заслуживает статья «Из истории русской орфографии», содержащая ряд интересных и по большей части малоизвестных сведений о дискуссиях ученых и писателей XVIII–XIX вв. относительно «лишних» букв русского алфавита, устраненных из него после реформы 1918 г., и общих принципов, на которых должна строиться орфографическая система. Помимо всего прочего, в статье дается заслуженно высокая оценка лингвистических трудов одного из самых талантливых и одновременно самых «невезучих» русских поэтов и ученых XVIII века – В.К. Тредиаковского.

...В упоминавшейся выше переписке автора книги с М.В. Пановым есть замечательный эпизод: получив от М.В. Панова анкету о Московской лингвистической школе, Н.А. Еськова сообщила своему корреспонденту, что «не в состоянии ответить ни на один вопрос, так как не понимает, что такое МЛШ» (с. 611). Не менее замечателен и взятый из высоко ценимого Н.А. Еськовой Г.О. Винокура эпиграф к книге, речь в котором идет об исследователе, стремящемся «проникнуть в верхний этаж прямо с мостовой или через крышу» (имеется в виду здание науки, первый этаж которого составляет описание фактов, а второй – их теоретическая интерпретация). Это не значит, что Н.А. Еськова вовсе избегает обсуждения теоретических вопросов, да едва ли это и было бы возможно для ученицы А.А. Реформатского, как известно, уделявшего проблемам лингвистической теории первостепенное внимание. И все-таки и отказ отвечать на составленную М.В. Пановым анкету, и выбор эпиграфа ко всему сборнику, разумеется, не случайны. Пожалуй, главный исследовательский дар Н.А. Еськовой умение, подвергнув скрупулезному анализу какую-либо область языка, давно считающуюся «изученной вдоль и поперек», обнаружить как множество ранее не учитывавшихся языковых фактов, так и неадекватность существующего описания фактов, уже известных. Именно такие работы составляют основную часть первого раздела книги, именно на них в первую очередь зиждется – не побоимся этого слова – слава Н.А. Еськовой как лингвиста. Перечислим наиболее значимые из этих работ (их названия, как правило, говорят сами за себя): «Образование синтетических форм степеней сравнения в современном русском литературном языке», «О морфологических и морфонологических соотношениях между флексиями родительного падежа множественного числа существительных в современном русском языке», «К морфологии русского императива (форма второго лица единственного числа)», «Формальные особенности некоторых предложных сочетаний с местоименными словами», «Первообразные и непервообразные предлоги. Формальный аспект», «Устройство парадигм глаголов непродуктивного класса с инфинитивом на *-нуть*». Кажется невероятным, что до появления соответствующих работ Н.А. Еськовой оставались неизвестными многие закономерности образования форм сравнительной степени прилагательных и повелительного наклонения глаголов, правила сочетания предлогов с местоимением *друг друга*, условия употребления так называемых припредложных форм местоимения *он* (*него*, *нему*, *ней* и т.д.) и другие, не менее существенные, вопросы русской грамматики. Между тем дело обстоит именно так.

Многие описательные работы, вошедшие в раздел «Фонология. Морфонология. Морфология», в той или иной степени содержат и нормативные рекомендации, нередко основанные на количественных подсчетах. Поскольку эти подсчеты делались в основном до появления Интернета – в первую очередь по материалам советской и позже российской прессы, кажется полезной и необходимой их верификация с учетом современных компьютерных ресурсов.

В большинстве случаев такая верификация подтверждает правоту автора, но имеются и исключения. Так, Н.А. Еськова рассматривает предлог *напротив* в числе предлогов, для которых характерна постановка перед местоимением *друг друга*, а не между его частями (с. 217). Однако по данным Интернета варианты *друг напротив друга* и *напротив друг друга* употребляются примерно с одинаковой частотой, а в Национальном корпусе русского языка довольно заметно преобладает интерпозиция предлога (59 примеров против 30).

Большинство рекомендаций, содержащихся в статье «Склонение фамилий и личных имен в русском языке», благодаря взвешенной позиции автора опять-таки выглядит вполне обоснованным. В частности, Н.А. Еськова справедливо называет «излишне категоричным» запрет на несклонение личного имени в номинациях типа *Жюль Верна*, *Вальтер Скотту*, *о Робин Гуде* и т.п. (с. 260). Однако в нескольких случаях дело обстоит иначе. Так, требование склонять грузинские фамилии на *-ая* – *Шенгелая*, *Гурцкая* и т.п. (с. 256) - находится в разительном противоречии с реальной практикой и должно быть как минимум смягчено. Отстаивая для формы творительного падежа псевдонима русского поэта И.В. Лотарева написание *Северянином*, Н.А. Еськова сама отмечает: «Отсутствие указаний в справочных пособиях привело к широкому распространению варианта *Северяниным*. Материал, полученный из Интернета, дает значительный перевес таких написаний...» (с. 254). На наш взгляд, дело здесь не в «отсутствии указаний в справочных пособиях» (тем более, что в четвертом издании «Грамматического словаря русского языка», включающем и имена собственные, соответствующее указание имеется [Зализняк 2003: 768]), а в интуиции носителей языка, осознающих – вопреки мнению Н.А. Еськовой – превращение существительного *северянин* в псевдоним как «приглашение» склонять его по образцу фамилий на *-ин*. Неоспоримым доказательством этого служат – не гипотетические, а вполне реальные – формы множественного числа фамилии *Северянин*, неизменно имеющие вид *Северянины*, *Северянины* и т.д. (не **Северяне*, **Северян*!), признаваемые и А.А. Зализняком [Там же]. Таким образом, рекомендация Н.А. Еськовой и А.А. Зализняка предписывает для псевдонима *Северянин* невозможную ни для нарицательных существительных на *-анин*, *янин*, ни для русских фамилий на *-ин* гибридную парадигму вида *Северянин – Северянином – Северянины*, так что использование варианта *Северянины* следует признать оправданным и логичным.

Совсем неудачной – и в теоретическом, и в описательном, и в нормативном аспектах – представляется данная в статье «Механический акцентный сдвиг как причина дефектности парадигм в русском литературном языке» интерпретация случаев неупотребительности у некоторых глаголов форм императива и страдательных причастий (с. 206–208). Распространяя на глагольные парадигмы важный и в целом совершенно бесспорный тезис о том, что причиной несвободного образования и даже полной неупотребительности некоторых словоформ может являться автоматический сдвиг ударения на слог влево (ср. ??*башок*, ??*кайм*, **мечт*, **голуб*, **озорён* и т.д.), Н.А. Еськова не учитывает, что употребительность форм императива и страдательного причастия в гораздо большей степени, чем это имеет место для падежных форм существительных и даже для кратких прилагательных, определяется собственно-семантическими факторами. В результате, например, довольно распространенная, особенно с отрицанием (пусть и производящая несколько странный стилистический эффект), форма *убойся* объявляется «неупотребительной», тогда как «свободно образуемая», по Н.А. Еськовой, форма *настойся* (*в очередях*) в действительности вообще не существует: нам не удалось найти ни одного случая ее употребления. Причастия *слизнутый* и *вспугнутый* перечисляются через запятую как безусловно употребительные, однако если второе из них действительно встречается в десятках тысяч текстов, то первое представлено всего несколькими – и явно нелитературными – примерами. Это легко объяснить: использование причастия *слизнутый* в прямом значении практически непредставимо, а в переносном («неоправданно, "пиратски" заимствованный») оно заменяется синонимичной формой *слизанный* (ср. *Репертуар, полностью слизанный у всех понемногу* (Интернет)). То же самое касается, скажем, «представляющихся сомнительными» причастий *сболтнутый* и *оттолкнутый*: первое из них опять-таки не существует, поскольку не может встретиться ни в каком правдоподобном контексте, тогда как для второго можно указать несколько сотен (или даже тысяч) реальных примеров.

Вызывают сомнения и некоторые другие теоретические положения, отстаиваемые автором. Так, нам уже доводилось [Иткин 2005: 55–56] полемизировать с излюбленным тезисом Н.А. Еськовой о том, что *й* в русском языке является морфонологически твердым согласным (с. 81, 158). Это утверждение основывается на правиле выбора окончаний род. п. мн. ч. существительных II склонения: флексия *-ов* выбирается после твердых согласных (кроме шипящих) и *й*, флексия *-ей* – после мягких и шипящих. Однако отсутствие форм типа **краей*, **стульей*, **платьей* вызвано не «морфо-

нологической твердостью» согласного *й*, не находящей себе в русском языке решительно никакого подтверждения, а стремлением избежать употребления на границе основы и аффикса двух одинаковых согласных [Марков 1974: 60], точнее, последовательности C_1VC_1: данное явление характерно и для многих других точек русской морфологической системы [Иткин 2005; 2010] (к сожалению, в 2005 г. работа В.М. Маркова не была нам известна).

Напротив, примером несомненной именно теоретической удачи представляется статья «К интерпретации некоторых фактов русской глагольной морфологии». В этой статье, опубликованной в 1989 г. в журнале «Вопросы языкознания», была в высшей степени убедительно продемонстрирована плодотворность подхода к структуре русских глагольных словоформ, основанного на признании их «принципиальной трехчленности» (разрядка Н.А. Еськовой. – *И.И.*) в соответствии со схемой «основа – тематическая морфема – окончание» (с. 220). В статье рассматриваются морфологические особенности таких глаголов, как *рвать* (и другие того же типа), *реветь*, *спать*, *пеленать*, *сыпать*, *мерить*, *мучить*, *ездить*, глаголы на *-шибить* и *вергнуть* и др. Основной тезис, выдвинутый Н.А. Еськовой, – «...Большинство нерегулярностей русской глагольной морфологии может быть отнесено за счет нерегулярного использования тематических элементов» (с. 221), – не просто совершенно справедлив: как мы старались показать [Иткин 2007: 124–131], он допускает и более категоричную формулировку с заменой слова «большинство» на слово «все».

Невозможно не сказать о том, что собственно качество издания далеко не соответствует содержанию сборника и его научной значимости. Текст изобилует опечатками; иногда они просто вызывают досаду: так, непосредственно в оглавлении в названии статьи «О "неточностях" Осипа Мандельштама» вместо «неточностях» напечатано «неточочстях» (с. 10), – иногда по-настоящему затрудняют восприятие текста, ср. «соотношение *сыпет – сипят*» вместо «...*сыпет – сыпят*» (с. 225) или «две эпиграммы из М.Т. Каченовского» вместо «...на М.Т. Каченовского» (с. 364). Практически нечитаемыми получились многие фотографии газетных и журнальных страниц (см. особенно с. 365–372). В завершающем книгу «Списке основных публикаций» Н.А. Еськовой не указано, какие из них перепечатаны в сборнике, а какие по-прежнему необходимо выискивать в труднодоступных периодических изданиях. Остается надеяться, что все эти недостатки будут устранены при подготовке второго издания этой замечательной книги.

Года два назад в одной интернет-дискуссии, посвященной критериям включения в «Википедию» статей о тех или иных людях, автор этих строк обнаружил эмоциональный призыв: «...Тогда уж извольте представить нам Еськову...». Безусловно, настоящий исследователь работает не ради удовольствия прочитать о себе статью в энциклопедии (бумажной или электронной)... и тем не менее огорчительно сознавать, что этот vox populi до сих пор остается неуслышанным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Еськова 2008 – *Н.А. Еськова.* Нормы русского литературного языка XVIII–XIX веков: Ударение. Грамматические формы. Варианты слов. Словарь. Пояснительные статьи. М., 2008.

Зализняк 2003 – *А.А. Зализняк.* Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. 4е изд., испр. и доп. М., 2003.

Иткин 2005 – *И.Б. Иткин.* Об одном ограничении на сочетаемость суффиксов с основой в современном русском языке // Славяноведение. 2005. № 4.

Иткин 2007 – *И.Б. Иткин.* Русская морфонология. М., 2007.

Иткин 2010 – *И.Б. Иткин.* В чем виноват фальшивомонетчик? (словообразовательные метаморфозы nomina agentis на *-чик*) // Вопросы русского языкознания. Вып. XIII. Фонетика и грамматика: настоящее, прошедшее, будущее: к 50-летию научной деятельности Софии Константиновны Пожарицкой. М., 2010.

Марков 1974 – *В.М. Марков.* Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974.

ОСРЯ 1983 – *Р.И. Аванесов* (ред.). Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. М., 1983.

ОСРЯ 1989 – *Р.И. Аванесов* (ред.). Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. 5-е изд., испр. и доп. М., 1989.

Плунгян 2002 – *В.А. Плунгян.* К семантике русского локатива («второго предложного» падежа) // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.

И.Б. Иткин

Сведения об авторе:

Илья Борисович Иткин
Институт востоковедения РАН,
школа «Муми-Тролль»
isv@gol.ru

S. Birzer. **Русское деепричастие. Процессы грамматикализации и лексикализации.** München: Verlag Otto Sagner, 2010. 284 с. (Slavolinguistica 11)

В исследованиях по русской грамматике (от «Российской грамматики» М. В. Ломоносова 1755 г. до последней академической грамматики 1980 г. [Русская грамматика 1980]) деепричастию традиционно отводилось не слишком много места: раздел о деепричастиях содержит примерно одинаковый набор небогатых сведений о морфологических и синтаксических свойствах этой категории. Традиционно спорным является вопрос о категориальной принадлежности деепричастия: одни исследователи считают его пограничной категорией, располагающейся между глаголом и наречием («гибридная категория» В.В. Виноградова; «смешанная часть речи» А.М. Пешковского); другие относят деепричастие к глагольной парадигме (подходы Н.Ю. Шведовой в [Русская грамматика 1980], а также [Исаченко 1954]); третьи считают деепричастие наречием (такова точка зрения В.А. Богородицкого). По всей видимости, это положение дел объясняется тем, что деепричастие является относительно молодой категорией, однако и диахронический аспект изучения деепричастий долгое время был представлен лишь спорадическими сведениями в работах по истории русского языка (у В.И. Борковского, Л.А. Булаховского, А.М. Селищева). Лишь в самое последнее время в русистике стали обращать внимание на отсутствие полного систематического описания соответствующего явления русской грамматики: так, в работе [Абдулхакова 2007] исследуется история становления деепричастия как самостоятельной категории; в [Чупашева 2008] предпринята попытка разработки нормативной грамматики современного русского деепричастия; статья [Добрушина 2009] содержит корпусное исследование функционирования нестандартных деепричастных форм (*видев* vs. *видя*; *возвратясь* vs. *возвратившись*).

Книга немецкого слависта Сандры Бирцер, как следует из ее названия, представляет собой исследование до сих пор сравнительно мало изученного материала – русских деепричастий – в рамках хорошо известной теории грамматикализации (здесь С. Бирцер предпочитает подход, предложенный в [Brinton, Traugott 2005], где исследуются параллели между процессами грамматикализации и лексикализации).

В основу рецензируемой работы легла написанная автором диссертация, защищенная на филологическом факультете Регенсбургского университета в 2008 году. Содержательная часть книги состоит из трех глав: вводной, основной – «Деепричастия в русском языке» - и заключительной.

Во введении формулируются проблематика и основные цели работы, а также рассматриваются вопросы теоретического и методологического характера, ответы на которые служат фундаментом для дальнейшего исследования. Так, прежде всего формулируется определение понятия «деепричастие». Рассуждая о том, является деепричастие словоформой глагола или его словообразовательной производной (с. 2), автор не указывает на существование описанного выше спектра мнений в традиционной русистике по поводу категориального статуса деепричастий. Тем не менее, основываясь на предложенной Ф. Леманом (см. [V. Lehmann 2003]) трактовке грамматических категорий, автор принимает решение рассматривать деепричастие как словоформу, т.е. часть глагольной парадигмы.

Затем выбирается основной инструментарий для дальнейшего исследования: для изучения русских отдеепричастных предлогов автор адаптирует шесть параметров грамматикализации, предложенных Х. Леманом [Ch. Lehmann 1995], а для работы с русскими отдеепричастными наречиями – подход к феномену лексикализации, предложенный в [Brinton, Traugott 2005].

Параметры грамматикализации преобразованы следующим образом: в рамках параметра целостности (integrity) особое внимание уделяется семантическому «выветриванию» как фактору грамматикализации, а для его описания и изучения используется подход Московской семантической школы; параметры парадигматичности (paradigmaticity) и парадигматической вариативности (paradigmatic variability) редуцируются до близости грамматикализующейся единицы к ядру соответствующей грамматической категории; внутри параметра синтаксической сферы действия (structural scope) предлагается различать «синтаксическую сферу действия» – в терминологии работы [Богуславский 1996] – для описания взаимосвязи семантической и синтаксической структур и «сферу действия» в понимании Х. Лемана для описания сочетаемости основ и морфем, а также морфем друг с другом; параметр синтагматической вариативности (syntagmatic variability) нейтрализуется, поскольку «отдеепричастные предлоги занимают непосредственную препозицию к управляемому ими имени» (с. 20); в отношении параметра связанности (bondedness) утверждается, что

«процесс грамматикализации останавливается в тот момент, когда автономность грамматикализующейся единицы еще сохраняется» (с. 20). Добавим, что в связи с последним параметром особенно интересно наречие *нéхотя* (очевидно деепричастной природы), представляющее собой случай лексикализации, однако демонстрирующее достаточно продвинутую степень связанности с отрицательной частицей, что отражается, в частности, в орфографии и акцентуации.

В отношении лексикализации отмечается, что переход деепричастных единиц в разряд наречий засвидетельствован в различных языках и носит регулярный характер.

Основная глава книги представлена тремя разделами, первый из которых посвящен **деепричастной морфологии в диахронии**. В старославянский и древнерусский периоды краткие причастия утрачивают согласование с именем и начинают преимущественно употребляться в деепричастной функции, причем основной в таких контекстах становится форма женского рода. На с. 29 сведены в таблицу старославянские и древнерусские суффиксы причастий настоящего и прошедшего времени. В старорусский период, к которому отнесены XVI и XVII вв., формируется еще не вполне грамматикализованная категория деепричастия; суффиксы несут таксисные значения; каждый из суффиксов может присоединяться к каждой из основ НСВ и СВ, и, как показано в таблицах 2 и 3 на с. 32 и 34, суффикс *-а/-я* употребляется для образования причастий как прошедшего, так и настоящего времени (*высмотря*, *имея*). Таким образом, оппозиция между элементами деепричастной парадигмы развита слабо, что свидетельствует о недостаточно высокой степени их грамматикализации. В XVIII в. суффиксы *-уще/-аще* выходят из употребления, остальные суффиксы распределяются в зависимости от происхождения глагольной основы: так, при образовании деепричастия настоящего времени в основном используется суффикс *-ючи* для основ восточнославянского происхождения и *-а/-я* для основ церковнославянского происхождения. Для образования деепричастий прошедшего времени предпочтителен суффикс *-в*. Наблюдаемое сужение парадигмы и отраженная в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова попытка сформулировать нормативное правило на основе кореферентности субъектов действий, выраженных деепричастием и основным глаголом, – свидетельства развития грамматикализации. Наконец, в XIX в. суффикс *-а/-я* остается единственным продуктивным маркером деепричастий настоящего времени и присоединяется к основам НСВ, а суффикс *-в* с алломорфом *-вши* становится показателем деепричастий прошедшего времени и присоединяется к основам СВ. Таким образом, каждому из этих двух суффиксов приписывается определенная сфера действия (по Х. Леману). Кроме того, более краткие суффиксы *-а/-я* и *-в* вытесняют *-ючи* и *-вши* соответственно (*-вши* становится позиционным вариантом *-в* перед рефлексивным показателем), и это употребление форм с меньшим фонетическим весом автор трактует как усиление параметра целостности.

Критические замечания к этому разделу прежде всего касаются библиографии: утверждение «нет публикаций, которые могли бы дать обзор исторического развития этой категории» (с. 25) сделано без учета монографии [Абдулхакова 2007]. Кроме того, фактической неточностью является положение о том, что в XIX в. «суффикс *-а(я)* – за исключением глаголов СВ с корнем *ид-* – присоединяется исключительно к основам НСВ» (с. 37). Эта мысль представляется не совсем верным обобщением следующего: «...значительно сокращается употребительность бесссуффиксальных деепричастий от основы *шед*, которые заменяются формами на *-а(-я)*, образованными от основы *ид-*» [Виноградов, Шведова 1964: 181]. Мы не будем рассуждать о правомерности последнего утверждения, однако в отношении первого укажем: на материале подкорпуса текстов XIX в. в Национальном корпусе русского языка[1] обнаруживается, что суффикс *-а(я)* свободно присоединяется также по крайней мере к основам глаголов СВ, относящихся по классификации А.А. Зализняка к типу 7 с пометой 9 [Зализняк 1977: 82, 114]. Это, например, глаголы *провести* (1) и *прочесть* (2).

(1) Дядя мой, отставной флота капитан 2-го ранга, **проведя** всю жизнь на корабле, перенес свои привычки в наследственный дом и как бы переменил один корабль на другой (А. Фет. Матвей Матвеич (1871));
(2) **Прочтя** записку, он кинулся наверх к князю (Г. П. Данилевский. Воля (1863)).

Второй раздел основной главы посвящен **синхронному состоянию русских деепричастий**. Здесь морфологии уделяется мало внимания: в отношении деепричастных суффиксов утверждается лишь, что «на протяжении всего XX века существовала <...> двухчленная система распределения» (с. 40), что представляется некоторым упрощением действительного положения дел. Об этом свидетельствует обширный корпусный материал из статьи

[1] [НКРЯ], откуда взяты все приводимые ниже примеры.

[Добрушина 2009], уже упоминавшейся выше. Хотя эта работа была написана позже диссертации С. Бирцер, существование в современных русских текстах таких дублетных форм как *читая / читав*, *возвратясь / возвратившись* достаточно очевидно даже неискушенному наблюдателю. Кроме того, морфология деепричастий на синхронном уровне последовательно описана в книге [Исаченко 1954], которая упоминается на с. 49 в связи с другими вопросами, однако, к сожалению, отсутствует в библиографии.

Особое внимание в синхронном плане уделяется таксисным значениям деепричастий. Это обстоятельство объясняется тем, что «некоторые таксисные значения актуализуются только при определенном порядке слов» (с. 43), а фиксация порядка слов также считается одним из проявлений грамматикализации. Исследуя деепричастный таксис, автор рассуждает о соотношении между таксисными и другими значениями деепричастий, в результате чего (вслед за работой [Богуславский 1977]) отделяет первичные, таксисные, значения деепричастий – одновременность и разновременность – от вторичных, композициональных, – образа действия, уступки, причины и т.п. В споре по поводу существования таксисного значения следования у русских деепричастий автор выступает на стороне представителей петербургской теории функциональной грамматики (Т.Г. Акимовой, Н.А. Козинцевой и В.С. Храковского; см., например [ТФГ 1987]), постулирующих такое значение, но рассматривает и оппонирующую точку зрения Д. Вайса. Далее С. Бирцер подробно характеризует ряд факторов, связанных с этим значением. Так, во-первых, наличие в предложении интерпретационных глаголов означает отсутствие значения следования у деепричастия, например, «*он сыграл на руку правым, перенеся срок обсуждения законопроекта*» (с. 63). Вторым фактором является значение глагола на шкале «зернистости» («Granularität»). Зернистость представляет собой лексический параметр, введенный немецкой исследовательницей Д. Марск для характеристики степени предсказуемости внутренней структуры ситуации. Так, например, глагол *курить* обладает мелкой зернистостью, поскольку известно, какой сценарий стоит за соответствующим действием, в то время как глагол *эмигрировать* обладает крупной зернистостью, поскольку «мы не знаем, что именно делает человек, который эмигрирует» (см. [Marszk 1996]). Зернистость соотносится с деепричастным таксисом следующим образом: если в предложении (состоящем из главной части и деепричастного оборота) есть интерпретационный глагол, то другой глагол должен проявлять такую же зернистость; иначе – при наличии цепочки действий – обобщающий, «родовой», глагол должен обладать более крупной зернистостью, чем «видовые» глаголы, описывающие действия-звенья. Рассуждения о цепочке действий сводятся (в частности, в таблице на с. 79) к заключению о том, что деепричастие или деепричастный оборот может выражать таксисное значение следования лишь в том случае, если представляет собой звено цепочки, следующее за звеном того же уровня зернистости, например: *пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая*. Наконец, анализ семантики результативности приводит к выделению результативного значения как специфической разновидности деепричастного таксиса; глагол, от которого образовано деепричастие, должен принадлежать к классу субъектно-результативных глаголов, чтобы проявлять таксисное значение результативности.

В качестве итога исследования перечисляется пять выявленных таксисных значений деепричастий: одновременность, предшествование, следование, частичная одновременность и результативность, причем последнее является таксисным значением только в нестрогом смысле. Актуализация каждого из данных таксисных значений зависит от определенных синтаксических, морфологических и семантических условий. Под синтаксическими условиями понимаются позиция деепричастия относительно глагола в главной части предложения, а также результат теста – возможности вставить в предложение одно из обстоятельств *одновременно*, *предварительно*, *быстро* и *затем*. К морфологическим условиям относится вид глагола. Наконец, семантические условия включают в себя наличие интерпретационного или субъектно-результативного глагола. Наглядно зависимость актуализации конкретных таксисных значений от перечисленных условий отражена в схеме на с. 106. Наиболее существенным выводом для всего исследования является доказательство грамматикализации порядка слов, которую, в свою очередь, можно рассматривать как этап процесса грамматикализации деепричастий.

Центральное место в монографии занимает третья часть основной главы, в которой изучаются **конкретные примеры процессов лексикализации и грамматикализации** на материале русских деепричастий. Процессы лексикализации представлены переходом деепричастий *выпивши*, *зря* и *играючи* в категорию наречий, а процессы грамматикализации – развитием отдеепричастных предлогов *спустя* и *отступя от*.

Основная цель при изучении этих деепричастий заключается в прослеживании семан-

тического развития, которое они претерпели при переходе в разряд наречий или предлогов. Частной целью при описании каждой отдеепричастной лексемы является установление ее расположения на шкалах лексичности и грамматичности, предложенных в работе [Brinton, Traugott 2005: 94]. Напомним, что каждая из шкал представлена тремя ступенями, первая из которых указывает на низкий уровень лексикализации или грамматикализации (L1 и G1 соответственно), а третья – на высокий (L3 и G3). Исходя из того, что процессы грамматикализации и лексикализации имеют ряд сходств и точек соприкосновения, соответствующие шкалы перекрываются: в области наслоения находятся ступени L1 и G1, в то время как края общей шкалы представлены ступенью G3 с одной стороны и L3 – с другой.

В монографии рассматриваются **наречия деепричастного происхождения**. Изучая деепричастие *выпивши*, автор устанавливает, что свое современное значение ('в состоянии алкогольного опьянения') деепричастие развило путем семантической спецификации. Исходной точкой процесса лексикализации стало результативное употребление деепричастия СВ от видовой пары *пить – выпить* со значением 'проглотить жидкость', притом с утраченной переходностью по аналогии с *пить* 'быть алкоголиком'. Промежуточным шагом на этом пути является конкретизация значения: *выпивши* 'проглотив спиртное'. На уровне морфологии происходит специализация суффикса *-вши* на обозначение наречия. Все эти факты свидетельствуют в пользу лексикализации. Однако в синтаксическом плане наблюдается, наряду с утратой сферы действия по актанту, соответствующему прямому дополнению, наличие сфер действия, образованных подлежащим и глаголом, а также наличие предикативной функции. Кроме того, результативность присуща всем деепричастным формам предельных глаголов. Ввиду всех перечисленных свидетельств автор располагает *выпивши* в области наложения ступеней L1 и G1 на шкале лексичности и грамматичности.

Семантическое развитие наречия *зря*, уходящего корнями еще в древнерусский период, представляет собой более сложный и многоступенчатый процесс. Отправным пунктом на пути лексикализации служит деепричастная форма *зря*, образованная от глагола активного восприятия *зреть* ('смотреть'), который уже в употреблениях XV в. проявляет значение 'праздно смотреть' (ср.: *глазеть*) наряду с идеей зрительного восприятия. Впоследствии в семантике деепричастия *зря* компонент праздности развивается в компонент 'отсутствие', который реализуется в составе более специфического значения уже наречной лексемы *зря* 'отсутствие усилия'; идея зрительного восприятия при этом стирается. Такая конкретизация значения объясняется тем, что исходный глагол активного зрительного восприятия предполагает наличие специальной, то есть требующей усилия, цели у соответствующего действия. Поскольку отсутствие усилий приводит к отсутствию результата, из значения 'отсутствие усилия', в свою очередь, развивается 'отсутствие результата'; также усилие предполагает наличие желания, а желание является причиной-мотивом действий человека – так автор объясняет появление значения 'отсутствие причины-мотива' у наречия *зря*. Позже из него развивается слово *зря* со значением 'оценка мнения как ошибочного': при отсутствии основания (разновидности причины) у мнения говорящий оценивает его как ошибочное. Лексема *зря* 'отсутствие результата' порождает отдеепричастное наречие со значением 'жалко', для чего предлагается следующее объяснение: «отсутствие ожидаемого результата приводит к отрицательной оценке имеющейся ситуации и к желанию, чтобы имел место ожидаемый результат» (с. 157). Итак, при развитии наречия *зря* выветренные компоненты значения были заменены на другие, однако не менее сложные. Современное наречие *зря* подверглось универбации: оно воспринимается как неделимая на морфемы единица. В силу приведенных доказательств и по той причине, что, как декларативно утверждает автор, «наречия типа *зря* образуются полупродуктивным путем – конверсией деепричастий в разряд наречий» (с. 158), наречию *зря* приписывается ступень L2 на шкале лексичности и грамматичности.

Отдеепричастное наречие *играючи* представлено в современном русском языке, по мнению автора, двумя значениями: 'без усилий' и 'необдуманно', которые развились путем экспрессивной метафоры из деепричастной формы глагола *играть*. В результате метафоризации второстепенные компоненты семантики глагола *играть* (или даже коннотации) становятся главными в семантике обоих отдеепричастных наречий *играючи*. В синтаксическом плане наречие *играючи* отличается от деепричастия актантной структурой: наречие не предполагает прямого дополнения, кроме того, первую его сферу действия образует глагол. В плане морфологии рассматриваемое наречие представляет собой результат развития дублетной деепричастной формы (ср.: *играя*), где произошла специализация менее продуктивного суффикса *-учи* в маркер наречной формы. Интересным наблюдением автора можно назвать сопоставление русского наречия *играючи* с немецким *spielend* (дей-

ствительным причастием от глагола *spielen* 'играть'), проявляющим аналогичное значение в ряде контекстов. Наличие такой параллели между разными языками (случай нередкий при грамматикализации) автор объясняет значимостью концепта игры во многих культурах. Тем не менее, *играючи* представляет собой лексикализацию метафоры. Непродуктивность суффикса *-учи* в плане образования наречия от глагола (хотя существуют и другие наречия с этим суффиксом и все они имеют деепричастную природу) оказывается определяющим фактором для размещения *играючи* на шкале лексичности и грамматичности на ступени L2.

Главным обобщением анализа отдельных отдеепричастных наречий представляется таблица на с. 186, в которой отражен путь их лексикализации: исходной точкой является необычное употребление деепричастия (метафора и т.п.), затем следует утрата синтаксических актантов глагола, после – отграничение наречной формы от деепричастной, предпоследний шаг на этом пути – универбация и, наконец, сохранение отдеепричастного наречия при вытеснении деепричастия супплетивной формой.

С. Бирцер рассматривает **предлоги деепричастного происхождения**. В отношении отдеепричастного предлога *спустя* автор заключает, что временно́е значение этого предлога развилось из метафорического употребления глагола *спустить*. Тем не менее, примеров подобного употребления обнаружено не было, и по этой причине к анализу привлекаются глаголы *испустить*, *пропустить*, *упустить*, относящиеся к тому же гнезду, что и *спустить*. Данные глаголы в метафорическом употреблении (что подтверждается примерами) предполагают намеренное или ненамеренное бездействие субъекта, в то время как «деепричастие *спустя* тяготело к контекстам ненамеренного действия субъекта» (с. 225). Результатом выветривания становится утрата компонента 'действие', присущего глаголу, а также указания на человека, то есть глагольной актантной структуры. В морфологическом плане имеет место специализация суффикса *-я*: регулярное деепричастие от глагола СВ образуется посредством суффикса *-в* (*спустив*). Эти свидетельства указывают на развитие грамматичности у *спустя*. В плане продуктивности выясняется, что пополнение категории предлогов грамматикализованными деепричастиями, хотя и представлено рядом примеров, не является регулярным явлением. Итак, автор приписывает предлогу *спустя* ступень G2 на шкале лексичности и грамматичности.

Образование предлога *отступя от* представляет собой результат семантического выветривания компонента 'перемещение', свойственного глагольной лексеме *отступить*. Это обстоятельство автор объясняет главным образом результативным употреблением деепричастия *отступя*. В синтаксическом плане наблюдается колебание: актант *отступя от* с семантической ролью 'расстояние' типичен для деепричастия, в то время как наличие сфер действия по актантам с обозначением места подчеркивает предложные черты. На уровне морфологии здесь наблюдается уже описанная в отношении предлога *спустя* специализация суффикса, однако только теперь (на с. 241) автор отмечает, что «деепричастный суффикс *-я* <...> все еще употребляется как слабопродуктивный способ образования деепричастия СВ». Заметим, что то же было бы верно в отношении деепричастия *спустя*:

(3) Когда люди поставили лампы и вышли, **спустя** шторы у окон, Водопьянов продолжал:... (Н. Лесков. На ножах (1870)).

В силу наблюдаемой специализации суффикса *-а*, который все еще является слабопродуктивным способом образования деепричастий СВ, предлог *отступя от* размещается в области наложения ступеней L1 и G1 на шкале лексичности и грамматичности, хотя его сходство с предлогом *спустя* свидетельствует, как замечает автор, в пользу ступени G2.

Подводя итоги в изучении отдеепричастных предлогов, автор отражает путь их грамматикализации в таблице на с. 248. Так, сначала деепричастие претерпевает семантическое выветривание, затем утрачивает кореферентность с подлежащим из главной части предложения, после чего происходит фиксация порядка слов. Далее имеет место синтаксическая реинтерпретация, за которой следует универбация. Два последних шага на пути грамматикализации – отграничение предложной формы от деепричастной и сохранение отдеепричастного предлога при вытеснении деепричастия супплетивной формой – уже встречались нам на пути лексикализации.

Наконец, в **заключительной главе** сжато представлены все полученные в ходе исследования результаты, наиболее существенные из которых были рассмотрены выше. При обсуждении итогов анализа отдеепричастных наречий приводятся примеры аналогичной лексикализации из немецкого и турецкого языков. Кроме того, представлен и ряд новых выводов о соотношении грамматикализации и лексикализации: обнаружилось, что эти процессы, имеют, во-первых, сходные этапы развития (отграничение предложной / наречной формы от деепричастной и универбация), во-вторых, общие свойства, проявляющие различную реализацию (семантическое вы-

встривание), и в-третьих, различия (фиксация порядка слов, свойственная грамматикализации).

Нетривиальным выводом работы автор считает свидетельство типологической универсальности этапов процесса лексикализации, хотя до сих пор считалось, что такая универсальность характерна лишь для процесса грамматикализации.

Переходя к общим замечаниям, отметим, что в целом работа выполнена очень аккуратно и даже скрупулезно, несмотря на опечатки и стилистически неудачные формулировки, которые встречаются в книге. Можно указать на один случай непоследовательности: еще во вводной главе автор исключает из дальнейшего рассмотрения русский союз *хотя*, поскольку «результаты <...> работы с памятниками <...> не указывали на развитие союза *хотя* из соответствующего деепричастия» (с. 2). Тем не менее, союз *хотя* дважды привлекается в качестве примера: для иллюстрации фонетической эрозии у служебных лексем деепричастного происхождения (*хоть* и *хотя*) на с. 108 и в утверждении, что «из области союзов можно привести конкретный пример – форма *хотя* выпала из парадигмы глагола *хотеть* и заместилась супплетивной формой *желая*» (с. 246).

Рецензируемая работа в целом представляет собой, вне всякого сомнения, масштабное, логично выстроенное и систематическое исследование. В перспективе будущих исследований особенно важны свидетельства лексикализации и грамматикализации русских деепричастий, поскольку эти процессы еще не завершены. Кроме того, вывод о регулярности процессов лексикализации, сделанный в результате анализа русских отдеепричастных наречий, имеет важное теоретическое значение. Остается надеяться, что Сандра Бирцер продолжит изучение проблематики русских деепричастий, а ее работы будут обладать всеми перечисленными преимуществами лишь в большей мере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абдулхакова 2007 – *Л.Р. Абдулхакова*. Развитие категории деепричастия в русском языке. Казань, 2007.

Богуславский 1977 – *И.М. Богуславский*. О семантическом описании русских деепричастий: неопределенность или многозначность? // ИАН СЛЯ. 1977. Т. 36. № 3.

Богуславский 1996 – *И.М. Богуславский*. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

Виноградов, Шведова (ред.) 1964 – *В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова* (ред.). Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века (Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Т. 2). М., 1964.

Добрушина 2009 – *Е.Р. Добрушина*. *Видев* и *увидя*: жизнь и смерть нестандартных деепричастий // К.Л. Киселева (ред.). Корпусные исследования по русской грамматике. М., 2009.

Зализняк 1977 – *А.А. Зализняк*. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.

Исаченко 1954 – *А.В. Исаченко*. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология. Bratislava, 1954.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. http://www.ruscorpora.ru.

Русская грамматика 1980 – Русская грамматика: В 2 т. / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980.

ТФГ 1987 – Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1987.

Чупашева 2008 – *О.М. Чупашева*. Грамматика русского деепричастия. Мурманск, 2008.

Brinton, Traugott 2005 – *L.J. Brinton, E.C. Traugott*. Lexicalization and language change. Cambridge, 2005.

Ch. Lehmann 1995 – *Ch. Lehmann*. Thoughts on grammaticalization. München; Newcastle, 1995.

V. Lehmann 2003 – *V. Lehmann*. Grammatische Derivation (Aspekt, Genus verbi, Komparation, Partizip und andere Phänomene zwischen Flexion und Wortbildung) // T. Berger, K. Gutschmidt (Hrsg.). Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen. Beiträge zum XIII Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana. München, 2003.

Marzsk 1996 – *D. Marszk*. Russische Verben und Granularität. München, 1996.

В.М. Ковальская

Сведения об авторе:

Вера Максимовна Ковальская
МГУ им. М.В. Ломоносова
foi_forgee@mail.ru

***M. Haspelmath, U. Tadmor* (eds.). Loanwords in the world's languages: A comparative handbook.** Berlin: De Gruyter Mouton, 2009. 1081 p.

Исследования в области лексики (в особенности масштабные типологические проекты) в современном лингвистическом мире, к сожалению, по-прежнему довольно редки. Книга под редакцией Мартина Хаспельмата и Ури Талмора «Loanwords in the world's languages: A comparative handbook» составляет приятное и весомое исключение из этого правила: в ней 1 081 страница, и она обобщает результаты крупного международного проекта, посвященного изучению пластов заимствованной лексики в языках мира[1]. Другим «материальным» результатом того же проекта стал доступный любому желающему сайт в интернете (http://wold.livingsources.org), на котором размещена электронная база данных по материалам всех вошедших в проект языков.

По-видимому, таким парным результатам – монография и общедоступная база данных – в области лингвистической типологии предстоит большое будущее: никакой объем, пусть даже и многотомной монографии, не вместит той информации, которую можно включить в базу данных. Если этот ресурс общедоступен, читатель легко проверит результаты, изложенные в книге, сам ответит на возникающие вопросы и сам подберет иллюстрации к экономно изложенным фактам. На типологических конференциях сейчас принято готовить не только презентацию доклада в виде слайдов, но и обширный (часто страниц на 20–30) хэндаут, в котором подробно проиллюстрирована «материальная часть» представляемого доклада. Это удобно и уже вошло в практику: вполне естественно, что такая практика распространяется не только на краткие сообщения, но и на крупные международные проекты.

Итак, целью проекта является изучение типологии заимствований. А что такое заимствования и почему они появляются в языках? Этот вопрос подробно рассматривается во вступительной статье М. Хаспельмата «Заимствования: общие представления и языковые реалии», где заимствование определяется как лексическая единица, которая в некоторый момент истории языка вошла в него в результате своего рода копирования из другого языка.

Главная причина появления заимствований заключается в том, что языки контактируют друг с другом, и чем теснее они контактируют, тем больше у каждого из них возможностей использовать не только собственную лексику, но и лексику соседа. Однако обычно из двух языков один (в культурном или другом отношении доминирующий) оказывается лексическим донором, так что «равноценного обмена» никогда не происходит. Есть так называемое «материальное» («material») заимствование и есть заимствование языковой модели (последовательный перевод с соблюдением структуры исходного слова или фраземы средствами языка-реципиента), оно же калькирование. Авторов интересует только первый вариант.

Самый простой случай материального заимствования – это заимствование названия отсутствующего в данной культуре объекта – инструмента, растения или животного, блюда, одежды и т.п., ср. русск.: *ксерокс*, *кенгуру*, *лобио*, *пончо*. Сложнее причины, по которым в язык попадает «чужое» слово для уже существующего в культуре этого народа объекта. Это может произойти при очень тесном контакте языков, когда употребление в данном контексте «чужого» слова используется для того, чтобы получить суженное или расширенное значение параллельно существующей «родной» лексеме – с другой внешней оболочкой. Отдельного разговора заслуживает заимствование служебных слов – союзов, предлогов и в особенности дискурсивных показателей. Оно свойственно ситуации двуязычия и обычно свидетельствует о существенном влиянии доминирующего языка.

Ясно, что в ситуации двуязычия говорить о заимствовании непросто: очень часто происходит не импорт слова – по культурным или лингвистическим причинам – а просто локальное «переключение» говорящего на другой язык и обратно («code switching»), которое даже он сам может не замечать ввиду равного владения обоими. Очевидно, что строгой границы между заимствованием и таким переключением провести нельзя, однако помогает исследование частотности употребления соответствующего слова или степень его фонетической адаптированности к языку-реципиенту (с. 41).

Еще одна очевидная трудность, которую хорошо осознают авторы проекта, состоит в том, что история разных языков и культур в разной степени документирована и исследована. Как мы знаем, русский, например, в этом отношении, к сожалению, далек от английского или, скажем, греческого – что уж говорить о

[1] Среди работ, посвященных типологическому изучению именно заимствованной лексики, мы можем упомянуть недавно опубликованную книгу Я. Вольгемута [Wohlgemuth 2009], охватывающую, однако, существенно более узкую область лексики.

положении арчинского и кетского. Между тем идея состоит в том, чтобы по возможности для каждого языка учесть (в том числе и при статистической обработке) заимствования всех доступных наблюдению периодов его развития (но какое бы то ни было равенство здесь абсолютно недостижимо).

В принципе, любой сколько-нибудь масштабный лингвистический проект сталкивается с трудностями определения объекта исследования, проведения границ между релевантными и нерелевантными данными, заведомой погрешностью в ожидаемых результатах и т.п. Естественные языки – живые и саморазвивающиеся системы, и никуда от этого не деться. Приходится принимать волевые решения, только они и приводят к успеху, а книга Хаспельмата и Тадмора – бесспорный успех.

Организация книги очень продумана. Небольшая вводная теоретическая часть («Общие главы») содержит три раздела. Первый (написанный обоими редакторами) посвящен описанию проекта в целом и структуре базы данных, второй, сугубо теоретический, был рассмотрен выше, а третий (написанный Ури Тадмором) представляет полученные результаты и обобщения, сделанные на основе статистических исследований каждого из языков. Вторая часть книги называется «Языки» и состоит из 41 главы – именно столько языков внесено в базу данных и описано в книге в рамках проекта. Язык принимался к рассмотрению только в том случае, если находился эксперт по нему, который вызывался участвовать в проекте, – он и становился автором соответствующей статьи.

Задача руководителей проекта состояла в том, чтобы систематизировать полученный материал и провести сравнение данных выбранных языков. Базой для сравнения является составленный в лейпцигском Институте им. Макса Планка (где этот проект выполнялся) список лексических значений объемом 1 460 единиц. В его основу положен известный словарь-тезаурус на 1 200 единиц Карла Дарлинга Бака [Buck 1949], представляющий основные синонимы в индоевропейских языках. В рамках проекта Мери Ричи Кей и Бернарда Комри «Intercontinental dictionary series»[2] он был переработан для серии «межконтинентальных словарей» и расширен до 1 310 единиц, а теперь для проекта изучения заимствований пополнен еще на 150 слов.

Для каждого значения из этого списка экспертам нужно было проверить, является ли в их языке слово, выражающее данный смысл, заимствованным. В результате проект должен показать, какие значения оказываются более склонными к выражению с помощью заимствованных средств, а какие менее; иными словами, какова вероятность того, что некоторое значение будет выражаться в некотором случайно взятом языке заимствованной единицей. Языки отбирались таким образом, чтобы выборка оказалась максимально разнообразной и представительной с лингвистической и социолингвистической точек зрения. В нее вошли языки из двадцати двух семей: нигер-конго (суахили), афразийской (иракв, гаввада, хауса, тамазихт), нило-сахарской (канури), индоевропейской (румынский, британский английский, древневерхненемецкий, нидерландский, цыганский Словакии, нижнелужицкий), уральской (кильдинский саамский), нахско-дагестанской (бежтинский, арчинский), енисейской (кетский), тюркской (якутский), тунгусо-маньчжурской (орочский Северного Китая), сино-тибетской (мандарин, китайский), таи-кадайской (тайский), австроазиатской (вьетнамский, че-венг), мяо-яо (хмонг), австронезийской (индонезийский, малагасийский, такиа, гавайский), пама-ньюнга (гуринди), юто-ацтекской (яки), майя (цоциль, кекчи), отомангской (отоми), кечуанской (имбабурский кечуа), карибской (карибский), надахупской (хуп), матакской (уичи), араукан-ской (мапудунгу), а также японский и два креольских языка (сейшельский и сарамаккский). Помимо типологического разнообразия, языки в выборке очень разнятся по многим другим параметрам: количеству носителей, языковой политике, социолингвистической ситуации в целом.

Как видно из приведенного списка, русского языка в выборке нет, и в целом славянская группа языков представлена очень неожиданно – нижнелужицким. Наиболее доступная с исследовательской точки зрения индоевропейская семья представлена не намного шире, чем другие, и совершенно нестандартно: в частности, представителем романской группы избран румынский, а не французский, итальянский или испанский. В проект вошли как языки очень большие, с огромным количеством носителей (литературный китайский, британский английский, суахили, японский), так и «едва живые», как, например, кетский, и даже мертвый древневерхненемецкий.

Особое внимание привлекают два креольских языка, сам способ образования которых является результатом интенсивных контактов двух различных по своим типологическим (и не только) характеристикам языков. Исконной для таких языков считается лексика языка-лексификатора, а заимствованной – вся остальная, в том числе и лексика второго языка, участвующего в создании креольского. Так,

[2] См. http://lingweb.eva.mpg.de/ids/

например, для сейшельского языка исконными признаются слова, пришедшие в него из разговорного французского XVIII в., а слова из языков колонизированных бантуязычных племен – заимствованными. Важно, что заимствованными считаются и те французские слова, которые пришли в язык позже, в XIX и XX веках – уже в результате новых контактов жителей Сейшельских островов с французами.

Безусловно, чем более разнообразна выборка, тем надежнее результаты и тем больше вес типологического исследования и построенной на его базе статистики. Но для статистики 41 язык – это не так много (хотя для исследовательской лингвистической работы это огромный объем и несколько лет неустанного труда: проект стартовал в 2003 году!). В связи с этим предложенный список языков, конечно, немного обескураживает: эти языки отличаются слишком разными письменными традициями, слишком разной степенью изученности и слишком разным количеством доступного материала. Другое дело, что проект может продолжаться, опираясь на разработанные в нем методики. Его руководители приглашают экспертов по неучтенным языкам принять участие в пополнении составленной общедоступной базы данных.

База данных имеет довольно сложную организацию и состоит из нескольких связанных между собой таблиц, основных и дополнительных. Основных таблиц три: таблица значений, таблица слов и таблица отсутствующих слов. Рассмотрим последовательно каждую из них.

Таблица значений едина для всей базы в целом, она была заполнена организаторами проекта и далее использовалась уже в готовом виде всеми экспертами по языкам. В ней отражен упоминавшийся выше перечень лексических значений (1 460 единиц). Для каждого значения в базе указывалась следующая информация: его «код» (нечто вроде порядкового номера), принадлежность к одному из двадцати четырех семантических полей (физический мир, термины родства, животные, тело человека, еда и питье, одежда и уход за телом, дом, сельское хозяйство, основные действия и технологии, движение, обладание, пространственные отношения, количество, время, чувственное восприятие, эмоции и оценки, познание, речь и язык, социально-политические отношения, военное дело и охота, право, религия и верования, современный мир, другое), принадлежность к одному из «семантических классов» (классу предметных, глагольных, признаковых или наречных слов, а также служебных или знаменательных[3]) и английский эквивалент. Английский эквивалент – это слово, маркирующее данное значение и являющееся его «именем» в базе данных. Разумеется, из этого не следует, что база в целом становится англоцентричной: английский используется лишь как метаязык, и данный эквивалент вовсе не предполагает, что представляемая им семантическая сущность должна полностью совпадать по объему со значением соответствующего английского слова. Во избежание путаницы и недоразумений значения помимо английского эквивалента снабжаются толкованием и прототипическим контекстом, призванным снять многозначность английского слова. Такая система кажется нам в целом хорошо продуманной и очень удачной, – правда, пока не для всех значений в базе приведены и толкование, и прототипический контекст. Видимо, в простых и понятных случаях эта процедура может для экономии усилий редуцироваться. Так, например, для смысла, обозначенного словом *the world*, приведен только прототипический контекст (*The Amazon is the longest river in the world*), а для значения *the shore* – только толкование ('the land along the edge of a large body of water, such as an ocean or a lake'). Ср. также неоднозначный эквивалент *the river or stream*, для которого пока в базе нет информации ни о контексте, ни о толковании.

Следующая таблица, таблица слов, заполняется экспертами. В ней есть поля, обязательные для заполнения, и поля факультативные. Таблица слов заполняется на основе таблицы значений: в нее включаются слова, выражающие соответствующие значения в данном языке. Каждое слово записывается в стандартном транслитерационном виде (может быть дана и запись слова в традиционной для языка графике, для этого предназначена особая графа таблицы). Отдельно эксплицируется отношение между значением из общего списка и значением каждого конкретного слова: конкретное языковое значение может быть точным эквивалентом значения из общего списка, может выражать более узкое или, наоборот, более широкое понятие, а может быть «параэквивалентом», т.е. выражать значение, частично пересекающееся со значением из списка. Далее для каждого слова указываются сведения о его членимости и приводится глоссирование в случае, если слово членимо. Также для

[3] Обратим внимание, что в рамках подхода Хаспельмата и Тадмора частеречная принадлежность слова считается семантической, а не грамматической характеристикой, т.е. характеристикой самого значения, а не грамматическим свойством выражающей его лексемы.

каждого слова определяется (разумеется, по возможности) его возраст: примерный период времени, когда оно впервые было засвидетельствовано в языке или же было впервые зафиксировано в корпусах письменных текстов. И, наконец, приводятся наиболее существенные для данного исследования сведения, отражаемые в таблице слов, – указание на статус слова с точки зрения заимствованности / исконности. Заимствованный / исконный статус лексемы в данном проекте считается не бинарным противопоставлением, а шкалой, в соответствии с которой слово может получить одну из следующих пяти характеристик:

1. нет никаких оснований считать данное слово заимствованным («no evidence for borrowing») – коэффициент «заимствованности» («borrowed score») 1,00;
2. вероятность того, что слово заимствовано, очень мала («very little evidence for borrowing») – 0,75;
3. возможно, слово является заимствованным («perhaps borrowed») – 0,50;
4. вероятно, слово является заимствованным («probably borrowed») – 0,25;
5. слово явно заимствованное («clearly borrowed») – 0,00.

Заметим, что авторы умышленно смягчают свои тезисы, дабы не погрешить против точности и достоверности сведений: ни одно слово не считается бесспорно исконным, так как нельзя быть полностью уверенным, что оно не было заимствовано в более ранние, недоступные нам периоды развития языка или же что нам достоверно известны все возможные источники заимствований для данного языка.

Любопытно, что в рамках концепции Хаспельмата и Тадмора слово не считается заимствованным, если оно содержит исконные словообразовательные элементы, даже при бесспорном наличии заимствованного корня. Это значит, что если бы, например, в рамках этого проекта рассматривался русский язык, то слово *компьютер* считалось бы заимствованием, а *компьютерщик* – уже нет. Сами авторы оправдывают такой подход соображением, что оформление слова с помощью исконных средств говорит о том, что заимствованный корень уже адаптирован в языке и используется как «строительный материал», из которого язык уже самостоятельно, без помощи соседей, создаст свои слова по исконным моделям с помощью исконных словообразовательных элементов. Подобная концепция, на наш взгляд, в теоретическом отношении не бесспорна: результатом такого подхода может быть игнорирование существенного числа заимствований. И, что кажется нам еще более важным, такая интерпретация противоречит интуиции не только лингвиста, но и «наивного» носителя языка. С другой стороны, таким способом можно, наоборот, избежать неоправданного увеличения количества заимствованных слов, которое неизбежно превратилось бы в «зашумляющий» фактор при вычислении общей статистики. И действительно, корень заимствуется лишь однажды, а значит, нет смысла видеть новое заимствование в каждом последующем его употреблении.

Для слов, которые были признаны заимствованными, указывается дополнительная информация: язык-донор и слово-источник, общие сведения о контактной ситуации, обусловившей заимствование, а также сведения о том, какие изменения привнесло заимствованное слово в систему языка (заполнило лакуну, вытеснило старое слово или сосуществует со старым словом).

Каждый эксперт имеет право при желании включить в базу и другие заимствованные слова, изначально не представленные в общем списке значений, но эти слова не учитываются при статистических подсчетах.

Третья таблица – таблица отсутствующих слов. В ней указывается, какие значения из общего списка не отражены в таблице слов данного языка, а также и возможные тому причины. Причиной может быть недостаточная информация (например, слишком небольшое количество текстов на исследуемом языке), нерелевантное для носителей языка значение (например, в африканских языках вряд ли найдет отражение понятие ‘метель’) или отсутствие однословного эквивалента.

Помимо трех рассмотренных таблиц, которые считаются основными, в базу данных входит еще некоторое количество небольших вспомогательных таблиц: таблица вошедших в исследование языков-реципиентов, таблица языков-доноров, сводная таблица семантических полей и др.

Формат статей, которые сопровождают базу данных и составляют основное содержание рецензируемой книги, достаточно жестко определен. В первом разделе даются краткие сведения о языке, народах, которые на нем говорят, и странах, в которых он распространен. Второй раздел – об источниках данных; здесь же освещается история изучения языка. Третий раздел описывает историю и современное состояние языковых контактов. Следующие разделы непосредственно касаются заимствований: дается распределение заимствований по семантическим полям и семантическим классам, описывается степень их интегрированности в язык-реципиент; отдельный раздел посвящен грамматическим заимствованиям. В качестве приложения к каждой статье дается

полный перечень заимствований в данном языке (причем основной список здесь часто существенно расширяется экспертами).

Универсальность схемы описания, бесспорно, облегчает чтение такой объемной книги – и это совсем не скучное чтение. К примеру, обратимся к статье о британском английском (Энтони II. Гранта). Обилие заимствований в английском языке хорошо известно, но все же доля их, указанная в статье, для многих читателей будет неожиданной (41 %). В статье последовательно дается интересное, подробное (и одновременно сжатое) изложение истории языка и его контактов в каждом периоде. Больше всего заимствований, конечно, французских – во всех областях жизни, но в особенности в юриспруденции (61,5 %) и политике (56,4 %). На втором месте стоит латынь, в основном благодаря религиозной терминологии (25 %), сельскому хозяйству (11,8 %), науке (15,1 %) и некоторым другим, уже менее значимым зонам. Древнескандинавский удерживает третье место за счет «внедрения» в базовую лексику: термины родства (3,7 %), глаголы движения (3,8 %) и воздействия (7,5 %), речи (6,8 %) и т.п.; ср.: *get*, *give*, которые сохранили старое произношение, а также местоимения *they*, *them*, *their* и даже форма бытийного глагола *are*. Оказывается, характерным фонетическим маркером заимствования является чуждый британскому дифтонг /ɔi/ как в *boy*, *soil* или *coin*. Уже эти сведения показывают масштаб иностранных «вливаний», которые произошли в свое время в английскую лексику. Если судить по этим данным, английский оставляет далеко позади гораздо менее крупные и более зависимые от языковых контактов языки, как например, якутский (29 %) или даже исчезающие, как кетский (9,7 %).

Кетский язык (статья Эдварда Вайды) заимствовал мало, в основном из русского и в основном в советское время, начиная с 1930-х годов, когда кетов заставляли строить деревни и им приходилось тесно общаться с русскими. Практически все заимствования глубоко интегрированы в кетский, так что непрофессионалу трудно угадать в них исходное русское слово, ср. *nela* из *неделя* или *mina* из *свинья*. Показательны грамматические заимствования в кетском союзы *и* и *а*, а также наречие со значением ‘всегда’, восходящее к русскому существительному *век* (*bék*) или частица *qōi* от русского *хоть*, которая в сочетании с собственно кетскими местоимениями и наречиями образовала парадигму неопределенных местоимений со значениями ‘где-нибудь’, ‘кто-нибудь’ и т.п.

Якутские заимствования из русского (статья Бригиты Пакендорф и И.Н. Новгородова), напротив, в большинстве своем легко узнаваемы, как *britva* или *ključ*. Зато, как это часто бывает, неузнаваемо меняется семантика: например, русское *харчи* приобрело в якутском значение ‘деньги’, слово ‘брат’ (ввиду неразличения в якутском родов) стало в некоторый момент означать и брата и сестру (сейчас значение этой лексемы изменилось: она закрепилась за обозначением младшего брата мальчика, вытеснив исконное слово).

Уже из этих примеров видно, что содержание статей крайне разнообразно, потому что стратегия языков в отношении заимствований – ввиду специфики каждого – очень индивидуальна: в одних случаях акцент делается на истории языка, в других – на социолингвистических факторах, где-то важнее фонетические преобразования, которые претерпевают заимствованные слова, но в других случаях они могут интегрироваться в грамматическую систему или резко менять лексическое значение. Бесспорно, каждый случай интересен. Но для чего может оказаться полезным столь подробное изучение заимствований сразу в четырех десятках языков?

Некоторые ***области применения результатов*** своего проекта авторы указывают сами.

Во-первых, изучение заимствований может пролить свет на некоторые темные моменты истории: сведения о том, какие именно слова в языке N заимствованы из языка M, помогут определить характер отношений между народами-носителями этих языков в момент заимствования. Сам факт наличия заимствований может стать косвенным подтверждением того, что языки в какой-то период времени контактировали между собой.

Во-вторых, подобное комплексное исследование позволяет более основательно изучать особенности процесса заимствования лексики не только с социальной, но и с чисто лингвистической точки зрения: можно исследовать влияние на «устойчивость» лексемы степени абстрактности ее значения или сравнивать частотность заимствований предметных, глагольных и признаковых значений и т.д.

В-третьих, такое исследование ценно с точки зрения компаративистики, так как оно позволяет более строго (а значит, и более точно) определить, какую лексику можно считать ядерной, т.е. какие именно слова следует брать за основу при выявлении родственных связей между языками.

Четкая структуризация собранного материала сделала возможными и статистические обобщения теоретического плана:

• В выборке не оказалось ни одного языка, в котором бы совсем не было заимствованных единиц. На этом основании авторы утвержда-

ют, что в целом склонность к заимствованию у языков-соседей хотя бы небольшого количества слов является универсальной. С другой стороны, доля заимствованных слов в одном языке может очень сильно отличаться от процента заимствованной лексики в другом языке, и зависит этот процент от многих лингвистических и социолингвистических факторов. Например, среди языков, вошедших в проект, самый высокий процент заимствований зафиксирован в языке словацких цыган – 62,7%, а самый низкий – в литературном китайском – 1,2%. Это огромное различие объясняется целым рядом факторов. Язык словацких цыган является ненормированным языком социального меньшинства с относительно короткой историей, не обладающим ни социальным, ни политическим престижем, живущим довольно долгое время в отрыве от других своих диалектов. Его носители в большинстве своем многоязычны и лояльно относятся к проникновению в их язык заимствований. Помимо этого, контактные ситуации, в которых задействован этот язык, довольно хорошо исследованы, хорошо известны его языки-доноры. Китайский же демонстрирует противоположную ситуацию: это хорошо нормированный престижный язык социального большинства с относительно долгой историей. Его носители одноязычны, к проникновению заимствований в их язык относятся отрицательно (придерживаясь пуристической языковой политики). К тому же, на сегодняшний день довольно плохо изучены контактные ситуации с участием этого языка и довольно плохо исследованы некоторые его языки-доноры.

• Соотношение заимствованной и исконной лексики для каждого языка свое, и ни родственность, ни географическая близость языков не может обеспечить им равный процент заимствованной лексики. Так, например, в британском английском, как мы уже говорили, по результатам данного проекта, 41% заимствований, в близкородственном ему нидерландском – всего 19,1%, а в находящемся не так далеко от них нижнелужицком – 22,4%. Именно поэтому целесообразно для каждого языка писать отдельную статью: у каждого языка своя история.

Соотношение заимствований в английском и нидерландском, конечно, наводит на размышления. Сегодняшние жители Нидерландов практически все двуязычны, они легко и свободно переходят на английский, «переключая код». Ясно, что сейчас именно английский влияет на нидерландский (как и на большинство языков мира), и об этом глобальном и агрессивном в лингвистическом смысле влиянии эксплицитно сказано в статье Николин ван дер Сейс.

Но статистика, которая приводится в ее статье, отражает совсем другую картину: общее число заимствований в нидерландский действительно оценивается как 19,1%, из них 9,5% французские, 8,4% латинские и только 2,2% английские – кажется, что нет никакой агрессии. Такой результат вполне объясним, если вспомнить, что базовый словник опирается на общеевропейский тезаурус, созданный в 1949 г., и пополнен всего на 15%. Заимствования, проверенные на нем, относятся прежде всего к истории и в принципе не могут отражать сегодняшней социолингвистической ситуации. Этой задачи проект не ставил и не может решить. Но он ставит проблему составления принципиально нового словника: такого словаря новых слов и реалий, опираясь на который можно такое исследование провести, пользуясь методиками, разработанными М. Хаспельматом и У. Тадмором.

В то же время, своеобразным ключом к современной социолингвистической картине в рамках данного, уже осуществленного проекта может служить распределение заимствований между знаменательными и служебными словами.

• Знаменательные слова (content words) заимствуются в целом в два раза чаще, чем служебные (function words)[4]. Например, ни в одном языке не оказалось заимствованным слово ‘это, этот’ (‘this’), но зато почти всегда оказывалось заимствованным слово ‘мотор, двигатель’ (‘the motor’). Однако данное утверждение нельзя отнести к разряду универсалий: для ряда языков оно оказывается неверным. Так, результаты исследований показывают, что в языках хуп (Амазонка), уичи (Аргентина) и хмонг (в основном Южный Китай) заимствованных служебных слов значительно больше, чем заимствованных знаменательных. Данное наблюдение кажется нам очень любопытным и требующим отдельного обсуждения, ведь обычно факт заимствования служебных слов свидетельствует об умирании языка, что в случае с языками хуп, уичи и хмонг не так очевидно. По свидетельствам авторов соответствующих глав книги, только хуп можно считать действительно угрожаемым: несмотря

[4] Происходит это не из-за того, что знаменательных слов в целом значительно больше, чем служебных: процент заимствований высчитывался отдельно для знаменательных и служебных слов, т.е. выяснялось, какова доля заимствований в знаменательной лексике и отдельно в служебной, после чего процентные соотношения сравнивались.

на то, что языковая политика в отношении него направлена на сохранение языка, количество его носителей составляет всего около 1 500 человек. Между тем число говорящих на уичи оценивается приблизительно в 40 тысяч, а на языке хмонг говорит несколько миллионов человек в разных странах Юго-Восточной Азии. С другой стороны, процесс умирания языка связан не только с количеством носителей и, возможно, именно уровень заимствования служебной лексики является первым «сигналом об опасности». С нашей точки зрения, материал, собранный в рамках данного проекта, может стать отправной точкой для новых типологических исследований в этом направлении.

• Существительные заимствуются чаще, чем прилагательные, а прилагательные, в свою очередь, чаще, чем глаголы. К примеру, значение 'ножницы' ('the scissors or shears') имеет коэффициент заимствованности 0,48, а близкий ему смысл 'резать, стричь' ('to cut') - только 0,08[5]. Причем любопытно, что происходит это не только потому, что глагольная морфология обычно сложнее именной, и глагол обычно требует большей морфологической адаптации. Эта же зависимость (меньшая склонность глаголов к замене на заимствованную единицу) отражается и в языках изолирующего типа (в китайском нет ни одного заимствованного глагола), а значит, не может быть обусловлена только морфологическими причинами[6].

• Известно, что в зависимости от своего значения одни слова заимствуются чаще других, ср.: «...заимствованию подвергается в первую очередь культурная лексика» [Бурлак, Старостин 2005: 70]. Хаспельмат и Тадмор конкретизируют это утверждение, указывая, из каких именно семантических полей лексика заимствуется чаще всего (религия и верования, одежда, домашняя утварь), а из каких – почти никогда (термины родства, части тела, пространственные отношения, чувственное восприятие).

• Наконец, наиболее значимое, на наш взгляд, достижение данного проекта – создание нового варианта «базового словаря», т.е. словаря ядерной, базовой лексики, который мы упоминали выше. Составлен он был следующим образом: для каждого понятия был определен уровень его «заимствуемости», т.е. подсчитан процент языков, в которых оно выражается заимствованной единицей. Для устранения шума был введен еще ряд коэффициентов: наличие в языках однословного эквивалента для данного понятия, возраст слова и его членимость. Процент языков, для которых данное понятие в принципе релевантно, т.е. в которых оно выражается отдельным словом, учитывался для того, чтобы избежать проникновения в словарь базовой лексики понятий, отраженных одним словом всего в двух-трех языках, но при этом во всех случаях словом исконным (в таком случае уровень «заимствуемости» понятия по языкам оказался бы нулевым, и оно попало бы в словарь базовой лексики). Возраст слова учитывался из тех соображений, что, по мнению авторов, чем дольше лексема «живет» в языке, тем больше вероятность ее устаревания и замены на заимствованное слово. Тем самым если слово «продержалось» в языке уже очень долго, то этот факт свидетельствует о его устойчивости, слабой подверженности заменам на заимствования. Членимость же учитывалась прежде всего потому, что сложные и многоморфемные слова могут содержать заимствованные элементы. Напомним, что такие слова не включались в число заимствований. Однако же и допускать их попадание в словарь базовой лексики авторам справедливо кажется нецелесообразным. Таким образом, с учетом всех выше перечисленных параметров был определен новый стословный список базовых понятий, т.е. понятий, которые реже всего выражаются в языках мира заимствованными словами. Этот список можно считать альтернативой знаменитому и давно принятому в сравнительно-историческом языкознании списку Сводеша (см. [Сводеш 1960]), с которым он, кстати, на 60% совпадает. Как указывают сами авторы, Сводеш составил свой список с опорой исключительно на свою интуицию и свой собственный богатый, но все же ограниченный опыт. Впоследствии этот список не раз модифицировался, но все модификации заключались, как правило, в его сужении и расширении или приспособлении под конкретные языковые семьи и ареалы (см., например, использование методики Яхонтова в работе [Старостин 1991]). Однако Хаспельмат и Тадмор оказались первыми, кто составил подобный список на основе достаточно строгого анализа обширных типологических данных.

Таким образом, Хаспельмат и Тадмор организовали и реализовали масштабный проект, имеющий, на наш взгляд, большое будущее. Во-первых, уже составленная база (общедоступная и очень удобная в использовании) предоставляет материал для дальнейших исследований заимствованной лексики. Во-вто-

---

[5] Общий коэффициент «заимствованности» вычисляется как среднее арифметическое коэффициентов «заимствованности» данного значения во всех рассматриваемых языках.

[6] Напомним, что в рамках концепции Хаспельмата и Тадмора частеречная принадлежность приписывается значению, а не слову, его выражающему.

рых, база может пополняться данными других языков, благодаря чему будут уточняться полученные результаты. В-третьих, результаты, которых уже удалось добиться, могут быть уже сейчас использованы в различных областях лингвистики.

Нам представляется очень удачной и общая организация работы внутри проекта. С одной стороны, была достигнута необходимая степень единообразия представления материала, что довольно сложно сделать при работе с лексикой и, тем более, в условиях, когда у проекта большое количество участников. С другой стороны, в момент написания текста экспертам по языкам была предоставлена и определенная свобода, так что каждый из них мог дополнительно включить в свою статью всю ту информацию, какую он считал интересной и необходимой.

Изложение обильно иллюстрируется таблицами, схемами и картами. Книга написана простым и доступным языком и хорошо издана – ее просто приятно читать. На наш взгляд, она будет полезна и интересна как компаративисту и типологу, так и специалисту по конкретному (вошедшему или не вошедшему в проект) языку, а также и любому, кто хочет быть в курсе последних достижений современной типологической лингвистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бурлак, Старостин 2005 – *С.А. Бурлак, С.А. Старостин.* Сравнительно-историческое языкознание: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. М., 2005.

Сводеш 1960 – *М. Сводеш.* Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

Старостин 1991 – *С.А. Старостин.* Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991.

Buck 1949 – *C.D. Buck.* Dictionary of selected synonyms. Chicago, 1949.

Wohlgemuth 2009 – *J. Wohlgemuth.* A typology of verbal borrowings. Berlin; New York, 2009.

Е.В. Рахилина, Д.А. Рыжова

Сведения об авторах:

Екатерина Владимировна Рахилина
ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН
rakhilina@gmail.com

Дарья Александровна Рыжова
МГУ им. М.В. Ломоносова
daria.ryzhova@mail.ru

Baltic linguistics. 1. Warszawa: Universytet Warszawski, 2010. 324 p.

Круг журналов, посвященных в той или иной степени вопросам балтийской лингвистики, достаточно широк. Среди них есть как сугубо лингвистические журналы (например, «Acta linguistica lituanica» / «Lietuvių kalbotyros klausimai» по литуанистике, издававшийся до недавнего времени в Вильнюсе, и «Linguistica lettica» по леттонистике, выходящий в Риге), так и периодические издания, публикующие статьи по более широкой общебалтийской тематике, например, журнал Вильнюсского университета «Baltistica» (впрочем, после закрытия в 2005 г. журнала «Kalbotyra» редакция старается публиковать больше языковедческих статей), или журнал «Res Balticae», выходящий в Пизе (Италия). Лингвистические журналы по балтистике также отличаются по тематике публикуемых статей. Так, например, «Archivum lituanicum», журнал, издаваемый основными университетами Литвы совместно с Иллинойсским университетом в Чикаго, специализируется на изучении древних текстов и филологических вопросов в рамках традиционных подходов; напротив, уже упомянутый журнал «Acta linguistica lituanica» уделял особое внимание вопросам синхронной и теоретической литуанистики и старался отражать современную ситуацию в балтийском языкознании. Издаваемый в Москве альманах «Балто-славянские исследования» ставит перед собой цель всестороннего изучения связей между балтийскими и славянскими народами в области языка и культуры.

В ряду существующих периодических изданий, освещающих вопросы балтийской лингвистики, новый журнал «Baltic linguistics», первый номер которого вышел в ноябре 2010 г., должен занять, как представляется, особое место. Во многом он продолжает традиции издававшегося в Кракове с 1992 по 2003 г. ежегодника «Linguistica baltica». Прежде всего их объединяет стремление стать платформой для международного исследования балтийских языков. Однако, в отличие от краковского журнала, новое периодическое издание нацелено главным образом на проблематику синхронной лингвистики. Как пишут сами редакторы журнала в предисловии, основная цель издания –

стать местом встречи современной лингвистики и балтийских языков (с. 7). Балтийские языки, которые традиционно были объектом исследования в первую очередь в рамках сравнительно-исторического языкознания, остаются недостаточно изученными с точки зрения теоретического языкознания и типологии и потенциально представляют для этих областей немалый интерес.

Официальными языками журнала являются английский, немецкий, французский и русский. Балтийские языки (литовский и латышский) исключены из числа языков, на которых допускается публикация статей в журнале, что оправдано его нацеленностью на максимально широкую аудиторию, не ограниченную узким кругом специалистов по данным языкам. Материалы первого номера журнала написаны по-английски и по-немецки.

Журнал издается Варшавским университетом. Обязанности главного редактора выполняет профессор отдела полонистики Ядвига Линде-Усекневич, ответственным редактором является известный балтист и славист профессор Варшавского и Вильнюсского университетов Аксель Хольфут. В состав редколлегии входят ученые из самых разных стран: П.М. Аркадьев (Москва), Л. Беднарчук (Краков), Б. Вельхли (Берн), Р. Деркссн (Лейден), Р. Микулскас (Вильнюс), Н. Нау (Познань), Д. Пети (Париж), В. Смочиньски (Краков).

Первый номер журнала содержит девять статей и одну рецензию. В номере статьи сгруппированы согласно алфавитному порядку фамилий авторов, но рали удобства рассмотрения здесь они будут объединены тематически.

Статьи П.М. Аркадьева (Москва) «Notes on the Lithuanian restrictive» («Заметки о литовском рестриктиве») и Лии Савицки (Lea Sawicki, Иерусалим) «Preverbation and narrativity in Lithuanian» («Превербы и нарративность в литовском языке») затрагивают с разных точек зрения проблематику глагольной префиксации в литовском языке. В статье П.М. Аркадьева предлагается наиболее полное на данный момент описание морфосинтаксических свойств и функций литовской глагольной приставки *te-* в рестриктивном значении ('только'). Автор предлагает деление литовских приставок на «внутренние» (аспектуальные, словообразовательные) и «внешние», выражающие ряд гетерогенных словоизменительных функций, к которым, в том числе, относится *te-* (с. 15). Таким образом, выводы о морфосинтаксических особенностях и о семантике *te-* оказываются важными как для типологии рестриктивов, так и для исследования префиксации в балтийских языках. Автор подробно рассматривает правила употребления префикса *te-* и в другом, лучше изученном, его значении – пермиссивном. Детально анализируется сфера действия рестриктивного префикса, которая может включать в себя практически любую составляющую предложения. Автор показывает, что с типологической точки зрения литовский рестриктивный префикс является ярким и почти уникальным явлением (единственный другой известный пример такого типа рестриктива зафиксирован, по данным автора статьи, только в одном из языков северной Австралии), которое давно было необходимо ввести в оборот типологической и теоретической лингвистики.

Основная задача статьи Л. Савицки заключается в описании дистрибуции простых и префиксальных финитных глаголов в дискурсе. Вопрос о категории вида в литовском языке имеет долгую историю (см., например [Дамбрюнас 1962; Галнайтите 1963; Mathiassen 1996; Вимер 2001; Holvoet, Čižik 2004; Аркадьев 2009] и др.), однако общепринятого мнения на этот счет до сих пор не было достигнуто. Автор статьи предлагает взглянуть на проблему с другой стороны – проанализировать «аспектуальные значения литовских глагольных форм» в конкретном тексте конкретного автора (с. 168). В качестве такого текста Л. Савицки выбирает известный роман К. Боруты «Мельница Балтарагиса». Анализируя различные типы нарратива, Л. Савицки приходит к выводу, что при описании пейзажа, природы или поведения обычно используются беспрификсальные глаголы или хабитуальные формы, в то время как префиксальные глаголы превалируют в контекстах развития сюжета. Последнее объясняется тем, что префиксальные глаголы, как правило, способны обозначать точечное событие. Несомненная ценность статьи заключается в том, что проблема выбора тех или иных типов глаголов и глагольных форм в нарративе была впервые рассмотрена на материале литовского языка, однако основные выводы данной работы не представляются неожиданными.

Статьи Джеймса Лавайна (James E. Lavine, университет Бакнел, Пенсильвания) и Бьёрна Вимера (Björn Wiemer, Майнц) касаются довольно хорошо изученной проблемы эвиденциальности в литовском языке. Дж. Лавайн в статье «Mood and a transitivity restriction in Lithuanian: The case of the inferential evidential» («Наклонение и ограничение на переходность в литовском: инферентивная эвиденциальность») анализирует синтаксические свойства инферентивной эвиденциальности, которая в литовском языке выражается особой конструкцией с несогласованным пассивным причастием, субъект которой оформлен генитивом, а объект номинативом. Особенность данной конструкции состоит

в том, что, будучи морфологически пассивной, синтаксически она является активной, поскольку исходные субъект и объект сохраняют свои синтаксические свойства. Автор предлагает анализ данного явления в терминах генеративной грамматики, в подробности которого мы вдаваться не будем. Основная проблема, которую решает Дж. Лавайн, состоит в том, как объяснить запрет на аккузативное маркирование объекта в инферентивной конструкции. Автор связывает данный запрет с недопустимостью в литовском языке переходных безличных конструкций типа русск. *Дерево сожгло молнией.*

В свою очередь Б. Вимер в статье «Lithuanian esą – a heterosemic reportive marker in its contemporary stage» («Литовское *esą* – гетеросемичный репортативный показатель в его современном употреблении») предлагает описание одного из наиболее употребительных в современном литовском языке эвиденциальных маркеров (о грамматических и лексических средствах выражения эвиденциальности в литовском см. [Вимер 2007]). *Esą* в современном литовском может быть либо формой активного причастия настоящего времени связки, либо неизменяемым эвиденциальным показателем. Б. Вимер отмечает, что вне зависимости от того, является *esą* формой причастия или функциональным словом, оно практически всегда вносит дополнительное эвиденциальное значение. Автор выделяет четыре основные функции слова *esą*: 1) нефинитный глагол-связка; 2) бытийный глагол; 3) подчинительный союз; 4) частица с эвиденциальным значением, а также анализирует ряд сложных случаев, в которых статус *esą* неясен. Определяя общий статус *esą* в грамматике и лексике современного литовского языка, Б. Вимер обращается к термину «гетеросемия» – такому случаю полисемии, когда несколько исторически связанных значений выражаются единицами с общим происхождением, но принадлежащими разным морфосинтаксическим категориям (с. 282). Этот термин позволяет автору объяснить процесс развития функционального слова *esą* из причастной формы. При этом Б. Вимер отмечает, что исторические изменения, приведшие к образованию новой лексической единицы – *esą* в функции частицы или союза, связаны с процессами лексикализации, а не грамматикализации (с. 285). Представляет большой интерес сравнение *esą* со сходными единицами других европейских языков. Примечательно, что *esą* имеет мало черт сходства с этимологически или структурно идентичным латышским *esot* и эстонским *olevat*; гораздо более плодотворным оказывается сопоставление с двумя другими типами лексических репортативов – производными от сложных лексем со значением сравнения и сращений глаголов речи с подчинительным союзом (с. 290).

Несколько статей журнала с разных точек зрения обращается к проблемам фонетики и фонологии балтийских языков. В статье А.Д. Даугавет (Санкт-Петербург) «Syllable length in Lithuanian and Latvian: searching for criteria» («В поисках критериев слоговой долготы в литовском и латышском языках») внимание привлекается к различным критериям определения долготы слога. В частности, такие факты, как появление вторичного ударения на конечных долгих слогах в латышском языке и жемайтийском диалекте литовского и оттяжка ударения с конечных кратких слогов на предпоследний долгий во многих литовских диалектах, позволяют говорить, что в дополнение к так называемым слоговым интонациям распределение ударения может служить признаком слоговой долготы (с. 87). Еще одним критерием является удлинение гласных в связи с утратой закрывающего слог сонанта и их сокращение перед гавтосиллабическими сонантом (в связи с этим кажется чрезвычайно удачным введение термина «мора» в обсуждение материала балтийских языков) (с. 90). Важным и новым оказывается предположение, противоречащее традиционному мнению о том, что сочетания краткого гласного и глухого шумного в латышском языке можно рассматривать как образующие долгий слог (с. 108). Статья является прекрасным примером того, как новый взгляд на казалось бы известные и описанные данные может принести целый ряд новых обобщений и наблюдений.

В статье Даниэля Пети (Daniel Petit, Париж) «New insights on Lithuanian accentuation from the unpublished manuscripts of Ferdinand de Saussure (1857–1913)» («Размышления о литовской акцентологии в неопубликованных рукописях Фердинанда де Соссюра») в научный оборот вводятся материалы и мысли из открытых лишь в 1996 г. рукописей Ф. де Соссюра. Новые рукописи Соссюра проливают свет на некоторые неясные обстоятельства его биографии (в частности, на путешествие в Литву в 1880 г.) и содержат значительное количество заметок по литовской системе ударения и тонов, которые, видимо, делались для несостоявшейся большой публикации. Эти документы и становятся основным объектом внимания автора статьи. Соссюр считает тоновую систему литовского языка инновацией, а не индоевропейским наследием[1], и рассматривает два выделяемых им вслед за Ф. Куршатом тона

[1] Ср. позицию Ф. Кортланда (например [Kortland 1986]), считающего, независимо от Соссюра, что тоны не существовали в праиндоевропейском, а развились в некоторых языковых группах позднее.

как возникшие в разные эпохи: акут он считает результатом изменений, а циркумфлекс – развившимся как оппозиция акуту (с. 158). Одним из возможных объяснений этого Соссюр считает утрату сегмента **ŏ*, который, по всей видимости, стоит воспринимать как сонантный коэффициент из его «Мемуара» (с. 155). Чрезвычайный интерес вновь открытые документы представляют и для теории литовской метатонии и ее понимания Соссюром.

К проблеме интерференции в области фонологии обращается в своей статье «Phonologische Isoglossen des Hochlettischen, Nord-Ost-Litauischen, Nord-West-Russischen und Weißrussischen» («Фонологические изоглоссы верхнелатышского, северо-восточно-литовского, северо-западно-русского и белорусского») И.А. Сержант (Ilja Seržant, Берген/Вильнюс)[2]. Статья развивает идеи двухтомника [Dahl, Koptjevskaja-Tamm (eds.) 2001], устанавливая общие черты (в данном случае в области фонетического развития) в языках так называемого прибалтийского ареала. Общим для северо-западных диалектов русского, верхнелатышских говоров и белорусского языка является аканье и яканье. Для тех же идиомов общими фонетическими принципами автор называет редукцию конечного */u/*, общие ограничения для реализации */y/*, произношение палатализованных */k'/* и */g'/*, палатализованные */ẑ'/*, */š'/*, */č'/*, «цоканье», депалатализация */r'/* > */r/*, выпадение интервокального */j/*, переход тавтосиллабического */l/* в */w/*. Общими с аукштайтскими диалектами литовского (в работе используются данные диалекта Kupiškėnai) считаются явления перехода */ę/* и */ę/* соответственно в */a/* и */ā/*, лабиализация */a/* в ударной позиции, положение закрытых */e/* и */ē/* в абсолютном конце слова и внутри слова, а также редукция дифтонгов */uo/*, */ie/* в безударном положении.

В последней из рассматриваемых статей сборника – статье Б. Вельхли (Bernhard Wälchli, Берн) «The consonant template in synchrony and diachrony» («Консонантный каркас в синхронии и диахронии») – обсуждается особая роль, которую играют согласные звуки в установлении когнатов, и как эта процедура может быть компьютеризована. Главная задача исследования заключается в обсуждении методологических вопросов; автор стремится показать, что применение статистической обработки естественного языка может дать хорошие результаты при сравнении близкородственных языков, каковыми являются литовский и латышский. Главная тема статьи – выявление слов, имеющих надежное общее происхождение (когнатов). Этот процесс состоит из трех процедур: 1) определение функциональных (семантических) эквивалентов; 2) определение наиболее элементарных звуковых соответствий; 3) выявление общих консонантных каркасов словоформ как свидетельство их диахронических связей (с. 216–217). Алгоритм последней процедуры и описывает данная статья; он состоит из трех шагов – поиск эквивалентных форм, поиск эквивалентных согласных, определение консонантного каркаса (с. 218).

Тому же автору принадлежит и единственная рецензия журнала – анализу подвергается книга латышской исследовательницы А.М. Урдзе (Aina Marite Urdze) «Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben» («Идеофоны в Европе: Грамматика латышских звукоподражательных глаголов»). В рецензии подробно разбираются особенности фонологии, морфонологии, морфологии, семантики и синтаксиса латышских звукоподражательных глаголов. Особый интерес представляет рассмотрение этих глаголов в ареальном контексте с использованием данных литовского и эстонского языков.

Безусловными достоинствами журнала стоит признать строгие и современные требования к оформлению статей, в частности, наличие краткого резюме на английском языке и ключевых слов, а также то, что языковые примеры в статьях оформлены в соответствии с международными правилами глоссирования, что делает данные доступными и неспециалисту. Все материалы журнала подвергаются анонимному рецензированию. Журнал прекрасно издан с чисто полиграфической точки зрения; *радует крупный и четкий шрифт*. Хотя название журнала предполагает наличие статей, посвященных как литовскому, так и латышскому и латгальскому языкам, стоит отметить, что в первом номере наблюдается заметное преобладание литовского материала (что, впрочем, может объясняться меньшей разработанностью теоретической леттонистики).

Выход журнала такого уровня не может восприниматься иначе, как большое событие в балтистике, и хочется надеяться, что журнал будет успешно выполнять заявленную им миссию – наведение мостов между балтийским и общим языкознанием[3].

---

[2] В оглавлении журнала приводится другое заглавие статьи: Interferenzen auf dem Gebiet der Phonetik: Hochlettisch, Nordost-Aukštaitisch, Nordwest-Russisch, Weißrussisch. Это одна из немногих опечаток в журнале.

[3] Рецензент выражает благодарность П.М. Аркадьеву за консультации при написании данной рецензии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аркадьев 2009 – *П.М. Аркадьев.* Теория акциональности и литовский глагол. Балто-славянские исследования. Вып. XVIII. М., 2009.

Вимер 2001 – *Б. Вимер.* Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов // ВЯ. 2001. № 2.

Вимер 2007 – *Б. Вимер.* Косвенная засвидетельствованность в литовском языке // Эвиденциальность в языках Европы и Азии. СПб., 2007.

Галнайтите 1963 – *Э. Галнайтите.* Особенности категории вида глаголов в литовском языке (в сопоставлении с русским языком) // Kalbotyra. 1963. T. 7.

Дамбрюнас 1962 – *Л. Дамбрюнас.* Глагольные виды в литовском языке // Ю.С. Маслов (ред.). Вопросы глагольного вида. М., 1962.

Dahl, Koptjevskaja-Tamm 2001 – *Ö. Dahl, M. Koptjevskaja-Tamm* (eds.). The Circum-Baltic languages: Typology and contact. V. 1–2. Amsterdam; Philadelphia, 2001.

Holvoet, Čižik 2004 *A. Holvoet, V. Čižik.* Veikslo priešpriešos tipai // A. Holvoet, L. Semėnienė (eds.). Gramatinių kategorijų tyrimai. Vilnius, 2004.

Kortland 1986 – *F. Kortland.* Proto-Indo-European tones? // Journal of Indo-European studies. 1986. № 14.

Mathiassen 1996 – *T. Mathiassen.* Tense, mood and aspect in Lithuanian and Latvian. Oslo, 1996. № 75.

К.А. Кожанов

Сведения об авторе:

Кирилл Александрович Кожанов
Институт славяноведения РАН
kozhanov.kirill@gmail.com

A.M. Urdze. **Ideophone in Europa: Die Grammatik der lettischen Geräuschverben.** Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer. 2010. 463 p.

Объектом исследования Айны Урдзе (Бремен) послужила группа глаголов со значением звукоизвлечения в латышском языке. Эта группа глаголов, условно названная в работе «глаголы шума» (Geräuschverben), интересна тем, что, образуя естественный семантический класс, она отчетливо выделяется с формальной точки зрения – отличительной чертой этой группы глаголов является особый консонантный кластер на конце корня, нехарактерный в целом для латышской глагольной лексики. В этом плане латышский материал представляет собой очень удобное поле для лексико-семантических исследований, тем более что описываемая группа глаголов достаточно многочисленна – 256 глагольных корней и более 1000 глагольных лексем, по данным А. Урдзе.

Основной задачей работы было выделение отчетливых формальных характеристик исследуемого класса глаголов и проверка гипотезы о том, что группа глаголов, выделяемых на основании формальных критериев, действительно однородна с семантической точки зрения – в частности, что она образует компактную подгруппу внутри более обширной зоны глагольной лексики, связанной со звукоизвлечением.

Важная особенность данной работы состоит в том, что ее, безусловно, можно назвать типологически ориентированной. Хорошо известен следующий парадокс: данные крупных, «доступных» языков, в том числе многих языков Европы, часто оказываются гораздо менее известны неспециалисту-типологу, чем данные малых экзотических языков, подробно описанных в современных терминах. Для такой «традиционной» области, как лексическая семантика, эта трудность особенно очевидна. В частности, не столь уж малочисленные предшествующие исследования по глаголам с семантикой звукоизвлечения в латышском языке, упоминаемые в книге А. Урдзе, доступны только очень узкому кругу балтистов хотя бы потому, что написаны в основном по-латышски, реже по-русски и опубликованы в маргинальных латвийских изданиях. Работа А. Урдзе, лингвиста-типолога (ср., например, типологическое исследование по комитативам [Stolz et al. 2006], одним из авторов которого является А. Урдзе), ориентирована на значительно более широкий круг лингвистов и не требует от читателя предварительного знакомства с системой латышского языка и принятой в балтистике специальной терминологией. Так, глава, посвященная фонетическим особенностям глаголов шума, содержит специальный раздел с обзором латышской фонологической системы в целом (2.1) и даже отдельный небольшой раздел (2.2) о латышской орфографии. Глава, посвященная морфологическим особенностям глаголов шума, содержит подробное описание словоизменительных категорий латышского глагола (4.1.2) и глагольного словообразования

(4.2). Автор, наряду с традиционной латышской орфографией, использует и транскрипцию на основе международного фонетического алфавита. Примеры, приводимые в работе, сопровождаются не только переводом, но и поморфемным глоссированием. Предпринятое, таким образом, введение представленных в работе данных в типологический контекст кажется особенно важным в свете растущего интереса лингвистов разных школ к лексической типологии: ср., например, работы [Майсак, Рахилина 2004] по типологии глаголов плавания, [Wierzbicka 2007] по типологии названий частей тела, [Majid et al. 2010] по типологии глаголов деления на части, сборник по общим проблемам лексической типологии [Vanhove 2008], обзор [Evans 2010] и ряд других. Сам автор, не претендуя в рамках данного исследования на типологические обобщения, приводит, тем не менее, сопоставительные данные по глаголам с семантикой звукоизвлечения в близкородственном латышскому литовском языке и ареально близком эстонском (глава 7).

Интересна работа также с методологической точки зрения. Корпус глаголов шума, собранный автором по данным восьми словарей и (в качестве вспомогательного источника) текстов художественной литературы, насчитывает 256 глагольных корней и около 1200 глагольных лексем (как непроизводных, так и производных), всего в корпусе около 1600 единиц, включая отглагольные наречия и существительные. Благодаря тому, что объем анализируемого материала достаточно велик, у автора есть возможность приводить не только качественные, но и количественные оценки. В работе можно найти множество численных данных по самым разным вопросам, касающимся формальной и семантической характеристики глаголов шума: по частотности определенных фонем в глаголах шума, по принадлежности глаголов шума к тому или иному словоизменительному классу, по продуктивности той или иной деривационной морфемы с глаголами шума, по лексической сочетаемости глаголов и т.д. Помимо собственно данных по глаголам шума, автор в большинстве случаев приводит также сопоставительные численные данные по глагольной лексике в целом, специально собранные им дополнительно для данного исследования. Возможно, полезной была бы и дальнейшая математическая (статистическая) обработка представленного автором массива численных данных.

В первой, вводной, главе книги формулируются основные задачи и методы работы, приводится обзор литературы по проблематике идеофонов и по семантике глаголов со значением звукоизвлечения в латышском языке. В этой же главе формулируется в общем виде формальный критерий отнесения глагола к группе глаголов шума (в последующих главах она поясняется и уточняется) – наличие в финальной части корневого слога консонантной последовательности одного из следующих трех типов: a) [k] + [st]/[ʃc] (*čūkstēt* ‘шипеть’, *tinkšķēt* ‘звенеть, дребезжать’) , b) [p] + [st]/[ʃc] (*čiepstēt* ‘пищать’), c) некоторые случаи ø + [st]/[ʃc], для которых постулируется выпадение начального [k] (*krimšķēt* ‘щелкать’ < **krimkšķēt*).

Главы 2 и 3 посвящены фонетическим особенностям глаголов шума. В главе 2 рассматривается корневая часть глагола, за исключением кластера [st]/[ʃc]. Проблемы, связанные с фонетической характеристикой и морфологическим статусом кластера [st]/[ʃc], являющегося ключевым формальным признаком глаголов шума, вынесены в отдельную главу 3. Общий вывод главы 2 состоит в том, что уникальных, по сравнению с остальными латышскими корнями, особенностей в корневой части глаголов шума не отмечается. Тем не менее, подробный сопоставительный анализ позволяет автору сделать несколько нетривиальных наблюдений по поводу неочевидных фонетических особенностей глаголов шума. Так, автор устанавливает, что в глаголах шума встречается редкий для латышского языка дифтонг [iu], который за пределами этой группы глаголов зафиксирован только в междометиях (п. 2.3.1.2). А. Урдзе объясняет эту особенность близостью глаголов шума и междометий как части экспрессивного пласта лексики. Среди особенностей инициали корневого слога отмечается, во-первых, больший процент палатальных и препалатальных согласных, чем в среднем в латышской лексике, во-вторых, больший процент консонантных кластеров (два, реже три согласных) (2.3.2). Оба факта автор объясняет общей тенденцией к большей формальной маркированности экспрессивной лексики, к которой можно отнести и группу глаголов шума. Коду корневого слога глагола шума, как показано выше, может составлять только два согласных: взрывные [k] и [p]. Приводимые в работе подсчеты указывают на значительно большую частотность согласного [k] в данной позиции. А. Урдзе объясняет эту асимметрию, с одной стороны, тенденцией к диссимиляции с инициалью корневого слога, а с другой стороны, семантическими факторами (группа глаголов на *-p* оказывается семантически однородной). Также автор обнаруживает немногочисленную группу исключений на *-m* (4 % от всех корней группы глаголов шума), с очевидностью объясняемых тенденцией к диссимиляции (финаль [m] встречается в корнях с инициалью [k]). Помимо тенденции к прогрессивной ассимиляции, наблюдаемой в

данном случае, автор постулирует для глаголов шума также тенденцию к регрессивной ассимиляции инициали корневого слога с финальным консонантным кластером [st]/[ʃc], которой объясняется, по мнению А. Урдзе, асимметрия в частотности консонантных сочетаний в инициали корневого слога глаголов шума и в целом по латышской лексике (п. 2.3.2.2). В разделе 2.4 приводятся также некоторые данные по супрасегментным фонетическим особенностям группы глаголов шума.

Глава 3 посвящена консонантному кластеру [st]/[ʃc], являющемуся характерной формальной особенностью группы глаголов шума. Подробно обсуждается его морфологический статус. Приводятся различные аргументы в пользу того, чтобы считать его частью корня, интерфиксом или деривационным суффиксом, как предлагалось разными исследователями. Статус кластера [st]/[ʃc] последовательно оценивается по 10 параметрам, предлагавшимся в морфологических работах в качестве критериев аффиксальности. В результате автор приходит к выводу, что – по крайней мере на синхронном уровне – следует отнести рассматриваемый кластер к «серой зоне», промежуточной между прототипическим аффиксом и частью корня. При этом в книге приводятся диахронические и сопоставительные данные из литовского языка, свидетельствующие о том, что на более раннем этапе развития латышского языка данный кластер, возможно, являлся полноценной морфемой.

В главе 3 также рассматриваются случаи, когда консонантная последовательность [k]/[p] + [st]/[ʃc] в глаголе не несет семантики звукоизвлечения. Группа таких глаголов оказывается, по подсчетам А. Урдзе, не настолько многочисленной, чтобы поставить под сомнение общую тенденцию к ассоциации данного кластера с семантически однородной группой, но, тем не менее, достойной специального рассмотрения – около 15%. Автор показывает, что рассматриваемые случаи разбиваются на два класса: первый составляют отыменные глаголы, в которых соответствующий кластер «наследуется» у производящей именной основы (*auksts* 'холодный' > *aukstēt* 'простыть'); второй, более «проблемный», класс составляют непроизводные глаголы с незвуковой семантикой, которые при этом формально отличаются от глаголов шума принадлежностью к другому словоизменительному классу (*bakstīt* 'прокалывать, ковырять').

Отдельный раздел (3.4.4.2) посвящен распределению вариантов консонантного кластера [st] и [ʃc]. Как показывается в работе, оно не подчиняется очевидному семантическому, морфологическому или фонетическому правилу. Тем не менее, рассмотрение полного массива соответствующих глагольных корней позволяет автору выявить статистическую зависимость между вариантом консонантного кластера и начальным согласным корня: для корней с непалатальным начальным согласным частотнее оказывается палатальный ([ʃc]) вариант консонантного кластера и наоборот.

В главе 4 рассматриваются морфологические особенности глаголов шума. В разделе 4.1 автор показывает, что глаголы шума сосредоточены в двух не самых малочисленных, но и не самых крупных словоизменительных классах из восьми выделяемых в латышском языке, в одном из которых они составляют, по приводимым в работе подсчетам, больше половины всех глаголов.

Раздел 4.2 посвящен деривационным возможностям глаголов шума. Он содержит подробные данные (в том числе количественные) по сочетаемости глаголов шума с различными деривационными показателями и возможностям их комбинации. Некоторые наблюдения сопровождаются интересными семантическими интерпретациями. В частности, в этом разделе подробно описаны сочетаемостные возможности каузативного суффикса *-in* для группы глаголов шума. Рассматриваемый автором материал особенно интересен в типологическом аспекте, поскольку возможность и способ совместного выражения каузатора шума и источника шума для разных ситуаций звукоизвлечения является, как кажется, важным параметром типологического варьирования: ср., например, описание диатезы типа *страницы шелестят* vs. *библиотекарь шелестит страницами* в русском языке в [Падучева 1998] и описание возможностей лабильного употребления глаголов шума в английском языке в [Levin et al. 1997]. Одна из интересных асимметрий, выявленная автором в этой области, касается распределения каузативного и итеративного значений суффикса *-in* в сочетании с глаголами шума. Основное значение суффикса *-in* в латышском каузативное, при некоторых глаголах он даст каузативно-итеративное значение 'заставлять делать многократно' и итеративное значение, в редких случаях только итеративное значение (11 таких случаев зафиксировано, в частности, среди глаголов шума). Наблюдение А. Урдзе состоит в том, что все глаголы шума, для которых запрещено каузативное значение суффикса *-in*, принадлежат к группе глаголов с одушевленным субъектом. Еще одно интересное наблюдение связано с немногочисленной группой глаголов шума на *-in*, не имеющих некаузативной пары. А. Урдзе замечает, что все эти глаголы обозначают чавкающие звуки, и связывает их дефектность с выделенной ролью

каузатора звука-человека и подчиненной ролью источника звука части тела в описываемой ситуации.

В разделе 4.2 также подробно рассматриваются дериваты от глаголов шума с пространственными приставками. Как показывает автор, большинство сочетаний с приставками дает для глаголов шума непространственные значения, связанные с характером протекания ситуации, характерные в целом для соответствующей приставки. Тем не менее, для некоторых глаголов отмечаются приставочные употребления в значении 'двигаться в соответствующем направлении, издавая звук' (об аналогичных употреблениях дериватов на *про-* от глаголов с семантикой звукопроизводства в русском языке см. [Кронгауз 1998]). А. Урдзе отмечает, что такие употребления возможны только для глаголов с неодушевленным источником звука, когда звук возникает при соответствующем движении: например, 'шуметь (о реке)', 'тарахтеть (о транспортных средствах)'.

В том же разделе рассматриваются именные и наречные образования от глаголов шума. Обсуждается вопрос о словообразовательных связях данной группы глаголов с большой группой междометий, формально и семантически схожих с соответствующими глаголами.

Если в главе 4 семантические особенности глаголов шума рассматриваются только в связи с их деривационными возможностями, то глава 5 полностью посвящена семантике глаголов шума. В книге проанализировано значение около 300 непроизводных глаголов шума. Однако, добиваясь такого широкого охвата материала, автор неизбежно идет на некоторые жертвы с точки зрения глубины анализа. А. Урдзе работает не непосредственно с данными текстовых употреблений, а с опосредованными данными по семантике глаголов шума, взятыми из словарей: в работе использованы два толковых словаря латышского языка и латышский словарь синонимов. Рассматриваемые глаголы расклассифицированы с точки зрения а) характера обозначаемого звука, б) источников звука, в) ситуаций, сопровождаемых звуком. Противопоставления по характеру звука, включенные в рассмотрение, изначально основаны на общей классификации звуков, предложенной в [Lehmann 2004] (с опорой скорее на физическую, чем на языковую реальность), и включают два типа параметров: 1) громкость / интенсивность, тембр, периодичность (тон – шум); 2) длительность, повторяемость импульсов. По каждому из параметров автор находит информацию в соответствующих словарных статьях, а затем модифицирует классификацию и выявляет набор релевантных значений каждого параметра в соответствии с эмпирическими данными. Для параметра «повторяемость импульсов» в латышском языке оказывается релевантным противопоставление ритмичного vs. неравномерного повторения звука. Параметр «громкость / интенсивность» получает целых четыре значения: тихий, приглушенный, громкий, переменной громкости. Такие физические параметры, как тембр, высота, периодичность звука в свете языковых данных оказывается удобным объединить в один общий параметр, принимающий 19 различных значений. Анализируя свойства источника звука, описываемые в словарных статьях, автор выясняет, что для некоторых глаголов принципиальным оказывается материал источника звука (9 значений: жидкость, стекло, металл и др.), другие связаны с конкретным объектом или классом объектов (приборы, насекомые, люди, ветер и др.), для третьих важна определенная характеристика объекта (большой, сухой, тяжелый и др.). С точки зрения ситуаций, сопровождаемых звуком, автор выделяет 4 группы случаев: случай, когда звук связан а) с «базовыми ситуациями», не зависящими от характеристик конкретного субъекта (движение, соприкосновение, удар), б) «конкретными ситуациями», сопряженными с определенными свойствами субъекта (горение, взрыв, течение и др.), в) коммуникацией человека / животных, в) прочие случаи. Данные по всем рассматриваемым глаголам объединены в сводную таблицу. Выявлены наиболее частотные значения для каждого параметра. Одним из интересных результатов, обсуждаемых автором, является тот факт, что среди наиболее частых источников звука для глаголов шума оказывается *жидкость*, тогда как среди ситуаций, сопровождающихся звуком, ожидаемая ситуация *течь* занимает одно из последних мест по частотности. Специальный подсчет показывает, что глаголы шума обнаруживают тенденцию к выражению звука от удара воды, но не звука текущей воды (ср. *pakšķēt* 'капать', *klunkšķēt* 'булькать').

Данные по глаголам шума далее сравниваются с данными по другим глаголам с семантикой звукоизвлечения. Для этого автором использован материал из исследования [Муране 1998], посвященного семантике глаголов звука в целом и содержащего информацию по 134 глаголам шума и 137 другим глаголам. Данные Муране преобразованы в формат, используемый автором, и сопоставлены с данными по глаголам шума. На основании этого сопоставления А. Урдзе выявляет достаточно заметные различия по частотности конкретных значений для разных параметров у группы глаголов шума и прочих глаголов с семантикой звукопроизводства. Так, частотность звука от

удара (самая частотная ситуация звучания), обнаруженная для глаголов шума, как показывает сравнение, не является отличительной особенностью этой группы. Напротив, например, звук при ломании, как выяснятся, может быть выражен только глаголами этой группы, звук при трении примерно в два раза чаще выражается глаголами шума, чем другими глаголами, низкая частотность звука при течении (упоминавшаяся выше) оказывается характерной для глаголов шума, но не прочих глаголов. Типичными источниками звука для глаголов шума оказываются *металл*, *жидкость*, *стекло*, а для прочих глаголов – *устройства*, *инструменты*, *текущая вода*. Автор противопоставляет значения «жидкость» и «текущая вода» (объекты типа *река*, *ручей* и т. п.): последний тип источника связан как раз с ситуацией звука при течении и выражается исключительно глаголами не шума. Частотным для глаголов шума, но не прочих глаголов звука, оказывается *резкий звук*. Вообще не выражается глаголами шума, будучи при этом достаточно частотным значением для прочих глаголов звука, *равномерный звук*. Таким образом, автор приходит к выводу, что, хотя выявить очевидный инвариант значения для глаголов шума не удается, детальные численные данные по частотности тех или иных семантических характеристик показывают заметное различие между группой глаголов шума и прочих глаголов звука. Несколько странным кажется, что в сопоставительные данные по частотности автор на равных основаниях включает данные по основным значениям и по очевидно переносным стилистически окрашенным употреблениям (так, вторым по частотности оказывается для глаголов шума, по данным А. Урдзе, *звук речи*, при том что в той же главе автор показывает, что значение речевых звуков для глаголов шума является преимущественно переносным). Возможно, более показательными оказались бы данные без учета переносных значений. Также полезной была бы, как нам кажется, более глубокая статистическая обработка данных, которая позволила бы как проверить, насколько значимы обнаруженные автором различия по частотности так и, возможно, обнаружить дополнительные, менее очевидные закономерности.

Отдельный раздел главы 5 (5.3) посвящен моделям полисемии глаголов шума. Автор приводит численные данные по переносным значениям глаголов шума, позволяющие сформулировать общую тенденцию к «перемещению вверх по шкале одушевленности» при переносе значения у глаголов шума. Так, достаточно частотными оказываются переносы *звук предмета → вокализация человека*, *вокализация животного → вокализация человека*, но не наоборот. Показательными являются данные о полном отсутствии переносов *вокализация человека → звук предмета*. Эта тенденция, отмеченная А. Урдзе для латышского, видимо, может претендовать на более универсальный статус, ср., например, подробный анализ русского материала и некоторые типологические данные по переносам *вокализация животного → вокализация человека* в [Рахилина 2010].

Небольшие главы 6 и 7 содержат отдельные замечания по синтаксическому поведению глаголов шума (глава 6) и краткое обсуждение организации семантической зоны глаголов звукоизвлечения в генетически и ареально близком латышскому литовском языке и ареально близком ему эстонском (глава 7).

Чуть меньше половины книги составляет приложение, представляющее собой собранный автором словарь глаголов шума. Словарь организован по словообразовательным гнездам (в алфавитном порядке). В установленном порядке для каждого словообразовательного гнезда следуют словарные статьи для непроизводного глагола, производных глаголов, неглагольных дериватов. Словарная статья содержит краткий перевод на немецкий язык (взятый из двуязычного словаря), список синонимов (взятый из словаря синонимов), определение (из толкового словаря латышского языка), примеры (в основном из толкового словаря, реже примеры из художественной литературы, найденные автором; примерами снабжены не все статьи). Таким образом, словарь представляет собой (как и указывает автор) скорее структурированный массив исходных данных, результаты обработки которого представлены в книге, нежели отдельный лексикографический труд. Естественным продолжением начатой автором работы могло бы стать преобразование его в отдельный полноценный словарь с уточненными единообразными толкованиями (по результатам семантического анализа, представленного в главе 5), унифицированным описанием значения дериватов (по результатам исследования деривационных возможностей глаголов шума, представленного в главе 4) и бóльшим количеством примеров (из собранного автором корпуса).

В целом следует еще раз отметить редкое сочетание в работе чрезвычайно глубокого погружения в достаточно частную проблематику, дающего очень интересные результаты, с отчетливой установкой на более широкий лингвистический контекст, которая находит отражение как в способе подачи данных (книга рассчитана не только на узкого специалиста по балтийским языкам), так и в содержательном

аспекте (что следует уже из названия работы «Идеофоны в Европе», оказывающегося несколько шире реально рассматриваемого в книге материала).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кронгауз 1998 – *М.А. Кронгауз*. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.

Майсак, Рахилина 2004 – *Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина* (ред.). Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2004.

Муране 1998 *С. Муране*. Лексика русского и латышского языков в аспекте сопоставительной семасиологии (на материале глаголов звучания). Daugavpils, 1998.

Падучева 1998 – *Е.В. Падучева*. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // ВЯ. 1998. № 5.

Рахилина 2010 – *Е.В. Рахилина*. Звуки Му // Проблемы грамматики и типологии. Сборник статей памяти В.П. Недялкова. М., 2010.

Evans 2010 – *N. Evans*. Semantic typology // J. Song (ed.). The handbook of linguistic typology. Oxford, 2010.

Lehmann 2004 – *Ch. Lehmann*. Zur sprachlicher Kategorizierung von Schällen. Vortrag auf der Jahrestagung der Koreanischen Gesellschaft für Deutsche Sprachwissenschaft. Pusan, 2004.

Levin et al. 1997 – *B. Levin, G. Song, B.T.S. Atkins*. Making sense of corpus data: A case study of verbs of sound // International journal of corpus linguistics. 1997. V. 2. № 1.

Majid et al. 2008 – *A. Majid, J.S. Boster, M. Bowerman*. The cross-linguistic categorization of everyday events: A study of cutting and breaking // Cognition. 2008. 109/2.

Stolz et al. 2006 – *T. Stolz, C. Stroh, A. Urdze*. On comitatives and related categories: a typological study with special focus on the languages of Europe. Berlin, 2006.

Vanhove 2008 – *M. Vanhove*. From polysemy to semantic change: towards a typology of lexical semantic associations. Amsterdam, 2008.

Wierzbicka 2007 – *A. Wierzbicka*. Bodies and their parts: An NSM approach to semantic typology // Language sciences. 2007. 29.

Н.М. Стойнова

Сведения об авторе:

Наталья Марковна Стойнова
МГУ им. М.В. Ломоносова
ashl@yandex.ru

***R. Blust.* The Austronesian languages.** Canberra: Pacific linguistics, 2009. xxviii – 824 p.

Австронезийская семья – крупнейшая по количеству языков из общепризнанных языковых семей в мире, а профессор Гавайского университета (Гонолулу, США) Роберт Бласт, автор рецензируемого обзора австронезийских языков, безусловно, один из крупнейших в мире специалистов по этой семье. Помимо множества статей, преимущественно касавшихся диахронического аспекта австронезийской семьи, новаторской, хотя и спорной монографии [Blust 1988], посвященной структуре австронезийского корня, нескольких описаний лексики и грамматики конкретных представителей семьи, Р. Бласт является еще и автором огромного неопубликованного этимологического словаря австронезийских языков. Кроме того, его сайт повествует о том, что он проводил полевые исследования почти сотни языков этой семьи на островах Калимантан, Новая Гвинея и Тайвань. Неудивительно, что именно этот исследователь взялся за написание первого обобщающего труда по австронезийским языкам на английском языке. Результатом стала книга размером более 850 страниц, опубликованная «Pacific linguistics» – издательством, специализирующимся в первую очередь на австронезийской и австралийской лингвистике.

Австронезийская семья охватывает пространства от Тайваня на севере до Новой Зеландии на юге и от Мадагаскара на западе до острова Пасхи на востоке (если, конечно, можно говорить о сторонах света в отношении семьи, ареал которой пересекает линию перемены дат). Ее географическая разбросанность в сочетании с тем, что говорят на австронезийских языках по большей части на изолированных островах, служит наглядным примером тезиса о влиянии лингвогеографических характеристик на степень языкового разнообразия. Тем не менее, в отличие от обзорной работы одного из авторов этой рецензии [Сирк 2008], Р. Бласт выбрал тематический принцип построения своего труда. Монография состоит из одиннадцати глав. Две из них по сути являются вводными: первая описывает необходимый экстралингвистический бэкграунд австронезиста, включающий не только информацию о географии, но и основные сведения о флоре и

фауне регионов, заселенных австронезийцами, их контактах и культуре; вторая – дает представления о генетической и арсальной классификациях языков семьи. Вслед за этим Р. Бласт последовательно рассматривает социолингвистические вопросы австронезистики, фонологию, словарь, морфологию, синтаксические аспекты австронезийских языков, проблемы реконструкции праавстронезийского, звуковые переходы, вопросы генетической классификации и сообщество австронезистов.

Глядя «со стороны», можно подумать, что монография Р. Бласта охватывает намного больше сюжетов, чем типичный обзор семьи или ареальной группы (мы имеем в виду в первую очередь монографии, изданные в серии «Cambridge language surveys» – см., например, рецензии в «Вопросах языкознания» [Плунгян 2000; Коряков 2006]; насколько нам известно, эта серия во многом послужила отправной точкой для рецензируемой работы). Так, в главе, посвященной австронезийской социолингвистике, помимо информации о влиянии контактов на словарный состав австронезийских языков (которую, как кажется, естественнее было бы поместить в главу, касающуюся австронезийского лексикона), можно отыскать разделы, посвященные образованию лексики в «секретных языках» и особых речевых регистрах, используемых на охоте и при рыболовстве, гендерных различиях в речи, наблюдаемых на Тайване в одном из атаяльских диалектов и во Вьетнаме в чамском языке, построению текстов на «ритуальных языках», уровням вежливости (в первую очередь в языках ареала Явы и некоторых океанийских языках) и даже принципам сквернословия. Хотя многие из этих вопросов могли бы показаться маргинальными, в действительности они играют большую роль для сопоставления австронезийских языков, поскольку при их рассмотрении подчас делается явным скрытое родство тех или иных языковых единиц.

К сожалению, в этой связи следует отметить, что Р. Бласт иногда упускает довольно существенные детали. Говоря о способах образования слов «высокого штиля» в яванском (с. 120), автор перечисляет некоторые из них, но без всяких оговорок упускает такие продуктивные модели, как замена кластера «*s* + гласный» в конце слова (иногда со вторичной финальной гортанной смычкой) сочетанием *-ñjiŋ* (ср. *esuq – eñjiŋ* ‘утро’) или кластеров «плавный + гласный» и *-pø* в конце слова сочетанием *-ntən/-ntun* (*pirø – pintən* ‘сколько’, *lemari – lemantun* ‘шкаф’, *søpø – sintən* ‘кто?’ и т. п.), фонемы *w* кластером *ñc* (*rewaŋ – reñcaŋ* ‘приятель, товарищ’ и т. п.). Между тем именно эти способы важны хотя бы потому, что они использовались и в других языках, в частности, в малайском (с закономерной заменой *-ə* в последнем слоге на *-a* и иногда с переходом *-n* > *-ŋ*) и сунданском, где исконные лексемы в результате оказались либо полностью вытеснены (малайское *añjiŋ* ‘собака’ при яванском *asu*, сунданское *cai* ‘вода’ < **ñcai* < **waiɣ*, ср. древнеяванское *wwai*, малайское *air*), либо сосуществуют наряду с дублетами более узкой по сравнению с исходной формой семантикой (в малайском *p-əm-ali* ‘табу’ – *pantaŋ* ‘табу на определенный период’, *sapa* ‘обращаться к кому-либо’ – *santun* ‘вежливость, учтивость’ и т. п.).

Заметим, что сравнительно-исторические интересы Р. Бласта накладывают сильный отпечаток на его изложение – в связи с чем оно, надо думать, будет особо интересно читателю, занимающемуся диахронией. Разумеется, прежде всего это касается глав, посвященных генетической классификации австронезийских языков и вопросам их развития. Гипотезы об историческом развитии регулярно встречаются в книге и в других местах – вплоть до обсуждения на с. 503–505 (в разделе о синтаксисе вопросительных предложений) становления использования одушевленного вопросительного местоимения при вопросе об имени (буквально «Кто твое имя?»). В главе о лексике австронезийских языков наряду со стандартной информацией о тех частях словаря, для которых уже выработана четкая методика описания, – о системах числительных, терминов родства, цветовых обозначений, местоимений и т. д. – можно увидеть и большие разделы, посвященные истории лексики; в эту же главу включены и рассуждения о том, какие выводы можно сделать из словаря языков семьи об элементах культурной истории австронезийцев.

Стоит подчеркнуть, что отечественному читателю многие методологические положения Р. Бласта могут показаться непривычными, а некоторые из них и вовсе довольно экзотичными. В частности, автор монографии явно с недоверием относится к каноническим лексикостатистическим методам (с. 712), настаивает на том, что скорость изменения «базового словаря» – набора лексики, наименее подверженной заимствованиям, – в разных языках может кардинально различаться (с. 330–331), хотя и с надеждой смотрит на обоснование генетической классификации при помощи «базовых словарей» при условии изучения распределений групп лексических когнатов и дальнейшего их сопоставления с использованием «байесовской статистики» (с. 713–714). Также практически не говорится об использовании в компаративистике эпиграфических памятников, хотя они содержат ценные сведения,

например, для реконструкции древнемалайского и древнеяванского ударения, в некоторых случаях обозначаемого в памятниках долготой гласного.

В то же время не стоит забывать, что именно Р. Бласт является автором наиболее принятой в настоящее время классификации австронезийских языков, которая противопоставляет несколько австронезийских групп на Тайване единой малайско-полинезийской группе (далее МП). В монографии последняя делится на две подгруппы – центрально-восточную и западную (с. 30). Впрочем, единство западной МП подгруппы весьма спорно; Р. Бласт сам ранее на этом настаивал [Blust 1999: 68], а в рассматриваемом труде допускает, что соответствующие языки не образуют одну подгруппу. Остается неясной и позиция Р. Бласта по отношению к главному признаку, на первый взгляд объединяющему западные МП языки, – явлению «назальной субституции» (особым преобразованиям, в ходе которых при присоединении некоторых префиксов начальный согласный корня меняет способ образования, но не место; ср. малайские примеры *mə-mukul* 'бить' < *-pukul*, *məŋirimi* 'посылать кому-либо' < *-kirim*, следует оговориться, что мы здесь упрощаем описание этого явления). Несколько неожиданно Р. Бласт говорит, что это явление могло сохраниться от праавстронезийского состояния – при том, что до вышедшей уже после его обзора работы Дж. Уолффа [Wolff 2010] был известен только один случай назальной субституции в языках Тайваня, а из пяти тайваньских примеров, отмеченных Дж. Уолффом, по меньшей мере корни **kayaw* 'охота за головами' (> *mangayaw* 'охотиться за головами' в языке пуюма) и **qataq* 'есть в сыром виде' (> *mangeta* в языке рукаи), а также, возможно, **taya* 'ждать' (или 'ждать в засаде'; > *mnaya* в атаяльском языке) могут быть заимствованы из внетайваньских языков, с которыми тайваньские имели контакты. В результате приходится констатировать, что, несмотря на значительную разработанность австронезийской компаративистики, у нас до сих пор нет понимания некоторых основных моментов в развитии австронезийской семьи.

Что касается синхронного описания в монографии Р. Бласта, отметим прежде всего богатство данных, сведенных воедино в главе, описывающей фонологические системы. С одной стороны, здесь наглядно представлены – причем не по частям, а целиком – системы фонем большого количества сильно различающихся в этом отношении языков, с другой стороны – эти языки подвергаются детальному сравнению при рассмотрении дистрибуции фонем и разного рода фонологических процессов. Глава, посвященная морфологии, возможно, несколько трудна для незнакомого с семьей читателя, поскольку строится она не вокруг семантики или грамматических категорий, но вокруг конкретных аффиксов и морфологических процессов, причем преимущественно тех из них, что могут оказаться существенными для морфологической реконструкции. Вследствие этого в монографии практически отсутствует информация о некоторых существенных явлениях, которые, однако, не возводятся к праавстронезийскому состоянию – например, об аппликативах, развитых во многих языках Индонезии. Вместе с тем, здесь дается весьма основательное описание разновидностей таких явлений, как редупликация и трипликация, что, несомненно, будет представлять интерес для исследователей формальных аспектов морфологии.

Глава о синтаксисе (в действительности включающая и множество сведений о синтаксически релевантной морфологии) тоже, возможно, представляет собой не вполне то, чего можно было бы ожидать от подобной части монументального обзора австронезийских языков. Р. Бласт сознательно ограничивает свое рассмотрение следующим перечнем грамматических проблем: 1) залоговые системы (и падежное маркирование), 2) порядок слов, 3) выражение отрицания, 4) определительные посессивные конструкции (в первую очередь противопоставление по неотторжимости), 5) выделение частей речи, 6) использование директивных частиц, 7) императивы, 8) построение вопросов. Очевидно, что в этот список не попали многие важные грамматические темы – в частности, оказались целиком обойдены вопросы полипредикативных конструкций, бытийных и посессивных предложений, соответствия синтаксической структуры и коммуникативной структуры высказывания (играющего большую роль, например, во многих филиппинских языках).

Сам Р. Бласт оправдывает ограничение рассматриваемых аспектов тем, что другие в большей мере потребовали бы описания в рамках конкретных синтаксических теорий, в то время как его обзор стремился к тому, чтобы быть максимально нейтральным в отношении разных теоретических подходов. Нам этот аргумент представляется странным: описание в конкретных теоретических терминах является не просто допустимым, но подчас и единственно возможным – лишь бы соответствующие понятия вообще могли представляться за пределами данной теории (то есть, чтобы эта терминология была переводима и на язык других «разумных» теорий). Выбранное же автором ограничение ведет к явной неполноте, а порою

и к неудобствам для читателя. Приведем два примера. Во-первых, цитируя примеры из разных языков в разделе о залоговых конструкциях, Р. Бласт намеренно не унифицирует терминологию источников; в результате сравнение разных примеров оказывается в значительной степени затруднено. Во-вторых, представляя порядок слов, исследователь противопоставляет только языки с начальным, срединным или конечным положением глагола, но отказывается рассуждать о порядке слов в терминах традиционных схем VOS, VSO, SVO, SOV и т.д., ссылаясь на то, что в эргативных системах – а некоторые австронезийские языки проявляют свойства эргативности – противопоставление подлежащего и объектов затруднено (с. 457). Однако известно, что эта проблема давно уже решена: S и O представляются не как конкретные члены предложения, а как семантико-синтаксические примитивы, определимые для любых языков (хотя и в рамках некоторой базовой конструкции, выделение которой действительно для многих филиппинских и тайваньских языков не очевидно). Игнорирование же синтаксических функций и полипредикативных конструкций приводит Р. Бласта, в частности, к тому, что он иногда явно ошибочно считает конструкциями со срединным положением глагола предложения с именным предикатом и возглавляемым глаголом относительным предложением в качестве его подлежащего (с. 460); ср. пример из филиппинского языка илокано:

si-ák	*ti*	*na-pán*	*idiáy*	*Tagudin*
PERS-*я*	ART	POT.PERF-*идти*	*туда*	*Тагудин*

букв. 'Это я был тем, кто поехал в Тагудин'.

Несмотря на все это, наиболее заметные и типологически существенные черты грамматики австронезийских языков, безусловно, нашли свое место в книге Р. Бласта, и большая часть из них получила в монографии весьма детальное рассмотрение (подчас намного более детальное, чем можно было бы ожидать от общего обзора языковой семьи). Хочется отметить и еще одно положительное качество грамматических глав книги: хотя автор и выражает свой скепсис по поводу присвоения обсуждаемым им языкам тех или иных типологических ярлыков, он все же пытается привести разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения на рассматриваемые проблемы, что особенно хорошо видно на страницах, касающихся запутанного вопроса об эргативности / аккузативности языков со сложными залоговыми системами вроде филиппинских и тайваньских.

Сложно винить автора столь обширного обобщающего произведения в том, что, ориентируясь на ограниченное количество источников, он допускает некоторые неточности. Так, например, следуя многим описаниям малайского языка, Р. Бласт характеризует распределение между основными малайскими показателями отрицания *bukan* и *tidak* как противопоставление отрицания именных и неименных сказуемых соответственно (с. 467, 470), в то время как в действительности *bukan*, хотя и используется преимущественно для имен, все же встречается и с глаголами в контекстах, предполагающих контраст действий (ср. [Алиева и др. 1972: 251]) · примечательно, что позже, на с. 471, Р. Бласт признает, что в некоторых языках показатели отрицания, традиционно описываемые как «приименные», используются как раз для выражения контраста. О надписях древнемалайского государства Шривиджайя говорится, что они написаны на древнемалайском с сильной примесью санскрита (с. 18), но не отмечается, что некоторые из них содержат «вводные формулы» на австронезийском языке, видимо, близком малагасийскому. И конечно, количество неточностей этими примерами не исчерпывается, хотя претензии в подобных случаях следует предъявить скорее авторам использованных Р. Бластом описаний.

Но значит ли это, что обзор американского лингвиста надо воспринимать исключительно как «дорожный указатель», сообщающий лишь о том, где искать те или иные явления и обобщения? В действительности, совсем нет. Дело не только в том, что многие сведения – данные о тайваньском языке тхао и некоторых других – были получены автором в ходе полевой работы. Фактически некоторые разделы книги (из упомянутых выше, например, разделы о сквернословии и отрицаниях) представляют собой самостоятельные сопоставительные исследования, предлагающие типологические классификации или неожиданные гипотезы и наблюдения, причем исследования эти предприняты специально для данной работы.

Отечественным востоковедам может быть немного обидно, что Р. Бласт совершенно не учел исследований, изданных на русском языке; можно предполагать, что за пределами круга источников автора монографии оказались и многие другие исследования, опубликованные не на языках Западной Европы. Но и без того Р. Бласту, несомненно, удалось показать разнообразие и богатство австронезийской семьи и ввести в научное обсуждение многие нестандартные данные. Соответственно его фундаментальная работа, доступная как в печатном, так и в электронном виде, будет интересна не только австронезистам, но и компаративистам и специалистам по языковому разнообразию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алиева и др. 1972 – *Н.Ф. Алиева, В.Д. Аракин, А.К. Оглоблин, Ю.Х. Сирк*. Грамматика индонезийского языка. М., 1972.

Коряков 2006 – *Ю.Б. Коряков*. [Рец. на:] W.F.H. Adelaar, P.C Muysken. The languages of the Andes // ВЯ. 2006. № 4.

Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян*. [Рец. на:] R.M.W. Dixon, Al.Y. Aikhenvald (eds.). The Amazonian languages // ВЯ. 2000. № 5.

Сирк 2008 – *Ю.Х. Сирк*. Австронезийские языки. Введение в сравнительно-историческое изучение. М., 2008.

Blust 1988 – *R. Blust*. Austronesian root theory: an essay on the limits of morphology. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

Blust 1999 – *R. Blust*. Subgrouping, circularity and extinction: Some issues in Austronesian comparative linguistics // E. Zeitoun, P. Jen-kuei Li (eds.). Selected papers from the Eigth International conference on Austronesian linguistics. Taipei, 1999.

Wolff 2010 – *J.U. Wolff*. Proto-Austronesian phonology with glossary. 2 vols. Ithaca (NY), 2010.

С.В. Кулланда, Ю.А. Ландер, Ю. Сирк

Сведения об авторах:

Сергей Всеволодович Кулланда
Юрий Александрович Ландер
Юло Сирк
Институт востоковедения РАН

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

VII Международная конференция «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании»

VII Международная конференция «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании» (31 января – 2 февраля 2011 г.) организована кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и приурочена к столетию со времени идей, сформулированных Ф. де Соссюром в курсе общей лингвистики (последний курс был прочитан в 1910/1911 учебном году в Женеве) и определивших все последующее развитие языкознания. Материалы конференции опубликованы под общей редакцией В.А. Кочергиной в серии «studia academica» (М., 2011).

Открытие конференции: пленарное заседание.

Н.Н. Казанский (Санкт-Петербург) «О реконструкции праиндоевропейских глагольных категорий». Доклад был посвящен проблеме недостаточного внимания к грамматической семантике и опоре при реконструкции глагольной системы в основном на формальные признаки, что можно видеть и в самых современных работах, например, в Lexikon der Indogermanschen Verben. Отмечалось, что при реконструкции нужно учитывать не только восстанавливаемые формы, но и их грамматические значения.

И.С. Якубович (Москва) «When Hittite laryngeals are secondary». После краткого представления ларингальной теории и ее вариантов, докладчик перешел к рассмотрению определенной группы слов в хеттском языке, где *-h-* мог быть результатом вторичного развития. Он возвращается к идее о том, что *-h-* в определенном окружении является неэтимологическим. Вставка *-h-* объясняется гиперкоррекцией, возникшей в результате того, что в лувийском *-h-* перед *-u-* периодически выпадал, в то время как в хеттском он сохранялся.

Р. Матасович (Хорватия) «Winter's law and the loss of stops before obstruents in Proto-Slavic». Докладчик представил ряд дополнительных примеров в пользу постулированного им ранее ограничения на действие «закона Винтера». Р. Матасович утверждает, что данный закон действовал только в закрытом слоге. В рамках этой гипотезы в докладе были рассмотрены этимологии праславянского **mĕsto* 'место', **áma* (**jáma*) 'яма', **tĕmę* 'темя' и **věno* 'приданое'.

К.В. Бабаев (Москва) «Макросемьи языков Африки: современное состояние сравнительно-исторических исследований и генетической классификации». Докладчик указал, что существование нигеро-конголезской и нило-сахарской макросемей до сих пор является лишь гипотезой и только существование афразийской макросемьи может считаться основательно подтвержденным. Выступивший также остановился на трудностях генетической классификации языков нило-сахарской и нигеро-конголезской макросемей.

А.В. Дыбо (Москва) «К проблеме огузской морфологии: процессы конца слова и генетическая классификация». После перечисления основных звуковых изменений в области консонантизма, произошедших на пути от пратюркского к протоогузскому языковому состоянию, докладчик подробно остановилась на дивергентном развитии смычных в конце слова, а также на случаях парадигматической унификации основ в ряде дочерних огузских языков: туркменском, турецком, гагаузском и азербайджанском. По мнению исследователя, учет рассмотренных морфонологических процессов позволяет уточнить существующую классификацию огузских языков: некоторые

общие процессы отделяют турецкий и туркменский от азербайджанского.

Секция «Классическая филологии». На секции были сделаны следующие доклады:

В.В. Борисенко (Сербия) «Палатализация как движущая сила преобразований греческой фонологической системы: два синхронных среза: древнегреческий и новогреческий язык». В сообщении были затронуты проблемы орфографии, фонологии и лексической семантики древнегреческого и новогреческого языков. Ряд явлений докладчица сопоставила с аналогичными явлениями в сербо-хорватском языке.

А.А. Евдокимова (Москва) «Византийские диалекты: история возникновения и бытования». Сообщение было посвящено проблеме выделения и описания византийских диалектов греческого языка. Докладчик рассмотрел случаи отклонения от норм византийского койне, которые можно отнести к диалектным особенностям на материале корпуса византийских диалектных надписей с учетом периодизации и особенностей каппадокийского, понтийского и других византийских диалектов.

О.В. Царегородцева (Томск) «Реализация семантического перехода ‘светить’ → ‘темнеть’ в древнегреческом и русском языках». В докладе проанализировано семантическое развитие от ‘светить’ к ‘темнеть’ на примере индоевропейского корня *sḱai-/*sḱəi-/*sḱi- и его производных, в частности, русск. *сень*.

О.М. Савельева (Москва) «О семантической истории некоторых греческих терминов душевной и умственной деятельности». Докладчик подробно описала употребление некоторых греческих терминов, таких как *θυμός* ‘дыхание жизни, жизненное начало, жизнь’ и *ψυχή* ‘дыхание, душа, сознание’, у различных авторов и проследила историю изменения значений этих слов.

Секция «Общая индоевропеистика, историческая морфология».

А.М. Белов (Москва) «Проблемы моры в индоевропейских корнях с “тяжелыми базами”». Докладчик обратился к проблемным вопросам индоевропейского вокализма и аблаута. В сообщении были рассмотрены гипотезы об индоевропейском языке как моросчитающем. Выступавший предположил, что в позднем индоевропейском праязыке оппозиция долготы / краткости слогов описывалась в категориях моры. Была рассмотрена связь моры и ларингала в рамках «сегментного» и «просодического» подходов к ларингалам.

И.В. Новицкая (Томск) «Комплексный анализ готских абстрактных существительных в системе именного склонения». В сообщении говорилось о распределении готских абстрактных существительных по родам, о частях речи, послуживших базой для их образования, о способах их образования, а также было выделено несколько пластов абстрактных существительных, начиная с унаследованных из праязыка.

П.А. Кочаров (Санкт-Петербург) «Следы индоевропейских гетероклитических основ на **wer/n-* в древнеармянском языке». Доклад был посвящен этимологии древнеармянского суффикса *-und* (*cnund* ‘рождение’, *serund* ‘потомство’, *snund* ‘вскармливание’), а также следам праиндоевропейских гетероклитических основ в древнеармянском. В качестве альтернативы предлагавшейся ранее этимологии (причастие на **-nt-* от основы каузатива на **-eye/o-*) предлагается возводить формант *-und* к деривату от основы косвенных падежей гетероклитической парадигмы **-un-ti-*.

О.М. Сергеева (Москва) «Проблема “подвижных” согласных в начале индоевропейского слова». В выступлении рассматривался вопрос о закономерности постулирования не только *s*-mobile, но и *k*-, *d*- и *l*-mobilia. Были приведены примеры на *s*-mobile в основном перед согласными; на *k*-mobile (10 примеров), не подвергающийся сатемизации и встречающийся только перед гласными; и по 2–3 примера на более редкие *d*- и *l*-mobilia.

А.А. Трофимов (Москва) «Проблема *s*-mobile в индоевропейских языках и ее возможное фонетическое объяснение». В сообщении были изложены различные теории возникновения *s*-mobile нефонетического характера, ни одна из которых, по мнению выступавшего, не является удовлетворительной. Тот факт, что после *s*-mobile встречаются только формы с чистыми велярными, привел докладчика к выводу, что начальное сочетание в случае с *s*-mobile является исходным, в то время как формы без *s*- получились путем его отпадения.

О.В. Попова (Москва) «Особенности почерка хеттского писца XIII в. до н. э. Ханикуили». Были рассмотрены два текста Ханикуили: KBo 6.4 и KBo 10.34, а также текст его брата ^{m}LÚ, KBo 14.86. Оба работали при писце Ануванца при Хаттусилии III.

Л.П. Дронова (Томск) «Когнитивные исследования и проблемы исторической реконструкции языка». Автор указал на необходимость последовательного (поэтапного) восстановления исторической картины и учета относительной хронологии изучаемых явлений, когда внимание уделяется не только древнейшим фактам.

Секция «Проблемы сравнительно-исторического языкознания языков восточной индоевропейской группы».

О.А. Волошина (Москва) «Принципы вторичной номинации (на примере лексики санскрита)». Докладчик обратил внимание на важность метафорических употреблений старых слов в новом значении, что обуславливает развитую синонимию и омонимию санскрита. Рассмотрены лексические и словообразовательные особенности трех групп понятий: а) людей, предметов и явлений; б) абстрактных понятий; в) терминов (рассматривается ряд лингвистических терминов грамматики Панини).

Д.В. Димитриев (Москва) «Дезидеративные глаголы в ведийском и санскритском языках». Выполнив обзор ведийской системы наклонений, докладчик отметил, что по сравнению с ведийскими памятниками в санскрите употребление дезидератива, в отличие от других наклонений, увеличивается. Был также затронут вопрос употребления дезидератива в среднеиндийских языках и, в более широкой индоиранской перспективе, в авестийском.

В.В. Ребрик (Санкт-Петербург) «К проблеме сопоставления шумерского и картвельских языков». В свете вопроса о генетическом родстве шумерского и картвельских языков были проанализированы списки шумеро-картвельских изоглосс, предлагавшиеся в XX веке рядом исследователей. В обсуждении были затронуты проблемы шумерской прародины и заимствований числительных в картвельских языках.

И.И. Богатырева (Москва) «Санскрит как воплощение ключевых идей древнеиндийской культурной традиции». Темой выступления была богатая полисемия санскритской лексики, которая отражает основы миропонимания индусов. В качестве примера, в частности, рассматривается др.-инд. *tántra*, обозначающее класс произведений мистического характера, а также ‘ткацкий станок’, ‘свод правил’, ‘молитва, заклинание’ и т. д.

Секция «Язык и текст: Вопросы реконструкции».

Х.И. Уста (Турция) «Значение диахронических и ареальных сопоставлений при изучении языка канонизированных текстов». В сообщении проводилось сопоставление трех текстов толкований различных мест Корана, так называемых тафсиров, содержащих, помимо подстрочного перевода, также комментарии и тематически подходящие художественные тексты.

В. Станишич (Сербия). «О месте идеографии в истории письма». Докладчик рассмотрел различные типы идеографического письма, а также принципы развития письма от идеографического к алфавитному.

М.А. Таривердиева (Москва) «Языковая ситуация в Древнем Риме и латинский словарь (диахрония, ретроспектива)». Доклад был посвящен социолингвистической ситуации в условиях многоязычия в Римской Империи, в частности, заимствованиям в латинский язык из других языков.

Н.И. Данилина (Саратов) «Ранний этап эволюции морфонологических систем». В выступлении была показана эволюция словоизменительной морфонологии от общеиндоевропейского состояния к языкам нескольких ветвей (греческой, романской, германской и славянской).

Ю.В. Норманская (Москва) «Генезис прасамодийского вокализма в зависимости от места ударения, рефлексы которого сохранились в современных самодийских языках». В результате анализа полевых данных, собранных по диалекту обских чумылькупов селькупского языка, было доказано существование разноместного фонологически значимого ударения, сделана акцентная грамматика этого диалекта, которая позволяет описать правила постановки ударения в терминах доминантных и рецессивных морфем.

С.Н. Кузнецов (Москва) «Библейские прототипы в языковедческих и лингвопоэтических концепциях». В сообщении рассматривался образ вавилонской башни как один из библейских образов, служивших прототипами при создании научных и социальных концепций.

Секция «Историческая семантика». На секции были сделаны следующие доклады:

Г.А. Казаков (Москва) «Слова сакрального значения в синхронном и диахронном рассмотрении». Темой сообщения были особенности слов сакрального значения. В синхронном плане эти слова часто представляют собой исключения из современной языковой нормы (графической, фонетической и морфологической). При диахронном рассмотрении сакральной лексики докладчик выделил такую особенность как сохранение сакральными словами древней языковой нормы.

Т.А. Михайлова (Москва) «Др.-ирл. *céile* в контексте диахронических семантических сдвигов». Доклад был посвящен древнеирландской лексеме *céile* ‘товарищ, супруг; другой, один из двух’, ее этимологии и истории развития лексического значения.

Н.Ю. Живлова (Москва) «Древнеирландское *aire échta*». В докладе был представлен этимологический разбор др.-ирл. *écht* и анализ употребления термина «aire échta» ‘знатный убиения’ в древнеирландской юридической традиции. Докладчик отметил наличие параллелей термина «aire échta» в других индоев-

ропейских языках, что позволяет дополнить наши представления о структуре внутриплеменных и межплеменных взаимоотношений в архаических индоевропейских обществах.

И.В. Садыкова (Томск) «Греческие истоки некоторых русских цветообозначений (к проблеме заимствования)». Доклад был посвящен особенностям обозначений красного цвета в русском языке. Как было отмечено, наряду с наиболее абстрактным обозначением красного цвета, в русском языке постоянно появляются новые обозначения различных оттенков красного, часть которых образуется на базе заимствований.

Е.В. Панина (Москва) «Принципы номинации объектов животного и растительного мира в санскрите с точки зрения лексической семантики». В сообщении были проанализированы названия животных и растений в санскрите на основе словарных и текстовых данных.

Секция «Исторический синтаксис и морфология». На секции были сделаны следующие доклады:

В.В. Байда (Москва) «Аналитические предикаты в ирландском языке». В докладе рассмотрена одна из типологических особенностей ирландского языка – аналитические предикаты (сочетание неполнозначного глагола с именем существительным или глагольным именем). Докладчик отметил, что не всегда аналитический предикат входит в парадигматические отношения с простой глагольной словоформой, выражающей тот же предикат, а следовательно, не все аналитические конструкции могут считаться предикатами.

И.А. Невская (Германия) «Депиктивные второстепенные предикаты в тюркских языках». Доклад был посвящен сложным именным сказуемым наподобие русск. *пришел усталым*, соотносящим субъект более чем с одним предикативным признаком. В сообщении был предложен ряд особенностей, которые позволяют отделить данный тип предикатов от сходных явлений, например, от обстоятельств образа действия, результативов, комплементов главного предиката и др. Выступавшая подробно описала депиктивные предикаты в разных тюркских языках и их структурно-семантические типы, являющиеся общими для всех тюркских языков. Кроме того, были представлены основные особенности употребления депиктивов в различных группах языков.

К.В. Харитонова (Москва) «Винительный и дательный падежи в позиции адресата речи». На основании сопоставления падежей существительных или местоимений, управляемых глаголами речи, в древнеиндийском и древнеирландском языках в докладе была сделана попытка определить связь между выбранным падежом и семантической подгруппой глаголов речи.

А.В. Шацков (Санкт-Петербург) «Страдательный залог в древних индоевропейских языках». В сообщении рассматривалась возможность реконструкции пассивной функции для восстанавливаемого праиндоевропейского медиального (медиопассивного залога). Докладчик обратил внимание на почти полное отсутствие употреблений медиальных форм в древнейшие периоды в хеттской и древнеиндийской языковой традициях и постепенное увеличение таких примеров в истории этих языков.

Л.Т. Леушина (Томск) «Реконструкция адъективов на *-и-* в латинском языке». Сообщение было посвящено выявлению рефлексов праиндоевропейских прилагательных на *-и-* в латинском языке. Помимо этого, на основе сопоставления латинских прилагательных с прилагательными в других языках, в первую очередь с древнегреческими, докладчик выявляет еще несколько слов, перешедших в латыни в тематический класс. В заключение докладчик сделал вывод о том, что наиболее устойчивыми древние основы на *-и-* были при качественном значении реконструируемого корня.

А.В. Сидельцев (Москва) «Местоименная реприза в хеттском: факт или фикция?». В выступлении разбирались примеры с местоименной репризой, т.е. наличием в одном предложении энклитического местоимения третьего лица и полноударной именной группы с той же функцией, достаточно редким явлением в хеттском языке. Докладчик показал, что основной функцией данного явления была смена статуса полноударной именной группы от нетопикального к топикальному в данном предложении. Второй функцией является снятие референциальной двусмысленности.

Секция «Историческая семантика и культура». На секции прозвучали доклады Ю.В. Щеки (Москва) «Источник языковых изменений и критика лингвистической теории эмоций» и Е.В. Кашкиной (Воронеж) «О названии берберского племени "Кабилы"».

Секция «Проблемы взаимоотношения языков и теория перевода». На секции были сделаны следующие доклады:

М.А. Живлов (Москва) «Лексические инновации и классификация уральских языков». Доклад был посвящен актуальной проблеме классификации уральских языков. Анализируя лексические инновации в стословном списке базисной лексики Сводеша, докладчик приходит к выводу о реальности обско-угорского праязыка, указывает на некоторые общие угор-

ские инновации, а также на несколько инноваций, объединяющих венгерский с одной или несколькими подгруппами финно-пермских языков.

В.С. Кулешов (Санкт-Петербург) «Эстонско-ливские акцентные соответствия и метатония *a*-основ в истории ливского языка». В докладе был представлен сопоставительный анализ стопических акцентных систем южных прибалтийско-финских языков (эстонского, вируского и ливского) между собой и с общеприбалтийско-финской акцентной системой. Докладчик убедительно обосновал соотношение четырех базовых чередований стопических акцентов в ливском языке («сильной», «слабой», «сверхсильной» и «сверхслабой») с двумя базовыми схемами в эстонском и вируском языках («сильной» и «слабой») в глагольной и именной акцентуации.

Ю.Н. Марчук (Москва) «Синхронное взаимодействие языков и культур в переводе». Выступавший обсудил статью Астрид Гийом «Перевод сквозь эпохи: политические и стратегические цели» (Теория и практика перевода. № 1. 2010. С. 2–16) и обратился к вопросу о том, что знание культуры имеет большое значение для качественного перевода.

А.Н. Качалкин (Москва) «Роль синхронии и диахронии в анализе названий русских документов». Докладчик выдвинул тезис о том, что первый признак жанра – это его название. Были приведены такие примеры, как «сговорная полюбовная противная запись», «жалоба» и т. д. Через названия документов выступивший проследил основные черты русской истории, начиная с «устава» XI века и заканчивая современным «заявлением», и пришел к выводу о том, что изменение названий документов – это показатель стиля времени.

С.М. Альотаиби (Москва) «Язык и культура в проблематике современного машинного перевода». Сообщение было посвящено сложностям машинного перевода и необходимости при переводе знать культуру народа, говорящего на языке. Докладчик привел примеры разного метафорического значения названий животных в русском и арабском языках.

Б.А. Акаш (Москва) «Взаимодействие языка и культуры при преподавании иностранного языка». Выступавший затронул вопрос о взаимосвязи языка и культуры, рассматривая язык как отражение культуры и обращаясь к задачам, которые встают перед переводчиками и студентами, изучающими иностранный язык.

Закрытие конференции: пленарное заседание. На заключительном пленарном заседании были сделаны следующие доклады:

В.А. Дыбо (Москва) «Балтославянская акцентология и германская геминация согласных (В защиту теории Ф. Клуге)». Докладчик представил материал, который подтверждает теорию Ф. Клуге о развитии в прагерманском групп согласных, состоящих из смычного и /*n*/, в интервокальной позиции перед ударным согласным в удвоенный смычный, который затем мог упроститься после согласных и долгих гласных.

К.Г. Красухин (Москва) «Становление аспектно-временной и модусной системы в праиндоевропейском». В докладе обсуждались базовые грамматические категории праиндоевропейского глагола (аспект, время и наклонение), а также происхождение их морфологических показателей. Докладчик сделал предположение о том, что оппозиция первичных/вторичных окончаний первоначально противопоставляла действие первого плана, выделенное говорящим, второплановому действию.

В.В. Поддубный (Томск), А.А. Поликарпов (Москва) «Вывод закона синхронного полисемического распределения языковых знаков на основе диссипативной стохастической динамической модели эволюции знаковых ансамблей». Доклад был посвящен жизненному циклу языкового знака, который определяется двумя языковыми процессами: процессом роста полисемии знака и процессом постепенного выхода из употребления ранее приобретенных значений, начиная с наиболее абстрактных.

П.А. Кочаров, О.В. Попова, А.В. Шацков

Сведения об авторах:
Петр Александрович Кочаров
Институт лингвистических исследований РАН
peter.kocharov@gmail.com

Ольга Витальевна Попова
МГУ им. М.В. Ломоносова
olga.v.popova@gmail.com

Андрей Владимирович Шацков
Институт лингвистических исследований РАН
andrey.shatskov@gmail.com

Международная конференция «TRALOGY-2011»

3–4 марта 2011 г. в Национальном центре научных исследований в Париже прошла первая международная конференция «Деятельность переводчика и технологии в переводе: пути к сближению в будущем» (Translation careers and technologies: convergence points for the future/Métiers et technologies de la traduction: quelles convergences pour l'avenir?). Организаторами конференции выступили Еврокомиссия по переводу, Университет имени Дени Дидро (Париж, Франция), Национальный центр научных исследований (Париж, Франция) и Монреальский университет (Монреаль, Канада). Задачами конференции были – ознакомить переводчиков с возможностями современных технологий, ознакомить разработчиков переводческих технологий с реальными потребностями переводчиков и выявить адекватности методик преподавания перевода существующим потребностям рынка. Особое внимание предполагалось уделить проблеме билингвизма в Канаде, однако данная проблематика не нашла отражения в представленных докладах. В оргкомитет конференции вошли известные специалисты в области перевода из стран Евросоюза и Канады[1]. Рабочими языками были английский и французский.

В конференции приняли участие специалисты из стран Евросоюза, США, Канады, России, Египта. К обсуждению докладов в качестве обозревателей были привлечены крупные специалисты по различным аспектам перевода.

На первом пленарном заседании и. о. генерального директора Еврокомиссии по переводу Р. Мартиконис (Литва) и его коллеги рассказали об организации работы этой комиссии и ее проектах в области переводческих технологий. Дж. Ван Генабит (Ирландия), генеральный директор Национального центра языковых технологий, в своем докладе сообщил о трудностях реализации машинного перевода в условиях многоязычной ситуации на примере разработок Национального центра языковых технологий.

На секции «Терминология и перевод» особый интерес вызвал доклад заведующей отделением перевода Французского университета в Египте Д. Эль Хуссеини (Египет), посвященный проблемам перевода в арабском мире и вопросам стандартизации терминологии. В ходе секции «Перевод как профессия» Кр. Дурбан (Франция) в докладе «Технология на службе переводчика» раскритиковала политику компаний – создателей технологий и выдвинула лозунг, о том что «разработчикам следует умерить свой оптимизм по поводу возможностей технологий, а переводчикам умерить свой скепсис», который нашел живой отклик у аудитории. М. Карл (Дания) в докладе «О систематичности процессов человеческого перевода» выделил типы переводчиков по их деятельности в процессе постредактирования перевода. На секции «Обучение переводу» Г. Будин (Австрия) в докладе «Языковые технологии и обучение переводчиков» рассказал о новейших евростандартах в области обучения переводу. Остальные доклады данной секции были посвящены существующим учебным курсам университетов Словении, Великобритании, Канады и Италии. На секции «Инструменты для переводчиков» А. Вайбель (США / Германия) продемонстрировал возможности современного устного машинного перевода. С.Ю. Куликов (Москва) в выступлении «Чего ожидать от машинного перевода в сети Интернет» высказал идею о необходимости использования новых методов разметки параллельных корпусов текстов и важности внедрения компонентов автоматического извлечения мнений. Д. Анастасиу (Германия) сообщила о возможности применения машинного перевода в социальной работе. На секции «Качество в переводе» были представлены доклады специалистов в области статистического машинного перевода Ф. Кёна (Великобритания) и К. Федерманна (Германия), которые были посвящены недостаткам современных систем автоматической оценки качества машинного перевода. Дж. Моран (Ирландия) в своем выступлении «Ненавязчивые методы малозатратной человеческой оценки машинного перевода» затронул проблему привлечения переводчиков в качестве постредакторов перевода. На секции «Перевод и автоматическая обработка естественного языка» было представлено пять докладов. А. Попеску-Белис (Швейцария) в докладе «Улучшение связности в машинном переводе посредством обработки входных текстов на текстовом уровне» сообщил о предварительных результатах проекта COMTIS, в рамках которого планируется создать параллельный англо-французский корпус текстов с разметкой кореферентных отношений. Остальные доклады данной секции были посвящены другим аспектам использова-

[1] Информация об организаторах и программа конференции доступны в сети Интернет по адресу: http://www.tralogy.eu/?lang=en

ния корпусных технологий для улучшения качества систем машинного перевода. На секции «Доступность ресурсов» обсуждались вопросы создания открытых ресурсов в сети Интернет. Стоит отметить, что в среде переводчиков данные предложения не нашли поддержки.

На заключительном пленарном заседании были продемонстрированы возможности современных технологий для интенсификации процессов перевода (доклад Э. Планаса (Франция)). В заключительном докладе Н. Фрёлигер (Франция) подвел итоги конференции, выразив надежду, что она позволит сблизить переводчиков и разработчиков программного обеспечения.

В ходе дискуссий, в которых приняли участие такие крупные специалисты по общему и машинному переводу как Э. Хажикова (Чехия), С. Фогель (Германия), Дж. Мариани (Франция), были выявлены вопросы, интересующие переводчиков и разработчиков машинного перевода. Переводчиков прежде всего интересовала проблема конфиденциальности в системах АРМ переводчика и Онлайн-переводчиках. У разработчиков систем больший интерес вызывали вопросы, связанные с корпусной лингвистикой. Как отметил С. Фогель, диалог важен, но оба направления останутся самостоятельными. По мнению Э. Хажиковой, не стоит ожидать слишком многого от машинного перевода, а к условно параллельным корпусам следует относиться настороженно. Конференция вызвала значительный интерес у специалистов в области перевода. В числе слушателей были представители различных стран, в том числе из Латинской Америки. Следующая конференция запланирована на 2013 г.

С.Ю. Куликов

Сведения об авторе:

Сергей Юрьевич Куликов
Институт языкознания РАН

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 2011 г.

СТАТЬИ

Антонян К.В. Глагольные категории прилагательного в китайском языке 5

Апресян В.Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты (I) 1

Апресян В.Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты (II) 2

Аркадьев П.М. Проблемы синтаксиса конструкций «accusativus cum participio» в литовском языке 5

Бирцер С. Развитие предлога *отступя от* 3

Горбов А.А. О некоторых проблемах интерпретации иноязычного материала при описании новых заимствований в русском языке 6

Горбова Е.В. Видовая парность русского глагола: проблемы и решения 4

Добрушина Е.Р. К проблеме семантической целостности русских глагольных приставок 5

Добрушина Н.Р. Многоязычие в Дагестане конца XIX – начала XXI века: попытка количественной оценки 4

Журавлев А.Ф. Фреквентарий мотивных элементов в мифологиях мира 2

Зализняк А.А., Торопова Е.В., Янин В.Л. Берестяные грамоты из раскопок 2010 г. в Новгороде и Старой Руссе 4

Казенин К.И. Проблема «размеров» конъюнктов в русском языке: данные некоторых типов сочинительных конструкций 4

Карпов А.А. Компьютерный анализ и синтез русского жестового языка 6

Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии 2

Козеренко А.Д., Крейдлин Г.Е. Фразеологические соматизмы и семиотическая концептуализация тела 6

Конума Ю. Понятие суперлексемы и аспектуальная характеристика японского глагола . 6

Кретов А.А., Меркулова И.А., Титов В.Т. Проблемы квантитативной лексикологии славянских языков 1

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Калька или метафора? Опыт лингвокультурного комментария к «Стихам о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама 6

Маковский М.М. К проблеме вида в готском языке 6

Никитина Е.Н. Конструкции с именительным и творительным предикативным в русском языке (к проблеме взаимодействия грамматических категорий) 6

Падучева Е.В. Имплицитное отрицание и местоимения с отрицательной поляризацией 1

Падучева Е.В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего 3

Перцов Н.В., Пильщиков И.А. О лингвистических аспектах текстологии 5

Пименова М.Вас. Лексико-семантический синкретизм как проявление формально-содержательной языковой асимметрии 3

Поляков С.М. Глагол *to miss* как средство реализации семантики сожаления в современном английском языке 1

Пшехотская Е.А. Грамматика русского аппликатива 3

Семенов В.В. К проблеме метрической неоднозначности в русском неклассическом

стихе XX в. 2

Соколянский А.А. Градуальные оппозиции как системообразующие для русского вокализма 1

Успенский Б.А. Дейксис и вторичный семиозис в языке 2

Фалилеев А.И. Вопросы лигурского языкознания. Ligurica sub specie Celto-Liguricae et Indo-Gemanicae 3

Федюнева Г.В. О статусе местоглаголия в языке 2

Ходорковская Б.Б. Депонентные глаголы в латинском языке (по текстам Тацита) 3

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

Гаспаров М.Л. Слово в стихе: об одном типе прилагательных 4

Гаспаров М.Л. Стихосложение последних стихотворений И. Бродского 5

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Недялков И.В. Об отце – лингвисте и учителе 2

Радченко О.А., Аликаева Л.С. Й.Г. Гаман в лингвистическом дискурсе XVIII столетия 1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Корчагин К.М. Современные зарубежные исследования метрики 4

Фалилеев А.И. Древнеирландский язык: недавние публикации 1

Рецензии

Алпатов В.М. *В.В. Дементьев*. Теория речевых жанров 4

Апресян В.Ю. *А.Н. Гладкова*. Русская культурная семантика: эмоции, ценности, жизненные установки 5

Аркадьев П.М. *R.P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel* (eds.). Text, time, and context. Selected papers of Carlota S. Smith 2

Бабаев К.В. *R.-J. Anyanwu*. Tense, aspect, and mood in Benue-Congo languages 3

Бабенко Н.С. Новый большой немецко-русский словарь в трех томах. Около 500 000 лексических единиц / Под общ. рук. Д.О. Добровольского 5

Бурлак С.А., Иткин И.Б. *A. Carstairs-McCarthy*. The evolution of morphology 5

Вострикова Н.В. *P. Epps, A. Arkhipov* (eds.). New challenges in typology: Transcending the borders and refining the distinctions 2

Гусев В.Ю. *R. Benacchio*. Вид и категория вежливости в славянском императиве: сравнительный анализ 5

Добрушина Н.Р. *B. Hansen, F. de Haan* (eds.). Modals in the languages of Europe 1

Иткин И.Б. *Н.А. Еськова*. Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология. Морфология. Орфография. Лексикография 6

Киммельман В.И. *D. Brentari* (ed.). Sign languages 4

Ковальская В.М. *S. Birzer*. Русскос деепричастие. Процессы грамматикализации и лексикализации 6

Кожанов К.А. Baltic linguistics. 2010. 1 6

Корчагин К.М. *Я.Г. Тестелец* (отв. ред.). Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка 1

Кулева А.С. *Н.А. Николина.* Активные процессы в языке современной русской художественной литературы 2

Куликов Л.И. *D. Shulman* (ed.). Language, ritual and poetics in ancient India and Iran: Studies in honor of Shaul Migron 4

Кулланда С.В., Ландер Ю.А., Сирк Ю. *R. Blust.* The Austronesian languages 6

Макарцев М.М. *M. Dedaić, M. Mišković-Luković* (eds.). South Slavic discourse particles .. 3

Мелиг Х.Р. *И.Б. Шатуновский.* Проблемы русского вида 4

Минлос Ф.Р. *Ф.И. Рожанский.* Редупликация: Опыт типологического исследования 5

Ослон М.В., Ринкявичюс В. *F. Kortlandt.* Baltica & Balto-Slavica 5

Рахилина Е.В., Рыжова Д.А. *M. Haspelmath, U. Tadmor* (eds.). Loanwords in the world's languages: A comparative handbook 6

Русаков А.Ю. *B. Demiraj* (Hrsg.). Wir sind die Deinen. Studien zur albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925–1992) gewidmet .. 5

Сай С.С. *R.M.W. Dixon.* Basic linguistic theory 1

Соловьев В.Д. *M. Everaert, S. Musgrave, A. Dimitriadis* (eds.). The use of databases in cross-linguistic studies 2

Соловьев В.Д. *S. Wichmann, E. Holman.* Temporal stability of linguistic typological features 3

Стойнова Н.М. *А.М. Urdze.* Ideophone in Europa: Die Grammatik der lettischen Geräuschverben 6

Сумбатова Н.Р. *G. Authier.* Grammaire kryz (Langue caucasique d'Azerbaïdjan, dialecte d'Alik) 3

Фридман И.А., Малышев С.В. *G. Goldenberg, A. Shisha-Halevy* (eds.). Egyptian, Semitic and general grammar. Studies in memory of H.J. Polotsky 1

Хуршудян В.Г. *J. Dum-Tragut.* Armenian: Modern Eastern Armenian 1

Шаповал В.В. *Y. Matras.* Romani in Britain. The afterlife of a language 4

Шаповал В.В. *М.В. Смирнова-Сеславинская, Г.Н. Цветков.* Цыгане. Происхождение и культура. Социально-антропологическое исследование 4

Шкапа М.В. *M. Bloch-Trojnar* (ed.). Perspectives on Celtic languages 3

Шулежкова С.Г. *В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкина.* Толковый словарь библейских выражений и слов: ок. 2 000 единиц 3

Эршлер Д.А. *F. Thordarson.* Ossetic grammatical studies 1

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Аркадьев П.М. Международная конференция «Русский глагол» 1

Ахапкина Я.Э., Сосновцева Е.Г. Функциональная грамматика: современное состояние и перспективы 4

Борисова Е.Г. Язык в основе взаимопонимания (итоги конференции «Понимание в коммуникации-5») 5

Варбот Ж.Ж., Куркина Л.В. Международный симпозиум «Диалектное состояние праславянского языка в свете этимологических исследований» 3

Капитанова Ю.С. Виноградовские чтения 2011 г. 4

Конюшкевич М.И. XII Международные научные чтения «Е.Ф. Карский и современное

языкознание» (Навстречу 150-летию Евфимия Федоровича Карского) 2

Котин М.Л., Которова Е.Г. Международная конференция «История и типология языковых систем» 3

Кочаров П.А., Попова О.В., Шацков А.В. VII Международная конференция «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании» 6

Куликов С.Ю. Международная конференция «TRALOGY-2011» 6

Макарцев М.М., Сиднева С.А., Тунин А.Е. Круглый стол «Цветница. Duminica floriilor. Βαγιοκυριακή. Diela e lulevet... Растительный код Вербного воскресенья в балкано-балто-славянском ареале» 3

Орехов Б.В. Международная конференция «Slavicorp» 3

Оскольская С.А., Овсянникова М.А., Сай С.С. «Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы» 5

Райт Э. Международная конференция «Перевод и межкультурная коммуникация в свете истории лингвистических идей» 3

Седакова И.А. XI Балканские чтения «Балканский спектр: от света к цвету» 5

Тимофеев В.В. VI Международная научная конференция «Фонетика сегодня» 5

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ		Български език
ВДИ	–	Вестник древней истории
ВИ		Вопросы истории
ВСЯ	–	Вопросы славянского языкознания
ВФ	–	Вопросы философии
ВЯ	–	Вопросы языкознания
ЕИКЯ	–	Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП	–	Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО		Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ	–	Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ	–	Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС		Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ		Иностранные языки в школе
РЯНШ	–	Русский язык в нац. школе
РЯШ		Русский язык в школе
СбНУ	–	Сборник за народни умотворения
Сб. ОРЯС	–	Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
СТ	–	Советская тюркология
ТОДРЛ	–	Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)
ФН	–	Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW	–	Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh		Archiv für slavische Philologie
AGL	–	Archivio glottologico Italiano
AKGW	–	Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL	–	Acta linguistica
AmA	–	American anthropologist
ANF	–	Arkiv för nordick filologi
AO	–	Archiv orientalní
APAW	–	Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC	–	Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ	–	Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP	–	Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS	–	Bullétin of the School of Oriental studies
BzNf	–	Beiträge zur Namenforschung
CAJ	–	Central Asiatic journal
CFS	–	Cahiers F. de Saussure
CJ	–	The classical journal
FPhon	–	Folia phoniatrica
FuF	–	Finnisch-ugrische Forschungen
GL	–	General linguistics
HR	–	Hispanic review
IF	–	Indogermanische Forschungen
IIJ	–	Indo-Iranian journal
IJAL		International journal of American linguistics
JA	–	Journal asiatique
JASA	–	Journal of the Acoustical society of America
JEGPh	–	Journal of English and Germanic philology
JL	–	Journal of linguistics
JP	–	Język polski
JRAS	–	Journal of the Royal Asiatic society

JSFOu	–	Journal de la Société finno-ougrienne
ЈФ	–	Јужнословенски филолог
KZ	–	Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn
LaPh	–	Linguistics and Philosophy
Lg	–	Language
LIn	–	Linguistic Inquiry
LM	–	Les langues modernes
MM	–	Maal og minne
MSFOu	–	Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP	–	Mémoire de la Société de linguistique de Paris
MSOS	–	Mitteilungen'des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS	–	Nysvenska studier
NTS	–	Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB	–	Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA	–	Publications of the Modern Language Association of America
RES	–	The Review of English studies
RÉG	–	Revue des études grecques
RÉSI	–	Revue des études slaves
RF	–	Romanische Forschungen
RKJL	–	Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa haukowego
RKJW	–	Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
RLing	–	Russian linguistics
RLR	–	Revue de linguistique romane
RO	–	Rocznik orientalistyczny
RS	–	Rocznik slawistyczny
SaS	–	Slovo a slovesnost
SDAW	–	Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SL	–	Studia linguistica
SMS	–	Sbomik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu historiu
SPAW	–	Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO	–	Studia orientalia
SWAW	–	Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA	–	Traduction automatique
TCLC	–	Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP	–	Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL	–	Travaux 'dc l'Institut de linguistique
TPhS	–	Transactions of the Philological society
UAJb	–	Ungarische Jahrbücher
VR	–	Vox Romanica
WW	–	Wirkendes Wort
ZAS	–	Zentralasiatische Studien
ZCPh	–	Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA	–	Zeitschrift füf deutsches Altertum
ZDMG	–	Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh	–	Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF	–	Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS	–	Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon	–	Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH	–	Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL	–	Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh	–	Zeitschrift für slavische Philologie

CONTENTS

Elena N. Nikitina (Moscow). Predicative nominative and predicative instrumental in Russian (towards the interaction of grammatical categories); Andrej A. Gorbov (St. Petersburg). Interpretation of foreign-language material in describing new loanwords in Russian; Aleksej A. Karpov (St. Petersburg). Computer analysis and synthesis of Russian Sign Language; Anastasija D. Kozerenko, Grigorij E. Krejdlin (Moscow). Phraseological somatisms and semiotic conceptualization of body; Yukari Konuma (St. Petersburg). The notion of superlexeme and the aspectual profile of Japanese verb; Mark M. Makovskij (Moscow). On the problem of Gothic aspect; Anna F. Litvina, Fedor B. Uspenskij (Moscow). Calque or methaphor? A linguo-cultural commentary on «Verses on the unknown soldier» by Osip Mandelstam; **Reviews:** Il'ja B. Itkin (Moscow). *N.A. Es'kova*. Selected works on Russian: Phonology. Morphophonology. Morphology. Orthography. Lexicography; Vera M. Koval'skaja (Moscow). *S. Birzer*. Russian adverbial participles. Processes of grammaticalisation and lexicalisation; Ekaterina V. Rakhilina, Dar'ja A. Ryžova (Moscow). *M. Haspelmath, U. Tadmor* (eds.). Loanwords in the world's languages: A comparative handbook; Kirill A. Kožanov (Moscow). Baltic linguistics. 2010. 1; Natal'ja M. Stojnova (Moscow). *A.M. Urdze*. Idcophone in Europa: Die Grammatik der lettischen Geräuschverben; Sergej V. Kullanda, Jurij A. Lander, Ülo Sirk (Moscow). *R. Blust*. The Austronesian languages; **Conference reviews:** Petr A. Kočarov (St. Petersburg), Ol'ga V. Popova (Moscow), Andrej V. Šackov (St. Petersburg). VII International conference «Synchrony and diachrony in comparative linguistics»; Sergej Ju. Kulikov (Moscow). International conference «TRALOGY-2011»; **Index of papers published in 2011.**

Сдано в набор 17.08.2011 Подписано к печати 24.10.2011 Формат бумаги 70 × 100$^{1}/_{16}$
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 9,2 тыс. Уч.-изд.л. 15,6 Бум.л. 5,0
Тираж 678 экз. Зак. 1865

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука»,
117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон (495) 637-25-16
Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН
Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6